

# Ernst Jünger



DER ARBEITER.

HERRSCHAFT UND GESTALT

---

DIE TOTAL MOBILIMACHUNG

---

ÜBER DEN SCHMERZ



# Эрнст Юнгер



РАБОЧИЙ.  
ГОСПОДСТВО И ГЕШТАЛТ  

---

ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ  

---

О БОЛИ



Перевод с немецкого  
А. В. МИХАЙЛОВСКОГО

под редакцией  
Д. В. СКЛЯДНЕВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
"НАУКА"  
2000

УДК 14  
ББК 87.3  
Ю 50

Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»

В. М. КАМНЕВ, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),  
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН

*Данное издание выпущено в рамках программы Централь-  
но-Европейского Университета «Translation Projekt» при под-  
держке Центра по развитию издательской деятельности  
(OSI — Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд  
Содействия» (OSIAF — Moscow)*



ТП-98-II-№ 18

ISBN 5-02-026781-3

ISBN 3-608-95022-2 (нем.)

Klett-Cotta © J. G. Cotta'sche Buch-  
handlung Nachfolger GmbH Stuttgart  
1980 and 1981

© Издательство «Наука», 2000

© А. В. Михайловский, перевод, 2000

© Ю. Н. Солонин, статья, 2000

Ю. Н. Солонин

ЭРНСТ ЮНГЕР:  
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДУХА

*Когда готовилось это издание «Рабочего», пришло известие, что его автор Эрнст Юнгер скончался. Печальное событие произошло 17 февраля 1998 года. Фактом смерти произвольно утверждается совершенно новая установка отношения к личности любого человека, а тем более писателя — мыслителя такой меры, как Э. Юнгер, к восприятию и пониманию всего сделанного им. Иными становятся и оценки, если не в их основном выражении, то в акцентах, во всяком случае. Мы, однако, сейчас не намерены что-либо пересматривать или дополнять, ограничившись самыми необходимыми фактами и суждениями, проясняющими предварительным образом жизнь, мысли и труды Э. Юнгера. Таким образом, предлагаемое издание в русском переводе его самого значительного социально-философского труда оказывается и первым посмертным памятником, то есть тем, чем только и можно достойно почтить заслуги писателя.*

\* \* \*

Германия конца прошлого века, на который приходится рождение и раннее детство Э. Юнгера, представляла собой величественное явление в концерте европейских государств. Пруссия, в результате победоносных войн и хитроумно-напористой политики Бисмарка, объединив до той поры разрозненные и копошащиеся в мелочной династической политике прежние немецкие королевства, герцогства и княжества в единое государство, неожиданно предстала перед миром великой державой, присвоившей себе гордое право именоваться «второй империей» германского народа. Ее политические амбиции и притязания, особенно питаемые тщеславием Вильгельма II, не знали меры. Если до середины XIX века Германия виделась европейцам страной, овеянной мечтательным романтическим консерватизмом, родиной отвлеченной, лишенной практического смысла философии, обществом скромных, строгих правил общежития и ревностной бытовой набожности, то к концу века в этом образе происходит решительное изменение. Немецкая техническая мысль делает впечатляющий рывок и выводит научную мысль страны на лидирующие позиции в мире. Германия становится страной ученых и изобретателей. На этой почве бурно развивается индустрия стали, машин, химии и электричества, внося существенные изменения в традиционно крестьянский средневековый пейзаж страны. Прусская военно-бюрократическая система становится эталоном организации не только всей государственной, но и общественной жизни. Утверждается

дух субординации, дисциплины, ответственности, долга, самоконтроля; они включаются в кодекс основных личных и гражданских добродетелей, становятся мерилом человеческого достоинства. Армия, бывшая главным орудием единения нации и упрочения национального достоинства, возводится в символ гордости нации, а военная служба признается почетной обязанностью истинного немца. С этого момента европейцы стали все чаще сталкиваться с новым духовным комплексом — германским милитаризмом как особой формой национального самосознания. Его самоуверенная горделивость нередко плохо скрывала обывательскую кичливость; он упорно поднимал голову, и настало время, когда пангерманизм бросил вызов самой владычице морей и владительнице колоссального колониального мира — Англии. Германия ставит перед собой задачу оспорить ее морское военное могущество и приступает к созданию грандиозного флота. Настороженность вызывали и территориальные притязания немцев на колониальных континентах; в Африке им удастся прибрать к рукам территории, в несколько раз превышающие своими размерами метрополию. Семена европейского и мирового раздора, возбужденные германскими притязаниями, прорастали, давали исподволь всходы, но серьезные грозы казались невероятными миру, упивавшемуся плодами цивилизации, науки и техники. Европа вкушала удовольствие комфорта, верила в разум и исповедовала культ прогресса.

В конце века проблемами большими, чем политические, европейскому интеллектуалу представлялись процессы в сфере культуры. Казалось, что именно здесь таятся самые важные заботы европейского

человека. На фоне хорошо устроенного быта *fin de siècle* беспокойство вызывали безрадостные эксцессы духовного порядка. В своей совокупности они были обозначены как явления декаданса и модернизма. Вычурное эстетство бросало вызов несомненным по своей пользе во мнении большинства положительным буржуазным добродетелям жизни, посягало на нравственные устои общества и церкви. Появились новые выражения и парадоксы, эпатажирующие общественное мнение сомнительными смыслами, прежде недопустимыми в публичном общении. Они рождались в периферийных социальных сферах, общение с которыми, если не табуировалось полностью, согласно критериям буржуазной морали, то, во всяком случае, жестко регламентировалось. Поэты, художники, писатели все чаще становятся возмутителями общественной нравственности. Они вносят скепсис, третируют добродетели обеспеченного скромного существования, пророчествуют о человеке-герое грядущих времен.

И мир философии оказался подточенным новыми тенденциями. Из мрака забвения и непризнания выходит философия Шопенгауэра. Она несет с собой необычные сюжеты, понятия и видение прежде таких естественных и беспроблемных вещей. Все, что было добыто философской мыслью и наукой прежних эпох, — представления о хорошо организованном порядке мира, подвластного строго и прочно установленным наукой законам, о сфере естественных процессов, безупречно объясняемых достоверными научными методами, учения об общественных организациях, постепенно цивилизующихся и обретающих правильную социальную организацию, которые неук-

лонно втягиваются в процесс совершенствования, именуемого прогрессом, и многое другое, — все это с точки зрения новой философии оказывалось мнимостью, поверхностной и лишенной понимания истинного смысла искусственной рациональной конструкцией. В действительности же миром правят силы, которым не свойственны ни порядок, ни разумный смысл, ни цель, ни четкая организация. Они тревожно дремлют под коркой косного бытия, но их разрушительная мощь безгранична, и настанет время, когда они пробудятся и сокрушат мировой порядок. Они неведомы и непостижимы. Смысла и истины нет не только во внешнем мире, не только в социальном устройстве и истории, но их нет и в самой индивидуальной человеческой жизни. Чувства беспокойства, катастрофы и тревоги постепенно подтачивают европейский разум.

Если к философии Шопенгауэра европейская мысль еще как-то приспособлялась, смягчая свой ригоризм, то такое явление, как книга Эдуарда фон Гартмана «Философия бессознательного» (1869, рус. пер. 1902), породила бурю возмущения защитников академической науки, общественной нравственности и культуры. Дух иррациональности мощно потеснил принцип разумного, вызвав к жизни новые мировоззренческие установки. Они утверждали первенство ценности негативной, согласно прежним нормам, морали и жизненной ориентации. От жизни требовали порыва, выхода за пределы докучливой рутины повседневности, расчета с нею по ее действительной цене. А она оказывалась ничтожной. Ныне напрочь забытый эпигон Шопенгауэра Филипп Майнлендер (настоящее имя — Филипп Батц)



в своей книге «Философия избавления» (1876) указал эту цену не только философским способом, но и личным примером — самоубийством. Жизнь бессмысленна и ничтожна во всех своих формах. Космос, с которым она слита, всеми своими проявлениями устремлен к одной цели — к смерти. Таким образом, если существует смысл бытия, то он в достижении абсолютного Ничто, в отрицательности, в аннигиляции жизни. Признав эту истину разумом, нельзя уклониться от ее осуществления на деле. Идея смерти в своем особом, прежде немыслимом эстетическом модусе вошла в культурное сознание европейца. Конечно, для обывательского большинства этот способ следования призывам философского учения был неприемлем. Но дух скепсиса, анархическое бунтарство, эпатаж, томление по сокровенному, порывы в неизведанное и необычное, рождавшее страсть к экзотике, к разрыву с обыденностью, стали важными чертами физиогномического рельефа европейской культуры конца XIX — начала XX столетия.

Все выше сказанное в какой-то, притом крайне неполной мере, призвано передать ту духовную обстановку, в которой проходило детство и становление первичных мироощущений Эрнста Юнгера.

Он родился 29 марта 1895 года в славном университетском городке Гейдельберге. Его отец, Эрнст Георг Юнгер, химик по профессии, имел неплохую возможность осуществить научную карьеру, опекаемый известным ученым-химиком Виктором Майером, профессором Гейдельбергского университета, под руководством которого он защитил докторскую диссертацию. Но он отказался от карьеры ученого, предпочтя ей удел аптекаря. Эрнст-младший был пер-

венцем, за ним вскоре последовали рождения еще шестерых детей. Из них нам следует назвать только Фридриха Георга (1 сентября 1898 — 20 июля 1977 гг.), ставшего известным поэтом и писателем, а также и социальным философом.

С Фридрихом Георгом Эрнста связывала всю жизнь искренняя дружба, устанавливающаяся обычно между соратниками и исповедниками сходных учений, далеко превысившая крепость родственных уз.

Судьбе было угодно, чтобы из всего многочисленного семейства Юнгеров дольше всех довелось прожить именно старшему сыну. Его жизнь удивительна не только своей длительностью (он умер не дожив без малого до 103 лет), не только исключительной биологической выносливостью, позволившей Э. Юнгеру провести ее в полном здравии, несмотря на все опасности, которым он ее подвергал, и обеспечившей работоспособность, ясность ума и память до самой последней черты земного бытия, но и невероятной творческой потенцией, сохраненной им, как и здоровье, до самой кончины. В этом смысле Юнгер — несомненно легенда немецкой культуры XX века. Вот основные вехи его жизни на фоне этой культуры.

Родившись в расцвет вильгельмовской эпохи, Э. Юнгер стал свидетелем не просто заката, а сокрушительного краха «второй империи», которой прочили существование ничуть не менее длительное, чем «первой». Буря «первой империалистической» войны и последовавшие за ней революции смели все основные монархические системы континентальной Европы. Затем в Германии недолгий республиканский строй Веймарской республики сменился нацист-

ским режимом «Третьего рейха». И снова Э. Юнгер — свидетель невиданно быстрого подъема военно-промышленной мощи своей родины. И снова он свидетель и участник второй на его веку мировой войны. Гибель фашизма, расчленение Германии, повторный опыт прививки буржуазного демократизма вошли в его жизнь болезненно-противоречивым опытом, освоить который казалось уже не было духовных сил. Однако Э. Юнгер не только его осваивает, но и превращает в новые духовные ценности, не позволившие предать забвению их создателя, каково бы ни было общественное и художественное значение творчества Юнгера на закате его жизни. Это удивительно, но Юнгеру суждено было пережить все великие трагедии нашего века дважды. Пережить не немым свидетелем, а воспроизвести силой своего творческого воображения как особый, не имеющий даже приблизительного подобия опыт самосознания европейской культуры. Этот принцип двойственности срабатывал иногда парадоксальным образом. Вскоре после рождения в семье Юнгеров самого младшего сына Вольфганга (1908 г.), Европа наслаждалась зрелищем кометы Галлея (1910 г.), и отец предрек, что именно он увидит ее вторично. Пророчество сбылось, но только на самом старшем — Эрнсте, который наблюдал ее спустя 75 лет, совершив для этого длительное путешествие на Восток, так как в Европе комета была невидима.

Последние годы жизни радовали Юнгера не только знаками общеевропейского признания, но, прежде всего, демонстрацией нового величия на этот раз демократической Германии, ставшей не только крепким социально-экономическим организмом, но и

вновь обретшей единство. Его сердце старого консервативного националиста не могла не радовать эта картина, хотя едва ли демократизм был той политической формой, к которой тяготели государственное сознание и политические привязанности престарелого летами писателя и мыслителя.

Даже эта схема его жизни способна задеть воображение. Обратимся к некоторым ее реальным фактам. Это обращение мотивировано прежде всего тем, что как ни у кого творческая индивидуальность немецкого писателя в высшей степени производна от его духовной и политической биографии. Эта особенность творчества Юнгера является самым фундаментальным, конструктивным принципом, отгородившим все его произведения от замыкания в самодовлеющем эстетизме. Она выражена в том, что подавляющая часть его литературного наследия, сюжеты его книг и эссе, включая социально-политические, являются не чем иным, как воспроизведением личной жизни, чувств и мыслей, основанных на обстоятельствах биографии и среды. Но этот биографизм особого свойства. Он напрочь лишен тех черт субъективизма, которые превращают его в сентиментальное самолюбование, кропотливое описание ничтожных переживаний, способных удовлетворить только притязание мелочного эгоизма их носителя. Напротив, он отличен бесстрастностью холодного, но яркого света, в котором индивидуальность растворяется до состояния объективированных форм жизни. Как наиболее адекватная литературная форма Э. Юнгером выбран жанр дневника, путевых записок, размышлений. Если в чем нет разногласия, когда говорят об Э. Юнгере, так это в том, что он в XX веке

выступил изумительным мастером жанра интеллектуального дневника и довел его стилистические характеристики до совершенства. Вся его жизнь воспроизведена в них, но тем не менее дневники Юнгера — это не простой источник сведений об их создателе, чем бы ни изобиловала его личная жизнь, а художественные шедевры, с исключительной энергией просвечивающие судьбу европейского человека, в обрамлении судьбы создавших его культуры и общества. Поэтому они — не документ индивидуальной жизни и ее перипетий, а художественный образ времени, своими объективными структурами вошедший в субъективные формы личных свидетельств. Подавляющая часть исполинской так называемой «Jüngerphilologie» посвящена раскрытию природы той магической силы, которая сконцентрирована в кратких, прозрачных, выраженных безукоризненным словесным строем записях, поражающих тем не менее своей метафизической глубиной и богатством смысловых трансформаций. Под их впечатлением находились философы такой меры, как Хайдеггер, Ясперс, культурфилософ Кайзерлинг, европейские интеллектуалы Моравиа, Борхес и др. Как художественные вещи они ценны сами по себе, и все же без учета эмпирической жизни, выраженной в фактах сухого биографизма, они не раскрываются полностью.<sup>1</sup> Итак, факты.

---

<sup>1</sup> Жанр интеллектуального дневника исконно свойствен немецкой литературе. В начале XX века он получает толчок к новому развитию, чему, несомненно, содействовали потрясшие Германию и немецкую душу исторические события. Примером может служить «Путевой дневник философа» Германна Кайзерлинга (1919), ставший событием культурной жизни страны, едва ли не равным «Заказу Европы» О. Шпенглера.

Вскоре после рождения первенца семья Юнгеров покинула Гейдельберг и переехала в Ганновер, где глава семейства стал почтенным владельцем аптеки. Переезды семьи вообще были весьма частыми. Они имели своим следствием то, что за годы учебы Эрнст сменил едва ли не десяток школ и гимназий, ни в одной из них не проявив каких-то особенных дарований и склонностей. Места, где они жили, представляли собой небольшие немецкие городки Вюртемберга, Баварии и Саксонии. Но швабские земли оказались навсегда местом его привязанности. Как не вспомнить в этой связи Хайдеггера<sup>2</sup> и то, что почти вся немецкая философия с конца XVIII века — дело ума швабов!

Отец Эрнста отнюдь не являл собой тип неудачника. Видимо, род занятий (аптекарь) и занимаемое положение — аптеки, которыми он владел, были довольно известными и приличными предприятиями — его вполне устраивали. В то же время это был человек вполне из породы людей «века естествознания». Мир перед ним предстал как хорошо построенная система, которой должна соответствовать упо-

---

<sup>2</sup> При изложении биографии Э. Юнгера мы использовали: *Paatel K.-O.* Ernst Jünger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg, 1962; *Loose G.* Ernst Jünger. New York, 1974; *Hietala M.* Der neue Nationalismus. In der Publizistik Ernst Jünger und des Kreises um ihn 1920—1933. Helsinki, 1975; *Ernst Jünger im 20. Jahrhundert.* Hrsg. v. H.-H. Müller und H. Segeberg. München, 1995; *Mühleisen H.* Bibliographie der Werke Ernst Jüngers. Stuttgart, 1995. Обычные сведения о нем можно почерпнуть в: История немецкой литературы. В 5 т. 1918—1945. М., 1976. Т. 5.; История литературы ФРГ. М., 1980. Особенно обильна биографическими элементами немецкая публицистика, возбужденная фактом кончины Э. Юнгера.

рядоченная, контролируемая разумом и общепринятыми нормами жизнь. Его мысль была точна и определена. Больше всего он ценил ответственность и согласие между словами и делами. Впрочем, позитивистская ученость не убивала в нем художественного вкуса и культурного интереса, в частности, к музыке. Его старший сын унаследовал некоторые свойства отца, укрепившиеся в нем с возрастом. Это, прежде всего, самодисциплина и трезвость расчета, оказавшиеся в столь диковинно-неожиданном сочетании со склонностью и порывами к приключениям, тягой к неизведанному, опасному и рискованному: «дерзновенное сердце» — «abenteuerliche Herz» — так, по названию одного из эссе Юнгера, именуют его нередко публицисты и поклонники.<sup>3</sup>

Отец скончался в 1943 году. Но его место в жизни Эрнста Юнгера определялось не только теми чертами характера и привычками, которые унаследовал его сын, но и рядом энергичных вмешательств в судьбу сына, нередко имевших решающее значение для его будущего. Хотя учеба не далась юноше, оставив его безразличным к большей части учебных предметов, но эти годы — 1901—1914 — не прошли даром. Рано пробудившееся влечение к необычному, протест против принуждения, рутины жизни, ее однозначности развивались и закрепились чтением приключенческой литературы и описаний открытий и научных путешествий: Жюль Верн, Стенли, Джо-зеф Конрад, Майн Рид. Прочитанный им в это

---

<sup>3</sup> Выбранный нами вариант перевода определен контекстуальным смыслом данного пассажа, хотя более широкий смысл заключен в переводах «авантюрное сердце», «сердце искателя приключений».

время «Дон Кихот» был воспринят как роман-приключение, сказание о бескорыстном героическом энтузиазме. Даже в тяжелейших окопных буднях первой мировой войны литература этого жанра привлекает Юнгера — роман Стерна «Сентиментальное путешествие» он читал почти под артобстрелом. Молодой человек вскоре оказался втянутым в молодежное движение под названием «движение скитальцев» (буквально: «движение перелетных птиц» — *Wandervogelbewegung*), захватившее увлечением к путешествиям по стране почти всю Германию перед первой мировой войной. Оно культивировало жажду к активной жизни, неприязнь к анахроничным формам быта и общественной организации, но было принципиально аполитичным. Литература и публицистика, созданные идеологами этого движения, кажется у нас совсем не учтенного в исследованиях по германской духовной культуре начала века, пропагандировали культ здоровья, отваги, физической развитости, трезвости и разумного альтруизма. В движении имелась сильная педагогическая основа, привлекавшая представителей культуры и наук, рачительно опекавших молодые души, объединенные этим движением. Участие в «движении перелетных птиц» имело для Юнгера то следствие, что побудило молодого человека испытать себя в неординарном приключении. Оно, несомненно, было безрассудным, но впервые выявило в юноше отвагу немалой меры.

Осенью 1913 года, не окончив школу, он принял решение бежать в поисках приключений в Африку. Путь лежал через соседний французский город Верден, где Юнгер вербуетсся сроком на 5 лет во французский иностранный легион. Уже через пару дней он



прибывает в Алжир, в небольшой арабский городок, где размещалась его часть. Реальность оказалась не просто разочаровывающей, а ужасной. Неопытный во всех отношениях юноша мог стать жертвой самых диких «неуставных» отношений, которые царили среди легионеров, если бы не попал под опеку старого служаки-немца, пожалевшего юношу, и если бы не энергичное вмешательство отца, добившегося разрыва договора и возвращения сына. Да и сама Африка, какой она предстала перед его глазами, оказалась безжизненной пустыней, лишенной каких-либо прелестей и уже изрядно загаженной цивилизацией. Значительно позднее неудачное африканское приключение станет сюжетной основой книг «Дерзновенное сердце» и «Африканские игры».<sup>4</sup> Что в этом шаге было безумным, а что было неизбежным выражением протеста против механики однообразного бытия, безрефлексивно воспроизводимого тысячами представителей, сменявших друг друга человеческих когорт? «Юнгероведы» внимательно всматриваются в этот первый важный акт самостоятельного выражения личности Юнгера, справедливо находя в нем основные истоки последующих решений и проявлений его индивидуальности. Было бы любопытно сопоставить психологические мотивации вступления в легион

---

<sup>4</sup> Впервые: *Das abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht*. Berlin, 1929; *Afrikanische Spiele*. Hamburg, 1936. Следует отметить, что почти все книги, сборники, эссе, дневники, публиковавшиеся Юнгером, при каждом новом издании, как правило, претерпевали существенные стилистические и содержательные переработки, нередко менявшие их смысловые и идейные акценты. Исключение составили, пожалуй, только трактат «Der Arbeiter» и книги последних лет.

Юнгера с подобным же шагом выдающегося русского философа Н. О. Лосского, описанным им в автобиографии: за ними скрыты разные типы судеб и типы культур, их определившие.

Отец оказался на высоте положения и проявил тонкое понимание своеобразия момента: принуждение было заменено формулой «социального договора», гласившего, что после окончания гимназии он предоставит полную возможность сыну реализовать свою мечту посетить сказочный Килиманджаро.

Но одно принципиальное следствие испытания должно быть отмечено сразу: возвратился домой человек, переживший впечатления, поставившие под вопрос значимость воображения как основания формирования жизненного проекта. Демифологизация идеала заронила еще неясное представление о наличии двух принципиально разных родов жизни: реальной и внутреннего переживания. Последнее может основываться на чистом воображении, фиктивных образах, разрушаясь от соприкосновения с жизнью. Подчиниться ему полностью невозможно и катастрофично по следствиям. Не здесь ли основание позднейшей, развитой до совершенства способности к объективно холодному, эмоционально отстраненному воспроизведению самых трагических и фантастических событий, которыми прославится проза Юнгера? Эстетизация ужасного и жестокого — одно из проявлений этой способности. Не будем голословными и приведем одно знаменитое описание бомбардировки Парижа союзной авиацией в 1944 году, которое Юнгер наблюдал с крыши гостиницы «Рафаэль». Оно в работах о Юнгере стало антологичным: «Целью

атаки были мосты через реку. Способ и последовательность ее проведения указывали на светлый ум. При втором налете в лучах заходящего солнца я поднял бокал бургундского, в котором плавали ягоды земляники. Город с его башнями и куполами лежал в величественной красоте, подобно бутону, замершему в ожидании смертельного оплодотворения. Все было зрелищем...».<sup>5</sup>

Но соглашению не суждено было осуществиться. Приближался 1914 год. В этот год Эрнст Юнгер благополучно заканчивает затянувшуюся и нудную гимназическую учебу в Ганновере. За несколько недель до ее конца начинается война. Способность принимать быстрые решения сказалась и здесь: он немедленно записывается вольноопределяющимся. Конечно, внешне шаг довольно обычный. Тысячи молодых людей в обоих воюющих лагерях, движимые патриотическим порывом, заполнили призывные пункты в первые дни войны. Но у Юнгера был еще один важный мотив, побуждавший его к этому шагу: воспользоваться шансом войти в принципиально новое бытие, столь противоположное удручающему тону однообразной жизни, царящей в обыденном мире. Ограниченный поверхностный патриотизм, быстро остывший в головах и душах большинства его сверстников, ставших солдатами, у Юнгера сменился на более прочное духовное основание, что явилось в последующем спасением для него от душевного маразма, приведшего многих в ряды фашизма и оголте-

---

<sup>5</sup> Цитируется по книге: «История литературы ФРГ». С.89. Запись включена во «Второй парижский дневник» (*Jünger E. Strahlungen. Bd 2. Stuttgart, 1963*).

лого шовинизма. Вскоре мы находим его в ганноверских казармах, проходящим первичную военную подготовку. Опять трезво смотрящий на вещи отец советует ему пройти обучение в школе младших офицеров, а у Юнгера хватает разума внять совету, несколько повременив с подвигами. В конце декабря юный новобранец уже на фронте. Правда, одна деталь: пользуясь льготами, он успел определиться одновременно в Гейдельбергский университет, с отсрочкой учебы до столь близкой, как всем представлялось, победы. Отправка на фронт, сопровождаемая восторгами и энтузиазмом народа: цветы, речи, пение патриотических песен, улыбки и поцелуи девушек — все это было выражено в полной мере, искренно принято и представлялось праздником.

Определен был Юнгер в примечательную часть — полк, находившийся под патронатом представителей царствующего дома Гогенцоллернов, это был 73-й полк «королевских стрелков». Единственная мысль, тревожившая его душу и сердце, выражалась в страхе, что к ближайшему Рождеству первого года войны все закончится, и придется вернуться к обычной нудной жизни полным разочарования и огорчения. Головы юношей, таких как Эрнст Юнгер, кружились от возбуждения в ожидании необычных военных приключений и подвигов: «Среди всех нас, выросших в эпоху материализма, — вспоминал он позже об этих днях и переживаниях, — жила тоска по делам необычным, по великим и сильным ощущениям. Война захватила нас и оглушила. Отправлялись мы осыпаемые дождем цветов, в ошеломленном настроении, готовые на смерть. Война должна нам предоставить все то, что составляет великое, сильное, прекрасное. Она пред-

ставлялась нам мужественным подвигом, радостным поединком стрельцов на цветущем, орошенном кровью лугу».<sup>6</sup>

Страхи оказались напрасными: марнская битва задержала продвижение тевтонских армий. Победа не только задерживалась: война затягивалась, постепенно принимая неожиданную, совсем не героическую форму окопных сидений и затяжных боев, где значение имели не мужество, личная храбрость и героизм в духе стародавних войн, а техническое противостояние огня и железа и количество человеческого материала в дополнение к технике. Именно здесь Юнгер впервые сделал наблюдение, что техника приобрела такие свойства, при которых человек мог быть только ее придатком. И все же война содержала в себе приключение, но оно было иной природы, проявлялось иным образом и могло стать восхитительным уделом только тех, кто обладал особой способностью ощутить и вычленить его в чередке военных будней. Война также раскрывала те черты личности, кристаллизовала те свойства характера, которые в мирной жизни либо не имели шанса проявиться, либо же выражались в вялых, неопределенных формах. Юнгер максимально использовал свой шанс; можно сказать, что именно война создала его как личность, и он отплатил ей благодарностью, ни разу не прокляв, не осудив.

В Эрнсте Юнгере обнаружили редкостная храбрость, холодная решительность и расчетливость, создавшие ему легендарную фронтовую славу. И образ

---

<sup>6</sup> *Jünger E.* In *Stahlgewittern*. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers. 6 Aufl. Berlin, 1925. S.2.

жизни его был необычен. На военных полях Шампани и Бельгии он формируется как дельный офицер. Звание его невелико — лейтенант, командир взвода, но авторитет огромен. Он слывет умным офицером, способным поднять людей на исключительно трудное военное задание, что говорит, по меньшей мере, о доверии к нему подчиненных и вере в его счастлившую звезду. И в то же время он регулярно ведет военные записи, не обращая внимания на обстановку: в окопах и под бомбежкой, перед боем и после атаки. За военные 1914—1918 годы их набралось до полутора десятков. И в этом опять сказалась отцовская предусмотрительность. Именно он советовал сыну вести дневники, а после — подготовить их к публикации и издать. Война приучила Э. Юнгера творить в любой обстановке, и творчество стало понято им как систематический труд развития наблюдательности и техники ее выражения в слове.

Ранения преследуют Юнгера. Сам он их насчитал четырнадцать. За ними следовали и награды. Судьба была к нему необычайно милостива. Накануне знаменитой битвы на реке Сомме он был случайно легко ранен и отправлен в лазарет. Его взвод участвовал в тяжелейших боях, и никто не вышел из них живым.

Вскоре он уже командир ударной роты и командует ею до конца войны, потеряв большую часть ее состава в боевых операциях. Конец войны отмечен впечатляющими наградами, из которых следует выделить Железный крест первой степени, Рыцарский крест Гогенцоллернов. Венцом фронтовой карьеры Эрнста Юнгера стало участие в отчаянных последних попытках германской армии прорвать фронт против-

ника в марте 1918 года. Его штурмовая рота проявила исключительную доблесть, хотя и бесполезную в общем итоге сражений. Эти эпизоды фронтовой жизни особенно выразительны в дневниках Эрнста Юнгера. Тем не менее они не стали последним испытанием. Свой последний бой закончившийся весьма серьезным ранением, он провел 23 августа. Уже в госпитале в Ганновере он узнает, что награжден высшей военной наградой Германии — орденом «За доблесть» («Pour le Mérite»), учрежденным еще Фридрихом II. Это чрезвычайно редкая в германской армии награда, особенно трудно и нечасто достававшаяся младшим чинам пехоты. Всего 14 человек из рядового состава пехоты были отмечены ею в годы первой мировой войны. Орден, фронтовая слава и военный авторитет Юнгера в годы нацистского режима оказались ему надежной, хотя и не единственной, защитой, не раз спасавшей героя Германии от преследований и, возможно, от гибели. Орден придавал ему и вес в кругах военной элиты, позволял стоять вровень с наиболее родовитыми ее представителями. На фронте, в окопах и госпиталях он познакомился со многими комбатантами, составившими в последующие десятилетия ядро офицерского корпуса Германии, основу возрождения ее военной мощи. Гитлеровский режим аннулировал эту награду, и круг награжденных ею оказался чрезвычайно узким, тем самым возвысился почет ее обладателей. С его смертью ушел из жизни последний носитель этого отличия. Начиная с 50-х годов, когда возрождались имя и слава Э. Юнгера, его голову и плечи осыпало немало наград, отличий, почестей как немецких, так и международных: литературных, научных, государственных, общест-

венных, но ни одна не придавала ему столько достоинства и чести, как эта, военная.

В годы войны оформился характер Юнгера. Целеустремленность, соединенная с огромным трудолюбием, умение работать в самых неподходящих условиях, самодисциплина и развитая до совершенства техника самоанализа легли в основу его личности. Им не овладели ни цинизм, ни отчаяние, ни разочарование или безразличие, ставшие основным психическим комплексом людей поколения первой мировой войны. Не будучи лириком по природе, он умел ценить и хранить верность дружбе и товарищескому долгу, не раз для своего проявления требовавших гражданского мужества. В этот период происходило и духовное развитие его личности. Всю войну ему сопутствовали книги. Дневники содержат внушительный список авторов, чьи произведения были им прочитаны и продуманы. Следует отметить его необычный состав. Еще до войны он стал изучать Ницше, и «Воля к власти» многое определит в мировоззрении и социальной философии Юнгера в будущем. Но среди писателей не только немецкие имена. «Приключения Тристрама Шенди» Л. Стерна не просто прочитаны им в окопах, но изучен стиль и освоены некоторые писательские приемы английского автора. Столь же важен для него и Стендаль. Из русских писателей это, конечно, Достоевский и Толстой; необычным может показаться интерес к Тургеневу. Однако следует напомнить, что «Отцы и дети» особенно значимы для традиций европейского нигилизма, к которому Юнгер, как мы теперь знаем, имел прямое отношение. Но в эти годы, переживания которых еще решительно опосредованы юношеским опытом, проблема самооп-



ределения, вычленение себя как личности из рутинного порядка культуры отцов, видимо, подспудно мотивировала духовные интересы и поиски, на пути которых встретился роман Тургенева. Но в особенности примечательно внимание к Гоголю. Значение этого писателя для развития некоторых важных явлений художественной и умственной жизни Германии начала века представляется недостаточно учтенным и изученным, особенно для понимания судеб немецкого экспрессионизма. Экспрессионистские тенденции и корни литературного и мыслительного облика Юнгера несомненны, но вот их истоки рассмотрены без должной широты подхода. Слитость, закономерная взаимоопределенность абсурда и реальности в мире человеческой жизни и того, что ее организует — общества — вот важнейшее духовное открытие, которым великая русская литература поделилась с Европой, жившей в атмосфере натуралистического французского и немецкого бытового романа конца XIX века. Но и помимо экспрессионизма, Гоголь оказал влияние на художественную мысль эпохи модернизма своей мистической двусмысленностью, колдовским символизмом и вниманием к таинственному в жизни и в человеке. В этом аспекте он осваивался русским символизмом (А. Белый). В немецкоязычных странах эссеист и философ Рудольф Касснер (1873—1959) стоит в первом ряду культурфилософов, воспринявших Гоголя не только как литературное явление своеобразной национальной культуры. Р. Касснер входил в сложную систему литературно-художественных и философских связей начала века, охватывавших культурную элиту почти всей Европы и включавших круг Стефана Георге, представителей венской интеллекту-

альной элиты (С. Х. Чемберлен, Р. М. Рильке), мыслителей космополитической ориентации, подобных Герману Кайзерлингу, французов А. Жида, П. Валери и многих других.

С окончанием войны завершается важный период жизни Э. Юнгера — период сопряжения жизни и воображения, в котором высветились основные свойства личности будущего писателя, подведены первые итоги, убеждавшие Юнгера, что вне расчетливого контроля рассудка чувство — плохой руководитель жизни.

Как бы ни важно было для Э. Юнгера интеллектуальное и духовное самообразование в годы войны, по своему значению, однако, оно не идет ни в какое сравнение с силой воздействия опыта самой войны. Выражением этого воздействия стало то, что личностно-эмоциональный способ восприятия и реакций постепенно отодвинулся на второй план, уступив место тому, что можно назвать отстраненным созерцанием, формировавшим ту минимально необходимую объективную установку разума, с которой все события, и война в их числе, стали восприниматься как знаки и проявления жизни иных таинственных и могущественных сущностей, относительно которых человек являет собой лишь средство и орудие властвующих над ним и определяющих его судьбу сил. Присутствие их в человеке делает его значимым и сущностно определенным. Немецкая культурфилософская мысль, ведущая свое родословие от Гете и романтиков, нашла и словесно-понятийный способ обозначить структуры этой явленности жизни космоса в эмпирически доступных нам формах. Мы имеем в виду ставшее знаменитым, благодаря главным обра-

зом О. Шпенглеру, выражение «гештальт», не имеющее однозначного смыслового эквивалента ни в одном европейском языке и в силу этого вошедшее в них без перевода. Пришел к нему в своей социальной философии и Юнгер, желавший придать особый онтологический статус тому феномену единства организации, силы, целеустремленности и творчества, который, подчиняясь возможностям обыденного языка, он вынужден был обозначить термином «рабочий» (der Arbeiter).

Конец войны застал Э. Юнгера в ганноверском военном лазарете. Это время кратко, но впечатляюще описано им в первой книге военных дневников «В стальных грозах»: награда, встречи друзей, родственников, пирушки, знакомства, позже имевшие в его жизни немалое значение, медленное выздоровление. И ни единого намека на социальные бури, волнами недовольства, протеста и забастовок прокатывавшихся по стране. Казалось, после выздоровления снова ждет фронт. Но он рухнул и на Западе, и на Востоке. В одночасье монархия стала республикой, принявшей безоговорочную капитуляцию. За ней, как известно, шли разложение армии и ее разоружение, оккупация немецких приграничных территорий, а потом Веймарская конституция и Версаль. Вместо мощной армии Германия стала располагать только сотысячным рейхсвером, с весьма ограниченными целями поддержания внутреннего порядка и стабильности. Миллионы демобилизованных разбрелись по стране. Остановка производства и безработица вытолкнули на улицы множество рабочих. В стране сложилась ситуация на грани хаоса и анархии. В довершение ко всему возродились сепаратистские тенденции. Удиви-

тельно знакомая нынешнему россиянину обстановка. Действительно, если где-то в истории и следует искать аналогию тому, что мы переживаем ныне, то это Германия с конца 1918 и до 1923 года.

Уже в начале 1919 года Юнгер находится в кадрах рейхсвера. Должность скромна: командир взвода. Он служит под началом капитана Оскара Гинденбурга — сына знаменитого фельдмаршала; их связывают узы дружбы. Вскоре его включают в состав экспертов, занятых разработкой новых уставов и военных руководств. Благодаря этой перемене круг его знакомств расширяется. Такие имена из принадлежавших к нему, как В. фон Бломберг, И. фон Штюльпнагель, будут не раз мелькать в последующие годы в военно-политических верхах Германии.

Но военная карьера Юнгера вовсе не прельщает. Оказывается, что с 1918 года он упорно и скрытно обрабатывает свои военные дневники, готовит их к публикации. В 1920 году они выходят под заглавием «В стальных грозах. Из дневника Эрнста Юнгера, командира ударного отряда». Эта первоначально небольшая книжка, вышедшая тиражом в 2000 экземпляров быстро стала сенсацией. Потребовались дополнительные тиражи и переиздания. Они следовали один за другим; книга подвергалась временами значительным переделкам и увеличивалась в объеме.<sup>7</sup> Общий тираж книги до второй мировой войны пре-

---

<sup>7</sup> При указании на издания произведений мы пользовались библиографическими данными, содержащимися в указанном ранее (примеч. 2) библиографическом справочнике Хорста Мюлейзена (*Mühleisen H. Bibliographie der Werke Ernst Jüngers*). На русском языке книга «В стальных грозах» впервые вышла в 2000 году в издательстве «Владимир Даль», СПб.

высил 300 тысяч экземпляров. И доныне это самое известное произведение Юнгера. Именно по нему определяют основные стилистические свойства художественной манеры Юнгера, а жанр олитературенных дневников становится определяющей формой, репрезентирующей его как писателя. Только много позже он решится освоить поэтику жанра классического немецкого романа, структура которого определена психологическими коллизиями героев. Более того, в сороковые годы он работает в жанре социальной и научной фантастики, результатом чего явился роман «Гелиополис» (1949).

Военная служба стала тяготить Юнгера, тем более что с ней связываться неприятные и докучливые обязанности, в том числе силовое пресечение различных акций, организаторами и участниками которых нередко были фронтовики. Чувству фронтовой солидарности и товарищества Юнгера это претило. Тяги к военному ремеслу как к профессии у него не было. На всем его духовном облике стали сказываться врожденные склонности мыслителя и писателя. В дополнение к этому в нем просыпается интерес к учебе, умственная работа становится постоянной потребностью, как и потребность высказывать свои мысли печатно. В 1920 году он тщательно изучает вышедшую только что книгу Шпенглера «Закат Европы», есть сведения о знакомстве его с марксистской литературой; постепенно происходит втягивание в мир художественной жизни. Наряду с этим Юнгер обнаруживает в себе жилку политического публициста, и его аполитичность сменяется живым интересом к общественно-политическим вопросам. Он включается в жаркие дискуссии, пытается определить свое

место среди возникающих политических движений. В первые послевоенные годы Э. Юнгер вращается внутри бесчисленных кружков, клубов, объединений ветеранов и фронтовиков, живущих шумной, нервной жизнью оскорбленных и униженных людей, обманутых в своих ожиданиях и не способных свыкнуться с мыслью, что война закончилась поражением и они уничтожены в этой войне как личности. Большинство из этих кружков подвержено иллюзии особой причастности к великому общенациональному делу, преданному людьми тыла, политиками и дельцами. Поиск причин несчастий и виновников, жизнь в мире иллюзий и мечтаний о реванше составляют главную тему бесед и споров участников этих кружков. Они, как правило, националистической, праворадикальной ориентации. Требования восстановить поруганное достоинство страны и свое собственное, утвердить принципы чести и долга, которыми скреплялась армия, но которые оказались поруганы и презрены обществом, вражда к победителям, — все это и многое другое, менее определенное и слабо артикулированное, составляло основу духа, царившего в этой среде. Одно из наиболее распространенных объединений бывших фронтовиков — отряды «Фрайкорпс» (Freikorps). История и организация этих объединений уходит в далекое средневековое прошлое Германии. «Фрайкорпс» представлял собой добровольные отряды вооруженных людей во время военных действий, нечто вроде отрядов самообороны. В первые месяцы по окончании мировой войны такие отряды стихийно и массово образовывались в разных частях Германии, особенно в ее прибалтийских землях, нередко противостоя центральным властям. Тем не менее прави-

тельство нашло способ использовать отряды «Фрайкорпс» для подавления восстаний, бунтов и сепаратистских выступлений. На роль их вождя претендовал амбициозный генерал Э. Людендорф, один из героев недавней войны. С ними он связывал честолюбивые планы личного порядка и возрождения военного могущества Германии. Хотя «Фрайкорпс» были распущены правительством в начале 20-х годов, но именно члены этих отрядов были тем горючим материалом, который постоянно угрожал вспыхнуть в условиях политической нестабильности. Из них же рекрутировались первые борцы с демократией веймарского толка и большевизмом. Психологические комплексы солдатской среды были понятны Юнгеру и близки, но ему претила узость и примитивность их выражения, brutality действий; понимание ограниченности идей реванша заставляла искать более основательной идеологии.

Современный русский исследователь германской истории конца первой мировой войны и 20-х годов невольно ловит себя на сопоставлении с катаклизмами, постигшими СССР и Россию с конца 80-х годов и не утихающими по сие время. Действительно, судьба Германии тех лет предстает едва ли не самым развернутым прообразом того, что сейчас переживает русское общество. В нем налицо все основные структурные элементы нашего разложения, чтобы ни говорилось об уникальности, неповторимости, исключительности любых исторических явлений. Крах великой империи, мыслившей свое существование категориями тысячелетий, унижение гордой нации, культурное разложение и распад общества, повлекший малоудачную революцию и затяжную фазу хо-

зьяйственного развала. С горизонта духовных ориентиров общества исчезли нравственные ценности; прежде четкие представления об устойчивости и гарантированном расцвете как исторической перспективе Германии сменились чувством безысходности, разочарования и отчаяния. Пессимизм и бесперспективность жизни стали важнейшими основаниями общественной психологии. Разбереженное сознание становилось легкой добычей всевозможных прорицателей, пророков, визионеров, политических и духовных шарлатанов. Массы жаждали быстрого и решительного изменения положения, с презрением относились к парламентским болтунам и бесцветным фигурам политиков, толкавшихся в министерских коридорах, когда одно правительство суетливо сменяло предшествующее и столь же незаметно ступшеывалось перед последующим. Политические убийства, сепаратизм, путчи, митинги на фоне застылых доменных печей и остановленных заводов — разве это не наши будни 90-х годов? Да, но это и Германия конца 10-х—первой половины 20-х. Национальное сознание немцев было поставлено перед роковым испытанием, и мы теперь знаем, что оно его не выдержало. Свою мыслительную работу оно замкнуло на самосознании, самоопределении немцев и двигалось, теряя конкретную историческую почву, в направлении конструирования космического мифа Германии и немца как самодовлеющих сущностей, через судьбы которых преобразуется мир и человечество. Национализм и мистический провиденциализм оказались важными показателями наступающего культурного маразма Германии, ведшего к фашизму. Но о будущем позоре никто не мог и помыслить. Реальность казалась пределом вся-



кого возможного падения, и любой решительный шаг представлялся выходом в лучшее. Не оставим вышеуказанное без литературной иллюстрации, взятой, правда, не у Юнгера, а у Альфреда Розенберга, разумеется, мы имеем в виду мрачной известности сочинение «Миф XX века». Его основные идеи, по свидетельству Розенберга, оформились уже в 1917 году, а к 1925 получили законченное выражение. «Все нынешние внешние столкновения сил являются выражением внутреннего развала. Уже в 1914 году рухнули все государственные системы, хотя, отчасти еще формально, они продолжали свое существование. Но обрушились также и всякие социальные, церковные, мировоззренческие знания, все ценности. Никакой верховный принцип, никакая высшая идея больше не владеют безусловно жизнью народов. Группы борются против групп, партии против партий, национальная идея против интернационального принципа, жесткий империализм против всеохватывающего. Деньги золотыми путами обвивают государства и народы, хозяйство, подобно кочевому стану, теряет устойчивость, жизнь лишается корней.

Мировая война как начало мировой революции во всех областях вскрыла трагический факт, что миллионы пожертвованных ей жизнью оказались жертвой, которой воспользовались силы иные, чем те, за которые полегли целые армии. Павшие на войне — это жертвы катастрофы обесценившейся эпохи, но вместе с тем — и оно началось с Германии, даже если это понимает ничтожное число людей — они и первые мученики нового дня, новой веры.

Кровь, которая умерла, вновь начинает пульсировать жизнью. Под ее мистическим знаком происходит

построение новых. клеточек немецкой народной души... История и будущее не означает отныне борьбу класса против класса, сражения между церковными догмами, а столкновение крови с кровью, расы с расой, народа с народом. Расовое понимание истории скоро станет самоочевидным знанием...

Однако понимание ценности расовой души, которая как движущая сила лежит в основании новой картины мира, еще не стало житнетворческим сознанием. Душа — это внутреннее состояние расы, это — раса, понимаемая изнутри. И наоборот, это внешнее проявление души. Душа расы пробуждается к жизни, утверждается ее высшее достоинство... Задачей нашего столетия стало создать из нового жизненного мифа новый тип человека». Идеи и словесный способ их выражения не новы. До Розенберга они высказывались представителем «органической теории государства» романтиком А. Мюллером; расовую идею Х.С. Чемберлен считал принципом' даже не XX, а XIX века. Новое, скорее, сказалось в том сгущении энергии и пафоса, с которыми они были представлены немецкому обществу в 20-е годы.

В 1923 году Юнгер решает прекратить свою военную карьеру, выходит в отставку, начинает жизнь частного человека и вскоре женится. Основу его существования составляет военная пенсия. Все эти поступки говорят о нем как о человеке решительном, склонном испытывать себя, нежели как о расчетливом и прагматичном. Эти эпизоды из жизни Юнгера получили самые различные толкования его биографов. Различные, скорее, в деталях, но по существу совпадающие.

Время ухода совпало с провалом фашистского мюнхенского путча (9 ноября 1923 года). В уходе

Юнгера пытаются видеть определенную форму протеста, выражение нежелания служить парламентскому государству. Таким образом, хотя он не участвовал в активных действиях, но своей отставкой солидаризировался с требованиями радикального возрождения Германии. У Юнгера уже к этому времени вполне определились националистические, праворадикальные воззрения антидемократического толка. Неприятие буржуазного демократизма было свойственно ему всегда, и в обратном он не мог (да, кажется, и не брался) убедить никого, даже живя в почете в Федеративной Германии, осыпаемый знаками признания и отличий либералами и демократами. В нем не осталось и еще обычной в те годы монархической ностальгии. Его упрочившемуся в годы войны элитарно-аристократическому самоощущению претил вильгельмовский порядок, с которым были связаны первые негативные впечатления юности.

Удивительный психологический феномен! Сын аптекаря и бюргера вполне средней руки, получивший весьма заурядное образование и воспитание, смог не только взрастить в себе претензии на аристократизм, но и убедить даже ближайшее окружение в подлинности этого духа. Он закрепился в стиле личной жизни, роде занятий и увлечениях, манифестировался разными жестами и позициями настолько интенсивно, что это создало вокруг Юнгера атмосферу особенной дистанцированности и слержанности, граничащей со снобизмом.

Любитель изящных библиофильских редкостей, хороших вин, избранного общества, энтомолог-любитель, владелец огромной коллекции жуков, гербариев, живущий в уединенном месте в старинном,

похожем на замок особняке, избегающий прессы и других атрибутов демократической открытости — таков перечень особенностей жизни Юнгера, которые можно было бы поставить ему в упрек. Но все эти особенности стиля личной жизни оформятся постепенно с годами и утвердятся лишь в конце 30-х годов.

Сам Юнгер убеждал позднее, что служба препятствует его духовной деятельности.<sup>8</sup> Выйдя в отставку, он делает попытку серьезно приступить к университетским занятиям, которые были прерваны войной. Он восстанавливается в университете, на этот раз в Лейпцигском, по естественнонаучному факультету — отделение зоологии, хотя никаких особых склонностей к ней не питал. Слушает лекции известного биолога и философа Ганса Дриша, чьи виталистические идеи и натурфилософский склад ума созвучны консервативным убеждениям и соответствуют стилю мышления его слушателя. Постепенно Юнгер втягивается в занятия философией, причем настолько интенсивно, что одно время задумывается над предложением профессора Ф. Крюгера отнестись к ней профессионально и защищаться. Но академическая карьера его не прельстила. Он окончательно утвердился в желании вести свободную, не обремененную обязательной службой жизнь интеллектуала. Укреплению этого желания, видимо, содействует и проснувшаяся в нем склонность к духовному лидерству, интенсивная работа в кружках с политической ориентацией, ставящих целью возрождение Германии и немецкого духа.

---

<sup>8</sup> *Hietala M. Op. cit. S.27. (примеч. 2).*

Эта склонность, будучи индивидуальной по специфике своего проявления, тем не менее была весьма отличительной чертой духовной жизни раздробленного, хаотичного интеллектуального мира Германии. Претензии на лидерство — духовное или политическое — заявляются многими и часто. Природа этого феномена также заслуживает специального рассмотрения, ибо частота, с какой он проявляется в структуре психики выдающихся деятелей немецкой науки, литературы и искусства тех лет, свидетельствует об ее существенной значимости. Притязания на вождизм стали стойкой симптоматикой отношений, складывавшихся между людьми, группами и объединениями с конца XIX века. Они проникли из сферы борющихся политических групп и партий даже в художественную и интеллектуальную элиту Германии. Вождизм мы прослеживаем в стиле взаимоотношений выдающегося поэта Стефана Георге не только со своими адептами, составляющими ядро его кружка, но и с лицами, лишь временно, случаем обстоятельств, вступивших с ним в общение. «Будьте мне верным», — обращается он к Гуго фон Гофмансталю, исключая тем самым любую иную форму отношений двух поэтов.<sup>9</sup> В той или иной мере эту претензию к занятию позиции духовного, а нередко и более значимого вождя можно отметить у Мёллера ван дер Брука, Л. Клагеса, Г. Кайзерлинга и других интеллектуалов, а в более тонкой форме — у О. Шпенглера, Т. Манна, М. Хайдеггера. Вождизм вел на первых порах к раздроблению групп

---

<sup>10</sup> См.: Вибраний Стефан Георге по українському, іншими, передусім слов'янськими мовами. Видали І.Костецький та О. Зуевський. Т. 2. Штутгарт, 1973. С.346.

и к их ожесточенной конкуренции, нередко переходящей в прямую борьбу. Шаг за шагом он создавал потребность в постепенной кристаллизации особой идеологии, вел к учению о фюрерстве не только как о лидерстве по отношению к массе, народу, нации, но выстраивал универсальную концепцию об иерархической модели соотношений рас, социальных групп, культур, государств. «Führersprinzip» становился центральной частью особой политической философии, тяготевшей к метафизическому укоренению в смысле принципа космического значения.

Политическая публицистика и духовная активность Юнгера в эти годы достигает своего пика. Ободренный успехом первого своего писательского опыта Юнгер приступает (1921) к работе над вторым произведением, связанным с военным прошлым. Им стала вышедшая в 1922 году книга «Борьба как внутреннее переживание». Событийная сторона в ней перестает играть существенную роль. Война предстает как реконструкция внутреннего опыта человека. Задача заключалась в том, чтобы избежать обыденной психологизации, что Юнгеру удается сделать, нащупав особый метод объективизации событий, который он затем разовьет с небывалой силой. Следующим опытом в этом направлении стала книга «Огонь и кровь» (1925).

После выхода этих книг в свет, в обстоятельствах растущей политической активности и ожидаемых в связи с нею перспектив Юнгер решает порвать с университетом (1926) и окончательно погружается в особую атмосферу жизни активного политического публициста, заняв «крайнюю правую» позицию. Контакт с правым экстремизмом, как мы сказали,

произошел гораздо ранее. Но теперь Юнгер пытается не просто определить свое место в массе разнородных правонационалистических уклонов, но старается сделать это особым образом, возглавив их объединенные силы в идейном отношении. В «юнгероведении» присутствует проблема: насколько он желал ограничить это лидерство только теоретико-идеологическими рамками, не претендуя на практически-политическое руководство националистическим экстремизмом. Мы считаем излишним вдаваться здесь в такие тонкости, ограничившись вышеуказанными наблюдениями несомненно честолюбивых устремлений.

Что собой представляло это движение, когда Юнгер вошел в него со своими представлениями и притязаниями?

В западной литературе по политической истории Германии 20-х годов эта тема раскрыта довольно полно и подкреплена солидной документационной базой. У нас сделано несравненно меньше по причинам, которые требуют более точного, а не идеологического объяснения, как это принято в наши дни.<sup>10</sup> Неясно, в какой мере эта тема была табуирована, а в какой она представлялась не имеющей важного значения для понимания европейской политической истории XX века как истории краха демократических институтов буржуазных государств, происходящего нередко в форме обращения к крайним средствам «господства средствами террора», как это имело место

---

<sup>10</sup> Книга О. Ю. Пленкова «Мифы нации против мифов демократии: Немецкая политическая традиция и нацизм» (СПб., 1997) составляет обнадеживающее исключение.

в Германии того времени, чтобы предотвратить крушение системы под натиском поднимающегося революционного движения. Важно понять, что развитие крайнего экстремизма правого толка, одной из форм или вариаций которого в Германии оказался национал-социализм, имело свои собственные причины, а их развитие определило относительно независимую историю этого движения. Борьба с коммунизмом и большевизмом, что особенно подчеркивалось у нас в качестве главной цели германского правого экстремизма, в представлении самих участников этого движения мыслилась нередко как составляющая часть более общего сопротивления дряхлому, лишенному истинных ценностей буржуазному строю, который как раз и породил коммунизм и подобные ему явления. Поэтому далеко не всегда в фашизме и национал-социализме (в некоторых случаях различие между ними было важным) следует видеть именно орудия противостояния победоносному шествию коммунистической революции. Во всяком случае, участники этих движений таковыми себя не считали. Перед ними стояли в особом свете собственные национальные задачи. Более того, есть основание говорить, что успехи большевистской революции в России побуждали их перенимать опыт и уроки большевистских партий, внимательно изучать технологию политической работы и революции, способ партийной организации, в чем-то подражать им, провозглашая иногда возможность антибуржуазного союза национализма, фашизма и большевизма. В Германии такое явление в 20-е годы получило название «национал-большевизм», главным теоретиком которого выступил Эрнст



Никиш (1889—1967), с которым Юнгер близко сходится.<sup>11</sup>

Германский национал-социализм вышел из очень сложного политико-идеологического и социального месива начала 20-х годов, которое несло на себе совершенно иную, часто меняющуюся терминологию-

---

<sup>11</sup> Об этом деятеле следует сказать несколько подробнее, поскольку его влияние на политические взгляды Юнгера периода 20-х годов было весьма значительным. Никиш происходил из рабочей семьи и с юности был связан с социал-демократическим движением. В первые послевоенные годы он принимал участие в активных революционных действиях в Баварии, затем в молодежном и профсоюзном движении. В 1926 году основал кружок «Widerstand» («Сопротивление») и одновременно журнал и издательство такого же наименования. Кружок должен был, по замыслу Никиша, дать начало мощному социально-политическому движению обновления Германии и Европы. Уже в 1918 году его внимание привлекли события в России и он становится пропагандистом большевизма, что выразилось в серии его статей «Свет с Востока». Он выступал против западных влияний в немецкой духовной и социальной жизни, ориентируясь на рабочего как главную социальную и творческую силу общества. Именно в союзе с Советской Россией он видел шанс возрождения Германии и силу противодействия гегемонии США. Политический утопизм или наивность (?) Никиша сказались в том, что он пытался приобщить к этой идее Муссолини, для чего специально ездил в Рим. Никиш был убежден, что основа нации — это трудящийся, ему и должно принадлежать господство. Национальное государство — это государство, где безраздельно господствует труд и утверждено политическое верховенство рабочего. Именно поэтому за его взглядами закрепилось название «национал-большевизм». Их полное философское выражение Никиш видел в трактате Э. Юнгера «Рабочий». Последний сотрудничал в его журнале, а после ареста Никиша материально поддерживал его семью. К Гитлеру Никиш отнесся резко отрицательно. С 1936 по 1945 год он находился в фашистском заточении. После освобождения пытался включиться в политическую и культурную жизнь ГДР. Для послевоенных взглядов Никиша показательно его итоговое произведение «Европейский баланс» (1951). Умер в забвении.

ческую маркировку. Оно именовалось одними иногда как «консервативный национализм», другими — как «новый национализм», а его поступательное развитие нередко мыслилось как эпоха «консервативной революции». Словари приводят еще ряд других терминов.

Платформу этого весьма неоднородного в идейном отношении течения составили мечтания о национальном возрождении могучей Германии в силе и славе, сплоченной и гармонически устроенной в социальном отношении. Восстановление монархии не рассматривалось как желательный политический шаг: вильгельмовский режим был отягощен виной за поражение, за потакание буржуазности, за разложение нации и пр. Но главными противниками в национальном масштабе пока считались Веймарская республика как олицетворение буржуазной демократии и либерализма и левые движения. Истоки «нового национализма» можно найти в традициях консервативного романтизма 20—30 годов прошлого века (А. Мюллер), развившего органическую теорию общества и государства, воспринятую и развитую, между прочим, в социальной философии австро-немецкого философа и государствоведа Отмара Шпанна уже в XX столетии.<sup>12</sup> Но главную стимулирующую роль сыграло переживание войны и ее последствий для нации во всех выражениях. Оно было выражено не только в трудах политических теоретиков или в политической публи-

---

<sup>12</sup> *Stanslawski V. Natur und Staat: Zur politische Theorie der deutschen Romantik.* Opladen, 1979; *Loos V. Begriff und Ideen des Organischen Staates.* Darmstadt, 1939. О. Шпанна (1878—1950) нередко причисляют к теоретикам, чьи учения легли в основу фашистских учений о государстве, нации и политике.

цистике, наполненной прорицаниями, предчувствиями и ожиданиями. Его трансформировали соответственно специфике языка и технике выражения идей литераторы, художники, музыканты, философы, религиозные деятели. Помимо О. Шпанна можно было бы указать также на Э. Шпрангера, Л. Клагеса, Г. Дриша, не уклонившихся в свое время от искусства внести лепту в развитие националистических настроений. О том, что наступило «время решений», писал О. Шпенглер, однако его соответствующая книга, вышедшая после прихода к власти нацистов, уже не казалась достаточно радикальной, ясной и прочно связывающей национальные надежды с руководящей ролью Гитлера.<sup>13</sup>

И тем не менее идеология «нового национализма» была неопределенной, в этом сказалась его социальная нефундированность и политическая разнородность. Эрнст Юнгер был одним из многих, претендовавших на идеологическое и, вообще, духовное лидерство в этом движении и порождавших дух соперничества, интриги, закулисных маневров, нередко заканчивавшихся политическими убийствами. Следовало бы назвать помимо Э. Никиша, юриста и социального философа Карла Шмитта (Carl Schmitt, 1888—1985), также находящегося с Юнгером в тесном общении. Впрочем, все они были слишком интеллектуализированными, слишком индивидуалистически ориентированными. Им не хватало политического прагматизма, политического цинизма, беззастенчивости и необходимой дозы аморализма.

---

<sup>13</sup> *Spengler O. Frühzeit der Weltgeschichte. Fragmente aus dem Nachlass.* Hrsg. A.-M. Kocktanek. München, 1966.

Э. Юнгер полагал, что может внести определенность в формирование доктрины консервативного национализма, прояснить его цели и средства их достижения. Основной ареной своей деятельности он выбирает журналы и газеты, представлявшие различные уклоны национализма, а средствами — политическую публицистику. Первая его публикация такого рода появилась в газете «Народный обозреватель» («*Völkischer Beobachter*») — пресловутом центральном органе нацистской партии<sup>14</sup> — и продолжалась почти десять лет в разнообразной периодике. Едва ли публицистические выступления Юнгера могли быть той силой, вокруг которой сплотился бы новый немецкий консерватизм. Этого и не произошло. Но авторитет Юнгера в его кругах был несомненно высок, ему удалось создать кружок единомышленников, связи с которыми долго не прерывались.<sup>15</sup>

Основная проблематика Юнгера-публициста — народ, государство, сущность власти и ее универсальные основания. Вся она фокусируется в идее национализма. Трактовки «нового национализма», содержащиеся в публицистике Юнгера, едва ли отличались конкретностью и проясняли дело. Так, он писал в 1926 году: «Национализм есть воля жить среди нации как сверхординарной сущности, существование которой является более важным, чем существова-

---

<sup>14</sup> Это статья «Революция и идея» (1923). О политической публицистике Юнгера см.: *Hietala M.* Op. cit.

<sup>15</sup> Кроме его брата, в него вошли политические публицисты: Ф. Шаувекер, Ф. Хисслер, В. Ласс, А.-Е. Гюнтер, Х. Плаас, писатель Э. Ф. Саломон. Связан был Юнгер и с О. Штрассером, отчасти Геббельсом, Риббентропом. Но все же люди из офицерской среды были ближе ему духовно и по жизненному опыту.

ние индивида». Или: «Национализм не движение, а движущая воля». Еще: «Национализм — это чистая и необусловленная воля быть сопричастным к нации, воспринимаемой и чувствуемой всеми силами и средствами, находящимися в нашем обладании». Однако существенными оказываются два момента. Первый состоит в том, что, определяя национализм как глубинное, невыразимое в своей полноте чувство сопричастности, принадлежности к нации, Э. Юнгер определил саму нацию не в терминах биологии, социалдарвинизма или расовой теории, а как духовную сущность. Нация есть некая сверхчувственная сила, дающая определенность всякому чувствующему свое отношение к ней, или ее наличие в себе. В этом смысле она приобретает значение ядра некоторой секуляризованной религии. Отношение к нации является своего рода тайной, мистерией и не может быть выражено рациональным образом. Без наличия чувства мистической сопричастности народ и любая общность явятся только простой механической массой, скопищем чуждых друг другу единиц. Второй момент состоит в том, что идею национализма «новый национализм» не культивирует в узких рамках национальных задач возрождения Германии, а понимает как феномен общеевропейского масштаба. Он родился и поднялся из войны, и охватил все страны. «Новые националисты» порой видели возрождение Германии не как исключительную задачу германского народа, а считали ее всеевропейским делом. Брат Эрнста Юнгера, Фридрих Георг, также принявший участие в этом движении, именно так понимал суть нового дела. Национализм преодолевает партийные различия и государственные границы, ибо, будучи чистой идеей,

он не имеет определенного отечества. Согласно этому принципу, национализм не разделяет народы Европы, а объединяет. Национальная революция и будет состоять в этом объединяющем движении.

Таким образом, революционные представления Эрнста Юнгера оказываются связанными не с задачами социального, политического или экономического порядка, а с воплощением националистических идей в форме националистического государства. Быть националистом — значит подчинить созданию нации всё и в этом видеть свою высшую задачу и ценность. В национализме заключены основы всякого права, и он есть выражение человеческой воли. Хотя при создании националистического государства вопрос о политических формах имеет второстепенное значение, тем не менее адекватным выражением национального стремления является сила.

Юнгериянская публицистика быстро теряет свой смысл после 1933 года. Возникает острый вопрос: в каком отношении Эрнст Юнгер находился к реальному фашистскому движению и его вождям? Несмотря на казалось бы наличие бесспорных фактов, позволяющих вполне определенно ответить на него, определенности нет. Отношения эти, конечно, не того свойства, что в случае с Хайдеггером, связь которого с национал-социализмом в начальной фазе его господства хотя и не была чисто случайным эпизодом, однако вылилась в чисто формальные отношения. Юнгер был крупнейшим идеологом сил, из недр которых вырос фашизм. Имеются свидетельства его высокой оценки роли и личности Гитлера, его заслуг в отношении Германии. Юнгер видит его в ряду великих революционеров. На поднесенном Гит-

леру экземпляре книги «Огонь и кровь» («Feuer und Blut», 1926) написано: «Национальному вождю — Адольфу Гитлеру! — Эрнст Юнгер».<sup>16</sup> Можно собрать еще несколько подобных свидетельств. И в последующие годы вплоть до самой смерти Юнгер не разражался ни раскаянием, ни запоздалыми проклятиями в адрес фашизма. Что это? Свидетельство гордости и нежелание унизиться ни к чему не обязывающим самобичеванием? Но известно и другое. Юнгер всячески уклонялся от почестей, которыми пытался льстить ему фашистский режим, утвердившись у власти. В этом случае он поступил подобно Стефану Георге. В проекте объединения неонационалистических сил, предложенном Юнгером, руководящая роль отводилась все же не фюреру, а узкому кругу лиц, объединенных единством идеи и исключительностью заслуг.<sup>17</sup>

Когда с приходом к власти национал-социалистов начались гонения на их сподвижников по прежней борьбе и пострадал один из соратников Юнгера — Никиш, веривший в возможность союза «новых националистов» и русских большевиков в противостоянии буржуазному Западу и Америке, Юнгер демонстративно принял на себя заботу о его семье, поселившись рядом с нею в глухой провинции. Короче,

---

<sup>16</sup> *Mühleisen H.* Bibliographie der Werke Ernst Jüngers, s.94, позиция 0252.

<sup>17</sup> Смерть Юнгера и открывшаяся возможность обратиться к его личным архивам вновь возбудили интерес к проблеме отношения Юнгера к Гитлеру и его окружению. Выражением этого стали публикации К. Швилька: «Ernst Jünger — Adolf Hitler. Die Briefe // Welt am Sonntag 17 Jan. 1999. S.31. Им же готовится основательная книга на эту тему.

Юнгер превращался в персону, вызывавшую подозрения у руководителей нового режима. Раздражение вызвал отказ Юнгера занять место депутата рейхстага, предложенное ему от имени Гитлера, и отказ войти в состав фашистской академии искусств. Хотя формально, по сути, никогда не было полного запрета на издание юнгеровских книг в Германии, они выходили все реже и реже. Теперь его положение называют «внутренней эмиграцией». Едва ли это соответствует истине. Но не исключено, что неприкосновенности Юнгер во многом обязан своей легендарной славе времен первой мировой войны.

Публицистика Юнгера, как видно было из вышеизложенных примеров, все более приобретала социально-философский характер. Она была важной школой отточки его идей и их адекватной понятийной выразимости. На этом пути обращает на себя внимание сборник «Война и воин» («Krieg und Krieger»), вышедший в 1930 году и содержащий статью Юнгера «Тотальная мобилизация». Она создана на основе размышлений о сущности современного общества и характере тех сил, которые определяют его структуру, трансформационные процессы и место человека относительно их. Уже давно в поле его зрения попал феномен техники, радикально изменивший характер социальных процессов и сущность человеческой деятельности. Юнгер тяготеет к пониманию ее как космической силы, вошедшей в универсум социокультурного пространства. Новой технике должен соответствовать совершенно иной тип государственного устройства, социального устройства, социальных отношений, новые духовные ценности.



Понятие «тотальная мобилизация» имеет сложный смысловой генезис. Оно выступает из глубин методологического сознания, где вызревают новые термины и понятия, настоятельно вызываемые новой общественной практикой. Начало XX века — это время колоссального трагического испытания буржуазного либерализма и правопорядка перед лицом новых условий и вызовов современности. Ответом на них оказались мировая война и революции, в тигле которых выплавлялся металл тоталитарных политических порядков. Тоталитаризм вошел в жизнь европейского человека уже не как абстрактная идея, а как практический принцип организации общества, призванный мобилизовать весь его потенциал, все возможности ради достижения призрачной мечты господства, порядка и универсальной справедливости. Основания универсальности были разные, что определяло и ее размах: национальные, расовые, классовые, иногда взращенные на крепком настое искусственных мифов и эзотерики. Господство, насилие, диктатура, воля к власти, натиск — все эти силовые выражения наполняли речи отъявленных демагогов и пылких революционеров. Разница, по сравнению с прежними ницшеанско-сорелевскими утопиями, состояла лишь в том, подчеркнем еще раз, что дух насилия воплотился в реальную практику, без которой государства тоталитарного профиля существовать не могли. Насилие реализовалось в отточенной технологии разнообразнейших средств, проникло во все сферы общественной жизни и сознания, стало символом времени, — а насилие в организованной и тотальной форме представлялось шансом, вырванным у истории для утверждения прекрасной мечты человечества.

Юнгер всем опытом своей жизни и строем мышления был обречен войти в самую гущу проблемы и выразить ее с впечатляющей силой, которая выразилась и в этой работе, и в целом ряде статей, вышедших до и после монументального «Рабочего». Социально-политический опыт русского большевизма нашел в нем внимательного наблюдателя и своеобразного толкователя. Известно, что он состоял членом «Общества по изучению советской плановой экономики», вращался в кругах политиков, издателей и литераторов, где рассматривались проблемы социально-политического экспериментирования в различных странах, порывавших со старым укладом: Венгрия, Австрия, Польша, сама Германия, но главным образом Россия. Ему не чуждо понятие социализма, как и другим правым националистическим радикалам. Но с ним связаны специфические представления, в частности, новый тип выражения волевого начала народа в организации, сплочения власти и подчинения. Он внимательно изучает работы Л. Троцкого, Ленина, ряда других деятелей Коминтерна. Особенно сильное впечатление на Юнгера произвела «Моя жизнь» Троцкого, которое он выразил в небольшом энергичном эссе в журнале Э. Никиша «Спротивление» (1930). В Германии идеи плановой централизованной организации хозяйства развивал Э. Людендорф, с которым у Юнгера было идейное согласие. Но Юнгер придал этому понятию совершенно иной смысл. «Тотальная мобилизация» — это не сосредоточение людей в готовности к единому целесообразному массовому действию, а нечто иное и большее. Мобилизация концентрирует энергию и волю в несокрушимой организации. Мертвую, инертную материю необходимо превратить в

источник энергии в форме, соответствующей родам деятельности. Техника является тем инструментом, посредством которого материя выявляет свою энергичную способность, поэтому она не должна знать границ в своем развитии и увеличении. Через нее мобилизуется энергия мира. И все же она — средство, которое эффективно, если стоит в услужении героической силе слившегося с ней человека. Индивидуальная свобода в традиционном буржуазном смысле нелепа, не нужна и даже вредна. Свобода допустима в мере необходимой для обеспечения общих целей целого, но онтологически она не указана. Ее место занимают организация, послушание, иерархия. Диктатура, собственно, является естественной формой общества, где главной фигурой предстает рабочий. Здесь, в статье «Тотальная мобилизация», рабочий трактуется не в социально-экономическом смысле, а как тот, кто реализует всю функциональную процессуальность как жизненную стратегию общества, его метафизическое основание.

В 1932 году появляется главный социально-философский труд Юнгера «Рабочий», подготовленный всем ходом эволюции, его воззрений на историю, общество, человека и технику.

Пожалуй, это единственная работа, которую автор уже не переделывал, и хотя ее успех был значителен, она выдержала всего четыре издания до войны, не очень большим тиражом. В последующем появлялись лишь дополнения к ней (в издании 1932 года — «Из переписки по поводу „Рабочего“»). Поскольку читателям предстоит ее прочесть, не хочется развивать интерпретационные посылки. Следует добавить, возможно, только то, что она оказала

наибольшее влияние на Хайдеггера, который признавался, что внимательно ее изучил. В остальном воздействие этой книги на духовную культуру и философскую мысль, скорее, скрытое, чем явное. Но оно такой мощи, что дало основание отнести ее к небольшому числу книг, изменивших наш мир и наше представление о нем.<sup>18</sup>

После издания этого сочинения Юнгер ведет постепенно ставший для него обычным образ жизни: путешествия, издания дневников путешествий, энтомологические занятия и писательский труд в швабском местечке Вильфлинген, где он стал проживать с 1950 года до самой своей смерти.

Цезурой в этой жизни стала вторая мировая война. Э. Юнгер был вновь призван, но не к активной строевой службе, а прикомандирован к штабу оккупационных войск во Франции. Зимой 1942—1943 года он совершил поездку на Восточный фронт, в район Майкопа, что отразилось в соответствующих дневниковых материалах. Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года сказало и на судьбе Юнгера. Его подозревали в связях с заговорщиками, но не привлекли к ответственности, а просто уволили из армии «за непригодностью к службе». Однако его связи с нацизмом в прошлом не были секретом для союзников. Английские оккупационные власти наложили запрет на публикацию его книг, впрочем, во многом фиктивный. Его книги издавались в соседней Швейцарии, а с 1950 года свободно по всей Западной Германии. Его влияние вновь упрочилось, но главным образом как

---

<sup>18</sup> Bücher, die das Jahrhundert bewegten: Zeitanalysen — wiedergelesen. Fr/M., 1978.

выдающегося стилиста и мастера жанра путевых заметок и эссе.

Почести и награды, внимание государственных мужей Европы стали одной из повседневностей жизни Э. Юнгера. Но прежнего влияния на умственную жизнь нашего времени он оказать уже не мог.

Характеристику последних литературных трудов Юнгера читатель может найти в упомянутых уже очерках по истории немецкой литературы.

*Статья написана при поддержке исследовательского гранта РГНФ № 00-03-00180а «Маргинальные фигуры в современной философии».*

**РАБОЧИЙ  
ГОСПОДСТВО И ГЕШТАЛЬТ**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Сочинение о рабочем вышло осенью 1932 года, в то время когда несостоятельность старого и появление новых сил не подлежали уже никакому сомнению. Оно представляло и представляет собой попытку занять ту точку, откуда можно было бы не только понимать, но, пусть с долей риска, также и приветствовать события во всем их многообразии и противоречивости.

Появление этой книги незадолго до одного из великих поворотов не случайно; и не было недостатка в голосах, которые приписывали ей влияние на него. Разумеется, признавалось это не всегда, и я сам, к сожалению, тоже не могу согласиться с этим — во-первых, потому что я не переоцениваю влияния книг на людские действия, а во-вторых, потому что моя книга вышла в свет совсем незадолго до происшедших событий.

Если бы видные действующие лица сообразовывались с развитыми здесь принципами, то они не совершили бы много ненужного, даже бессмысленного и сделали бы то, что было необходимым, быть может, не прибегая даже к силе оружия. Взамен этого они запустили жернова, что привело к тому, чего меньше всего ожидали — к дальнейшему распаду националь-

ного государства и связанных с ним порядков. В этой перспективе проясняется все сказанное о «бюргере».

Нельзя было упускать из виду то, что творилось в других частях планеты и стоило жизни миллионам, равно как и то обстоятельство, что традиционных средств оказалось недостаточно. В противоположность этому вопрос о том, можно ли было вообще справиться с двойной задачей — безжалостно освободиться от лишнего груза, сохранив при этом субстанциональное ядро, и ускорить марш, обгоняя движение прогресса, — и не было ли что-либо безвозвратно упущено в подготовительных мерах сначала в 1848, а потом в 1918 году, остается чисто академическим вопросом. Он касается отличия немецкой демократии от мировой и не относится к проблеме.

То, что здесь были угаданы и оценены не только национальные, экономические, политические, географические и этнологические величины, но и передовые посты новой планетарной власти, получило с тех пор более подробное подтверждение. Некоторые читатели видели это уже тогда, хотя эпизодические и привходящие обстоятельства, ближайший политический и полемический план проблемы во все времена сильнее приковывают внимание, нежели ее субстанциональное ядро. Однако воздействие последнего не прекращается, пусть оно и меняет непрерывно свои очертания.

В то время как силы истории — причем даже там, где ими создавались империи, — иссякают, мы видим, как в масштабах мира вырастает и перерастает их нечто большее, из чего мы вначале улавливаем лишь его динамическую силу. Это свидетельствует о том, что прибыль извлекается совсем не там, где



предполагалось сделкой. Частичная слепота составляет все же часть плана. Все действеннее проступая из хаоса, неколебимым остается только гештальт рабочего.

С давних пор, собственно, уже с появления в печати первого издания, меня занимают планы пересмотра книги о рабочем. Они уже в большей или меньшей степени реализованы и варьируются от «пересмотренного» и «тщательно пересмотренного» издания до второй или даже новой редакции.

Если, несмотря на это, нетронутый текст третьего издания (1942) был включен в полное собрание сочинений, то прежде всего из соображений документализма. Многие из того, что казалось тогда поражающим или провокационным, сегодня стало достоянием повседневного опыта. Одновременно ушло и то, что вызывало возражения. Именно поэтому исходную ситуацию и все, что есть в ней эпизодического, можно с большей легкостью, чем прежде, связать с неизменным ядром этой книги: концепцией гештальта.

И все-таки с течением лет эти наброски переросли в более или менее развернутые наблюдения. Некоторые из них содержатся в тех томах собрания, что отведены эссеистике, другие объединены здесь, в приложении к книге.

Вильфлинген,  
16 ноября 1963 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Замысел этой книги состоит в том, чтобы по ту сторону теорий, по ту сторону партий, по ту сторону предрассудков показать гештальт рабочего как действенную величину, которая уже со всей мощью вмешалась в историю и повелительно определяет формы изменившегося мира. Так как здесь дело идет не столько о новых мыслях или новой системе, сколько о новой действительности, все зависит от точности описания, которая требует взгляда, наделенного полной и беспристрастной зрительной силой.

В то время как здесь едва ли не каждая фраза несет на себе печать этого основного намерения, представленный материал таков, каким он и является в неизбежно ограниченном поле зрения и в особенном опыте единичного человека. Если удалось показать хотя бы один плавник Левиафана, то читатель тем легче продвинется к собственным открытиям, что гештальту рабочего причастна не стихия скудости, но стихия изобилия.

Здесь предпринята попытка поспособствовать этому важному сотрудничеству методикой самого изложения, старающейся поступать по правилам солдатских экзерциций, где разнообразный материал служит поводом для отработки одного и того же приема. Для приема важен не тот или иной повод, важна его инстинктивная безотказность.

Берлин,  
14 июля 1932 г.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ЭПОХА ТРЕТЬЕГО СОСЛОВИЯ КАК ЭПОХА МНИМОГО ГОСПОДСТВА

### 1

Господство третьего сословия так и не смогло затронуть в Германии то внутреннее ядро, которое определяет богатство, власть и полноту жизни. Оглядываясь на более чем столетний период немецкой истории, мы вправе с гордостью признать, что были плохими бюргерами. Не по *нашей* фигуре было скроено платье, которое сносилось теперь до самой последней нитки и под лохмотьями которого просвечивает уже более дикая и невинная природа, чем та, чьи сентиментальные отзвуки уже и ранее заставляли колыхаться занавес, за которым время скрывало великий спектакль демократии.

Нет, немец не был добрым бюргером, и менее всего там, где он был наиболее силен. Повсюду, где мысль была наиболее глубокой и смелой, чувство — наиболее живым, битва — наиболее беспощадной, нельзя не заметить бунта против ценностей, которые вздымал на своем щите разум, громко заявлявший о своей независимости. Но никогда носители той непосредственной ответственности, которую называют гением, не были более одиноки, никогда их труд не стоял под большей угрозой, чем здесь, и никогда не

была более скудной пища для свободного развития героя. Корням надлежало глубоко пробиться сквозь сухую почву, чтобы достигнуть истоков, в которых заложено волшебное единство крови и духа, делающее слово неотразимым. Столь же трудно было и воле завоевать иное единство власти и права, где в ранг закона возведено собственное, а не чужое.

И потому это время изобиловало великими сердцами, последний протест которых состоял в том, что они прекращали биться, изобиловало высокими умами, которым казалась желанной тишина мира теней. Оно было богато государственными мужами, лишенными доступа к источникам современности и вынужденными черпать из прошлого, чтобы действовать ради будущего; богато битвами, где кровь поверялась иными победами и поражениями, нежели дух.

Получилось так, что все позиции, которые смог за это время занять немец, оказались не удовлетворительны, однако в своих наиболее важных пунктах они напоминают те боевые стяги, назначение которых состоит в том, чтобы упорядочить выдвигание пока еще отдаленных армий. Эту раздвоенность можно в деталях показать повсюду; причина ее в том, что немец не знал, какое применение найти той свободе, которую всеми способами — как мечом, так и уговорами — пытались ему навязать и которая была учреждена провозглашением всеобщих прав человека: эта свобода была для него орудием, не имевшим связи с наиболее глубинными его органами.

Поэтому там, где в Германии начинали говорить на этом языке, не составляло труда угадать, что дело не шло дальше плохих переводов, а недоверие со стороны мира, обступившего колыбель бюргерской

нравственности, было тем более оправданным, чем настойчивее заставлял себя услышать исконный язык, чье опасное и инородное звучание не подлежало никакому сомнению. Закрадывалось подозрение, что столь дорогие и столь чтимые ценности здесь не принимались всерьез, за их маской угадывалась непредсказуемая и неукротимая сила, почуявшая свое последнее прибежище в исконных, ей одной свойственных отношениях, — и эта догадка оказалась верной.

Ибо в этой стране неосуществимо такое понятие свободы, которое как некую фиксированную и саму по себе бессодержательную меру можно было бы прикладывать к любой подводимой под него величине. Напротив, испокон веков здесь считалось, что мера свободы, которой располагает сила, в точности соответствует отводимой ей мере связанности, и что объемом высвобожденной воли определяется объем ответственности, наделяющей эту волю полномочием и значимостью. Это выражается в том, что в нашу действительность, то есть в нашу историю в ее наивысшем, судьбоносном значении, не может войти ни что из того, что не несет на себе печать этой ответственности. Об этой печати нет нужды говорить, ведь поскольку она налагается непосредственно, на ней вырезаны и те знаки, которые непосредственно умеет прочесть тот, кто всегда готов к послушанию.

Дело обстоит так: наиболее мощно наша свобода всюду открывается там, где есть сознание того, что она является ленным владением. Это сознание кристаллизовано во всех тех незабвенных изречениях, которыми исконное дворянство нации покрывает гербовый щит народа; оно правит мыслью и чувством,

деянием и трудом, искусством управления государством и религией. Поэтому мир всякий раз оказывается потрясен в своих устоях, когда немец узнаёт, что такое свобода, то есть, когда он узнает, в чем состоит необходимое. Торговаться здесь не приходится, и пусть даже погибнет мир, но повеление должно быть исполнено, если услышан призыв.

То качество, которое прежде всех остальных считают присущим немцу, а именно порядок, — всегда будут ценить слишком низко, если не смогут усмотреть в нем отражение свободы в зеркале стали. Послушание — это искусство слушать, а порядок — это готовность к слову, готовность к приказу, пронзающему подобно молнии от вершины до самых корней. Все и вся подчинено ленному порядку, и вождь узнается по тому, что он есть первый слуга, первый солдат, первый рабочий. Поэтому как свобода, так и порядок соотносятся не с обществом, а с государством, и образцом всякой организации является организация войска, а не общественный договор. Поэтому состояния предельной силы мы достигаем только тогда, когда перестаем сомневаться в отношении руководства и повиновения.

Нужно понимать, что господство и служение — это одно и то же. Эпоха третьего сословия никогда не понимала удивительной власти этого единства, ибо достойными стремления казались ей слишком дешевые и слишком человеческие удовольствия. Поэтому все высоты, которых немец за это время оказался способен достичь, были достигнуты им *вопреки* обстоятельствам: во всех областях ему приходилось двигаться в чуждой и неестественной стихии. Казалось, действительной почвы можно было достичь только

под защитой водолазного шлема; решающая работа осуществлялась в смертоносном пространстве. Честь и слава тем павшим, что были сломлены ужасающим одиночеством любви и познания или повержены сталью на пылающих холмах битвы!

Однако назад пути нет. Кто сегодня в Германии жаждет нового господства, тот обращает свой взор туда, где за работу взялось новое сознание свободы и ответственности.

# РАБОЧИЙ В ЗЕРКАЛЕ БЮРГЕРСКОГО МИРА

## 2

Рассмотрим же это сознание прежде всего там, где оно наиболее деятельно, но рассмотрим его с любовью, с намерением правильно истолковать существующее! Обратимся, таким образом, к рабочему,<sup>1</sup> который уже и раньше выступал в непримиримой противоположности ко всем бюргерским оценкам и в ощущении этой противоположности черпал силы для своих движений.

Мы стоим достаточно далеко от истоков этого движения, чтобы иметь возможность воздать им должное. Ученическую скамью, где формируется характер, не выбирают, поскольку в школу нас определяют отцы; однако приходит день, когда человек чувствует, что перерос ее, когда он познает свое собственное призвание. Это следует помнить, когда измеряется ударная сила тех средств, что находятся в распоряжении у рабочего и, пожалуй, нужно также иметь в виду, что они формировались в борьбе и что в борьбе каждую позицию приходится занимать с учетом действий противника. Так, было бы чересчур банально упрекать рабочего в том, что его состав, подобно еще не очищенному от примесей металлу, проникнут бюргерскими оценками, и что его язык, несомненно принадлежащий XX веку, изобилует понятиями, которые формировались при постановке вопросов, свойственных веку XIX. Ибо он был вы-

---

<sup>1</sup> Слово «рабочий», равно как и другие слова, употребляется здесь как органическое понятие; это означает, что по ходу рассмотрения оно претерпевает изменения, которые можно затем обозреть ретроспективно.



нужден использовать эти понятия, чтобы иметь возможность объясняться в то время, когда только начинал говорить, а ограничение его притязаний налагалось притязаниями противника. Он медленно подрастал и все сильнее упирался плечами в бюргерский потолок, пока в конце концов не проломил его, и неудивительно, что на нем остались отметины этого роста.

Однако эти следы остались на нем не только от сопротивления, но и от питания. Мы видели, что третье сословие в Германии по весьма веским причинам не смогло добиться открытого и признанного господства. Поэтому на долю рабочего выпала замысловатая задача наверстать это упущение, и очень важно, что вначале ему пришлось привести к господству то чуждое, что было примешано к его собственным устремлениям, чтобы таким образом понять, что это чуждое не было для него своим. Как уже было сказано, это и есть следы питания, и по отделении несваримой пищи они будут устранены. Да и как могло быть иначе, если первые учителя рабочего были бюргерами по происхождению, а устройство систем, в которые вкладывалась молодая сила, отвечало бюргерским образцам!

Отсюда становится ясно, что тем источником, из которого проистекали и получали свое направление первые импульсы, явилось воспоминание о кровавом сочетании бюргерства с властью, воспоминание о французской революции. Однако в историческом процессе повторения случаются столь же редко, сколь и трансляция его живого содержания. Поэтому получается, что всюду, где в Германии намеревались вести революционную работу, на деле разыгрывался

революционный спектакль, а подлинные перевороты происходили неприметно, скрываясь либо в тиши кабинетов, либо под пылающими завесами битв.

Но то, что является действительно новым, не нуждается в том, чтобы его непременно сопровождало какое-нибудь восстание; более всего оно опасно в силу одного лишь факта своего присутствия.

### 3

При недостаточной остроте взгляда отсюда вытекает, во-первых, отождествление рабочих с четвертым сословием.

Только привыкшему к механическим образам уму процесс последовательной смены господства может представляться так, как если бы, подобно тому как стрелка часов отбрасывает на циферблат свою тень, сословия одно за другим проскальзывали в пределы власти, в то время как внизу уже пробуждалось сознание нового класса.

В этом особенном смысле сословием ощущало себя, скорее, одно только бюргерство; оно вырвало это слово, имеющее очень древнее и доброе происхождение, из его природных связей, лишило его смысла и сделало всего лишь маской, прикрывающей чей-либо интерес.

Поэтому, если рабочие истолковываются как сословие, это происходит именно под бюргерским углом зрения, и в основе этого толкования лежит бессознательная хитрость, стремящаяся водворить новые притязания в старые рамки, обеспечивая тем самым возможность для продолжения разговора. Ибо

где у бюргера есть возможность для разговоров и переговоров, там он в безопасности. Но восстание рабочих не станет вторым, менее крепким настоем, приготовленным по устаревшим рецептам. Не во временной последовательности их господства, не в противоположности между старым и новым заключено существенное различие между бюргером и рабочим. То обстоятельство, что потускневшие интересы сменяются более молодыми и более грубыми, слишком самоочевидно, чтобы задерживаться на его рассмотрении.

Наибольшее внимание привлекает, скорее, тот факт, что между бюргером и рабочим существует не только возрастное различие, но и, прежде всего, различие в ранге. Ведь рабочий находится в отношении к стихийным силам, даже простого наличия которых бюргер никогда не ощущал. И с этим, как будет видно из дальнейшего, связано то обстоятельство, что по сути своего бытия рабочий способен на совершенно иную свободу, нежели свобода бюргерская, и что притязания, которые он готов заявить, намного более обширны, более значительны, более ужасающи, чем притязания какого бы то ни было сословия.

## 4

Во-вторых, всякое фронтальное противостояние может рассматриваться только как предварительное, только как рубеж первых столкновений на передовых постах, где рабочий занимает такую боевую позицию, которая ограничивается атакой на общество. Ибо и это слово в бюргерскую эпоху упало в цене;

оно приобрело особое значение, смысл которого состоит в отрицании государства как высшего средства власти.

Что составляет самую суть этого стремления, — так это потребность в надежности и вместе с тем попытка отринуть всякую опасность и оградить жизненное пространство таким образом, чтобы воспрепятствовать столкновению с ней. Правда, опасности всегда налицо и празднуют триумф даже над самой изощренной хитростью, в сети которой их желают заманить; нарушая все расчеты, они проникают даже в самую эту хитрость и маскируются ею, и это придает двойственность лику культуры: тесные связи, возникающие между братством и плахой, между правами человека и кровавыми побоищами, слишком хорошо известны.

Но было бы неверно предполагать, будто бюргер когда-либо, пусть даже в лучшие свои времена, породил какую бы то ни было опасность своими собственными силами; все это больше походит на ужасную насмешку природы над попыткой подчинить ее морали, на бешеное ликование крови над духом, когда пролог с прекрасными речами уже завершен. Оттого и отрицается всякое соотношение между обществом и стихийными силами, причем с такой тратой средств, которая остается непонятной любому, кто не угадывает в источнике этих мыслей их сокровеннейшего идеала.

Это отрицание осуществляется таким образом, что все стихийные силы изгоняются в царство заблуждений, снов или намеренно злой воли и даже вовсе приравниваются по своему значению к бессмыслице. Решающим является здесь упрек в глупости и амо-

ральности, а поскольку общество определяется двумя высшими понятиями разума и морали, этот упрек становится средством, благодаря которому противник изгоняется из общественного, а значит, и из общечеловеческого пространства и, тем самым, из пространства закона.

Этому различению соответствует процесс, который вызывал непрестанное удивление: в самые кровавые, кульминационные моменты гражданской войны общество словно по чьему-то сигналу объявляло об отмене смертной казни, и именно тогда, когда поля его битв покрывались трупами, к нему приходили наилучшие мысли о безнравственности и бессмысленности войны.

Однако мы переоценили бы бюргера, если бы за этой в высшей степени странной диалектикой стали предполагать некое намерение, ибо нигде он не ведет себя серьезнее, чем в зоне разума и морали, а в наиболее значительных своих проявлениях предстает даже как само единство разумного и морального.

Стихийное напирает на него, скорее, из совершенно другой сферы, не из той, в которой он действительно силен, и он в ужасе встречает тот момент, когда переговоры заканчиваются. Он вечно наслаждался бы своими прекрасными увещеваниями, столпами которых выступают добродетель и справедливость, если бы чернь в нужный момент не преподнесла ему в нежданный подарок свою более мощную, хотя и бесформенную силу, питаемую первозданными силами пучины. Он мог бы вечно сохранять равновесие начал как произведение искусства, существующее ради самого себя, если бы из-за его спины время от времени не появлялся воин, которому он против своей воли и

сохраняя постоянную готовность к переговорам предоставляет свободу действий. Но он отказывается отвечать за последствия, поскольку видит свою свободу не в своеобразии собственного характера, а во всеобщей морали. Этому нет лучшего примера, чем то обстоятельство, что подлинного деятеля и зачинателя, который только и распахнул для него врата господства, он уничтожает сразу же после того, как тот исполнил свою задачу. Подавление страстей — это его расписка в принятии жертв революции, а повешение палачей — сатира, завершающая трагедию восстания.

Подобным же образом он отклоняет и высшее обоснование войны — нападение, поскольку вполне сознает, что оно ему не по силам; и когда он, пусть даже из очевиднейшего своекорыстия, призывает на помощь солдата или наряжается солдатом сам, он никогда не отказывается присягнуть в том, что делается это ради защиты, а по возможности даже ради защиты всего человечества. Бюргеру известна лишь оборонительная война, а значит, война ему неизвестна вообще, хотя бы потому, что по он по сути своей непричастен к военным стихиям. Тем не менее, с другой стороны, он не способен воспрепятствовать проникновению этих стихий в свои порядки, поскольку все ценности, которые он может им противопоставить, относятся к более низкому рангу.

Здесь начинается виртуозная игра его понятий, а его политика, да и сам универсум, становятся для него зеркалом, в котором он желает видеть все новые и новые подтверждения своим добродетелям. Было бы поучительно понаблюдать за неустанной работой его напильника, стачивающего твердую и неприкосновенную чеканку слова до тех пор, пока не проявится

общеобязательная мораль, — когда в захвате колонии он усматривает ее мирное заселение, в отложении провинции — право народа на самоопределение, а в ограблении побежденного — возмещение издержек. Однако достаточно знать его метод, чтобы догадаться, что становление этого словаря шло рука об руку с уравнением государства и общества.

Всякий, кто понял это, различит также и большую опасность, состоящую в сильном ущемлении притязаний рабочего и кроющуюся в том факте, что в качестве высшей цели для наступления ему было предложено общество. Решительные приказы о наступлении еще обнаруживают все признаки эпохи, в которую, впрочем, само собой разумелось, что пробуждающаяся власть должна осознавать себя как сословие, равно как и то, что захват власти должен характеризоваться как изменение общественного договора.

Теперь необходимо обратить внимание на то, что это общество не есть некая форма сама по себе, а лишь одна из основных форм бюргерского представления. Это явствует из того факта, что в бюргерской политике нет таких величин, которые понимались бы вне общества.

Общество — это совокупное население земного шара, являющееся пониманию как идеальный образ человечества, расщепление которого на государства, нации или расы зиждется, в сущности, не на чем ином, как на мыслительной ошибке. Однако с течением времени эта ошибка корректируется заключением договоров, просвещением, смягчением нравов или просто прогрессом в средствах сообщения.

Общество — это государство, сущность которого стирается в той степени, в какой общество подгоняет

его под свои мерки. Этот натиск обусловлен бюргерским понятием свободы, нацеленным на превращение всех связующих отношений ответственности в договорные отношения, которые можно расторгнуть.

В самом тесном отношении с обществом находится, в конечном счете, единичный человек, эта чарующая и абстрактная фигура, драгоценнейшее открытие бюргерской чувствительности и в то же время неисчерпаемый предмет ее художественного воображения. Если человечество составляет космос этого представления, то человек — его атом. Практически, правда, единичный человек видит свою противоположность не в человечестве, а в массе — своем точном зеркальном отражении в этом крайне странном, воображаемом мире. Ибо масса и единичный человек суть одно, и это единство порождает ошеломляющую двойственность образа, служившего зрелищем на протяжении века: образа самой пестрой, самой запутанной анархии — в сочетании с трезво регламентированным демократическим распорядком.

Однако признаком новых времен является и то, что с их наступлением бюргерское общество оказывается приговорено к смерти, независимо от того, представлено ли его понятие свободы в массе или в индивиде. Первый шаг состоит в том, чтобы перестать мыслить и чувствовать в рамках этих форм, а второй — чтобы перестать действовать в них.

Это означает не что иное, как наступление на все то, что делает жизнь ценной для бюргера. И потому вопрос жизни и смерти для него заключается в том, чтобы рабочий осознал себя как будущую опору общества. Ибо если только этим пополнится перечень догм, основная форма бюргерского созерцания будет



спасена, а вместе с тем будет обеспечена и прекраснейшая возможность для его господства.

Так что не может быть ничего удивительного в том, что во всех предписаниях, которые бюргерский дух адресовал рабочему с высоты своих кафедр и мансард, присутствует общество, причем не в своих проявлениях, а, что более действенно, в своих принципах. Общество обновляется в ходе мнимых нападков на самое себя; его неопределенный характер или, скорее, его бесхарактерность позволяет ему вбирать в себя даже самое острое свое самоотрицание. Средства для этого двояки: оно либо относит отрицание к своему индивидуально-анархическому полюсу и включает его в свой состав, подчиняя своему понятию свободы; либо вбирает его в себя на будто бы противоположном полюсе, где располагается масса, и посредством расчетов и согласований, посредством переговоров или разговоров превращает его в демократический акт.

Свойственный ему женский образ мыслей сказывается в том, что всякую противоположность оно стремится не отторгнуть, а вобрать в себя. Где бы ни встретилось ему то или иное притязание, заявляющее о своей решимости, оно идет на утонченный подкуп, объявляя его очередным выражением своего понятия свободы и таким образом придавая ему легитимность перед судом своего основного закона, то есть обезвреживая его.

Это придало слову «*радикальный*» его невыносимый бюргерский привкус, и, кстати говоря, благодаря тому же сам по себе радикализм становится прибыльным занятием, которое доставляло единственное пропитание одному поколению политиков, одному поко-

лению художников за другим. Последнюю свою лезейку глупость, наглость и безнадежная заурядность находят в том, что расставляют сети на простаков, украшая себя павлиньими перьями радикального и только радикального умонастроения.

Уже долго, слишком долго немец присутствует при этом недостойном спектакле. Единственное его извинение — его вера в то, что в любой форме обязательно заключено некое содержание, и единственное его утешение в том, что этот спектакль разыгрывается хотя и в Германии, однако ни коим образом не в немецкой действительности. Ибо все это отойдет царству забвения — не того забвения, которое подобно плющу покрывает руины и могилы павших, но иного, ужасного, которое разоблачает ложь и небыль, рассеивая их без следа и плода.

Раскрыть, в какой мере бюргерской мысли удалось обманном путем, под маской отрицания общества сообщить его образ первым усилиям рабочего, должно стать задачей особого, вторичного исследования. Свобода рабочего будет раскрыта здесь как новая калька с бюргерских шаблонов свободы, где судьба отныне совершенно открыто истолковывается как договорное отношение, которое можно расторгнуть, высочайший же триумф жизни — как внесение поправок к этому договору. В рабочем здесь будет узнан прямой наследник разумно-добродетельного единичного человека и предмет иной чувствительности, которую отличает от первой лишь ее бóльшая скудость. Затем, в точности как и прежде, в рабочем откроют отпечаток идеального образа человечества, уже одна утопичность которого подразумевает отрицание государства и его основ. Только об этом и ни о чем другом говорит то

притязание, которое таится за такими словами, как «интернациональный», «социальный» и «демократический», или, скорее, таилось, ибо всякий, кто умеет угадывать, лишь удивится тому, что бюргерский мир намеревались поколебать именно теми требованиями, в которых он сам утверждался наиболее однозначно.

Вторичным же это исследование должно быть названо потому, что в видимом мире это утверждение уже совершилось. В самом деле, с помощью рабочего бюргеру удалось обеспечить себе такую степень распорядительной власти, какая не выпадала ему на долю на протяжении всего XIX столетия.

Если оживить в памяти момент, когда общество добилось таким образом господства в Германии, то, в свою очередь, обнаружится множество символических образов. Мы начисто отвлекаемся здесь от того факта, что мгновение это совпало с тем, когда государству грозила величайшая, ужаснейшая опасность и когда немецкий воин стоял перед лицом врага. Ибо бюргер оказался не в состоянии найти в себе даже той малой толики стихийных сил, которой в этих обстоятельствах требовало возобновление нападков на самого себя и, стало быть, на режим, который, в сущности, давно уже стал бюргерским. Не он произвел те немногие выстрелы, которые были потребны, чтобы высветить конец одного из отрезков немецкой истории, и задача его состояла отнюдь не в том, чтобы их признать, но в том, чтобы их использовать.

Достаточно долго подкарауливал он удобный момент для начала переговоров, и этими переговорами было достигнуто то, чего не достигнуть было даже крайним напряжением сил целого мира.

Однако здесь речь должна остановиться и не входить в рассмотрение деталей той чудовищной трагикомедии, начавшейся с рабочих и солдатских Советов, члены которых отличались тем, что никогда не работали и никогда не сражались; трагикомедии, в которой бюргерское понятие свободы обернулось в дальнейшем жаждой покоя и хлеба; которая была продолжена символическим актом поставки оружия и кораблей; которая отважилась не только вести дебаты о немецкой задолженности перед идеальным образом человечества, но и признать ее; которая с непостижимым бесстыдством намеревалась возвести в ранг немецкого порядка покрытые пылью понятия либерализма; в которой триумф общества над государством отныне вполне однозначно предстал как перманентная государственная измена вкупе с предательством родины, измена всем общим, предельно общим чертам в составе немца. Здесь смолкают какие бы то ни было речи, ибо здесь требуется то безмолвие, которое предвещает безмолвие смерти. Здесь немецкое юношество узрело бюргера в его конечном, предельно откровенном облике, и здесь же, в лучших своих воплощениях, в облике солдата и рабочего, оно немедленно заявило о своей причастности к восстанию, в чем нашло выражение то обстоятельство, что в этом пространстве бесконечно более желанно быть преступником, нежели бюргером.

Отсюда ясно, сколь важно различать между рабочим как становящейся властью, на которой зиждется судьба страны, и теми одеяниями, в которые бюргер облачал эту власть, дабы она служила марионеткой в его искусной игре. Это различие подобно различию между восходом и закатом. И наша вера в том, что

восход рабочего равнозначен новому восходу Германии.

Приведя к господству бюргерскую долю своего наследства, рабочий в то же время явным образом отстранил ее от себя как куклу, набитую сухой соломой, которую вымолотили больше века назад. От его взгляда уже не укроется, что новое общество представляет собой вторую и более жалкую копию старого.

Одна копия вечно сменялась бы другой, ход машины вечно питался бы измышлением новых противоположностей, если бы рабочий не постиг, что находится не в отношении противоположности к этому обществу, а в отношении инородности к нему.

Лишь тогда обнаружится в нем заклятый враг общества, когда он откажется мыслить, чувствовать и существовать в его формах. Однако случится это лишь когда он узнает, что до сих пор был слишком скромнен в своих притязаниях и что бюргер учил его вожделью лишь того, что кажется вождельным самому бюргеру.

Но жизнь таит в себе нечто большее и нечто иное, нежели то, что бюргер понимает под благами, и высшее притязание, какое только способен выдвинуть рабочий, состоит не в том, чтобы быть опорой нового общества, а в том, чтобы стать опорой нового государства.

Только в это мгновение он провозглашает борьбу не на жизнь, а на смерть. Тогда единичный человек, который по сути своей есть всего лишь служащий, превращается в воина, масса превращается в войско, а установление нового порядка повелений заменяет собой внесение поправок в общественный договор. Тем самым рабочий выводится из сферы переговоров, сострадания, литературы и возносится в сферу дея-

ния; его правовые обязанности преобразуются в военные — значит, вместо адвокатов у него будут вожди, а его существование станет мерилом и не будет более нуждаться в истолковании.

Ибо чем до сих пор были его программы, как не комментариями к первотексту, который еще не написан?

## 5

Наконец, в-третьих, остается разрушить легенду об экономическом качестве как основном качестве рабочего.

Во всем, что об этом думалось и говорилось, видна попытка счетного искусства превратить судьбу в некую величину, разрешимую средствами вычисления. Истоки этой попытки прослеживаются до тех времен, когда на Таити и на Иль-де-Франс был обнаружен праобраз разумно-добродетельного и тем самым счастливого человека, когда дух обратился к превратностям уплаты пошлины на зерно и когда математика относилась к тем утонченным играм, которыми забавлялась аристократия накануне своего заката.

Здесь был создан образец, получивший впоследствии однозначное экономическое истолкование, когда притязание единичного человека и массы на свободу утвердилось как экономическое притязание в рамках экономического мира. Вызванная этим притязанием полемика между материалистическими и идеалистическими школами составляет один из фрагментов нескончаемого бюргерского разбирательства; это все те же беседы энциклопедистов под стропилами Пари-

жа, закипающие по второму разу. Вновь на сцене старые фигуры, и не переменялось ничего, кроме схемы их противостояния друг другу, которая стала ныне чисто экономической.

Мы ушли бы слишком далеко, пытаясь проследить, как эти беседы подпитываются за счет различной расстановки прежних знаков и как они оживляются за счет их чередования; важно лишь увидеть, как они подчиняют единому порядку и сами спорные мнения, и тех, кто их выражает.

Разумно-добродетельный идеальный образ мира совпадает тут с экономической мировой утопией, и постановка любого вопроса отсылает к экономическим притязаниям. Неизбежность заключена в том, что в рамках этого мира эксплуататоров и эксплуатируемых невозможна никакая величина, которая не определялась бы высшей экономической инстанцией. Здесь существует два типа людей, два типа искусства, два типа морали, но как мало нужно смекалки, чтобы увидеть, что питает их один и тот же исток.

Одним и тем же является и прогресс, на который ссылаются в свое оправдание участники экономической борьбы, — они сходятся в своем фундаментальном притязании на роль носителей процветания и думают поколебать позицию противника как раз в той мере, в какой им удастся опровергнуть это притязание с его стороны.

Но довольно, всякое участие в этих беседах ведет к их продолжению. Что надлежит увидеть, так это наличие диктатуры экономической мысли самой по себе, охватывающей своим кругом всякую возможную диктатуру и ограничивающей ее в принятии мер. Ибо

внутри этого мира нельзя сделать ни одного движения, не возмущая всякий раз мутный ил интересов, и нельзя найти позиции, откуда удался бы прорыв. Ведь центр этого космоса образует экономика сама по себе, экономическое истолкование мира, и именно оно придает весомость каждой из его частей.

Какая бы из этих частей ни завладевала правом распоряжаться, она всегда будет зависеть от экономики как верховной распорядительной власти.

Скрытая здесь загадка по своей природе проста: она состоит в том, что, во-первых, экономика — это не та власть, которая может предоставить свободу, и что, во-вторых, экономическое чутье не в состоянии пробиться к элементам свободы, — и все же для того, чтобы разгадать эту загадку, потребовались глаза людей новой породы.

Чтобы предотвратить возможное непонимание, здесь, вероятно, необходимо заметить, что отрицая экономический мир как жизнеопределяющую власть, то есть как власть судьбы, мы оспариваем придаваемый ему ранг, а не его существование. Ибо дело не в том, чтобы присоединиться к толпе проповедующих в пустыне, которым иные пространства кажутся доступными лишь через черный ход. Для действительной власти нет такого хода, который бы не стоило принимать в расчет.

Идеализм или материализм — это противопоставление характерно для грубых умов, чья способность представления не доросла ни до идеи, ни до материи. Твердыню мира покоряют лишь твердостью, а не мошенничеством.

Нам нужно понять: дело не в экономическом нейтралитете, не в том, чтобы отвратить дух от какой



бы то ни было экономической борьбы, а напротив, в том, чтобы сообщить этой борьбе предельную остроту. Однако это происходит не в силу того, что экономика определяет правила борьбы, а благодаря тому, что высший закон борьбы главенствует и над экономикой.

По этой причине рабочему так важно отклонить любое объяснение, стремящееся истолковать его приход как экономическое явление или даже как порождение экономических процессов, то есть, в сущности, как некий вид промышленного продукта, и так важно усмотреть в этих объяснениях их бюргерское происхождение. Разорвать эти роковые узы ничто не сможет более эффективно, чем провозглашение рабочим своей независимости от экономического мира. Это означает вовсе не отказ от этого мира, а его подчинение более объемлющему притязанию на господство. Это означает, что сутью восстания является не экономическая свобода и не экономическая власть, а власть вообще.

Встраивая свои собственные цели в цели рабочего, бюргер тем самым ограничивал цели наступления своими, бюргерскими целями. Однако сегодня мы чувствуем, что возможен более богатый, более глубокий и плодотворный мир. Для его претворения недостаточно одной только борьбы за свободу, сознание которой вырастает из фактической эксплуатации. Все, скорее, определяется тем, что рабочий осознает свое превосходство и благодаря этому создает собственные мерки для своего будущего господства. Усиливается мощь его средств: попытка вывести противника из игры через расторжение договора оборачивается его покорением и подчинением.

Это уже не те средства, коими располагает служащий, чье высшее счастье состояло в праве диктовать условия служебного договора и который так никогда и не смог подняться над внутренней логикой этого договора, и не средства обманутого и обойденного наследника, которому на каждой достигнутой им ступени видится перспектива нового обмана. Это не средства, доступные униженным и оскорбленным, а скорее средства подлинного господина этого мира, средства воина, владеющего богатствами провинций и больших городов, владеющего ими тем более надежно, чем более умеет он их презирать.

## 6

Бросим взгляд назад. Именно в XIX веке рабочего воспринимали как представителя нового сословия, как опору нового общества и как инструмент хозяйствования.

Такое толкование помещает рабочего на ложную позицию, при которой бюргерскому порядку обеспечена безопасность в его решающих принципах. Поэтому любая атака с этой позиции может быть только ложной атакой, ведущей к более четкой формулировке бюргерских ценностей. Всякое движение на теоретическом уровне происходит в рамках устаревшей общественной и человеческой утопии, а на практическом уровне снова и снова приводит к господству фигуру ловкого дельца, чье искусство состоит в ведении переговоров и посредничестве. В этом легко убедиться, рассмотрев результаты рабочих движений. Что же касается заметных уже перемен в политичес-

кой власти, то в глубине своей они произвольны, они ускользают от бюргерского искусства толкования и противоречат всем предсказаниям, сделанным в духе гуманистической общественной утопии.

Представления, чарами которых хотели околдовать рабочего, все-таки недостаточны для решения великих задач новой эпохи. Как бы точно ни проводились вычисления, долженствующие привести к подлинному счастью, всегда тем не менее остается нечто, что ускользает от арифметических операций и выражается в человеческом существе как отречение или растущее отчаяние.

Отваживаясь на новый удар, нужно метить только в новые цели. Тем самым предполагается иной фронт, предполагаются иного рода союзники. Предполагается, что рабочий постигает себя в другой форме, и что в его движениях запечатлено уже не отражение бюргерского сознания, а собственное его самосознание.

Таким образом, возникает вопрос: не кроется ли в гештальте рабочего нечто большее, чем то, что удавалось до сих пор угадать?

## ГЕШТАЛЬТ КАК ЦЕЛОЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ СУММУ СВОИХ ЧАСТЕЙ

### 7

Прежде чем ответить на только что поставленный вопрос, следует сказать, что понимается под гештальтом. Это пояснение никоим образом не относится к замечаниям на полях, каким бы малым ни было отводимое ему здесь место.

Если в дальнейшем о гештальтах говорится сначала как о каком-то множестве, то происходит это из-за их пока еще недостаточной упорядоченности, и этот недостаток будет устранен в ходе исследования. Иерархия в царстве гештальта определяется не законом причины и следствия, а законом иного рода — законом печати и оттиска; и мы увидим, что в эпоху, в которую мы вступаем, очертания пространства, времени и человека сводятся к одному-единственному гештальту, а именно к гештальту рабочего.

Предварительно, вне зависимости от этого порядка, мы будем называть гештальтом величины, как они представляются глазу, способному постичь, что мир складывается по более решающему закону, чем закон причины и следствия, хотя и не видящему того единства, под знаком которого это складывание происходит.

### 8

В гештальте заключено целое, которое включает больше, чем сумму своих частей, и которое было недостижимо в анатомическую эпоху. Наступающее время знаменуется тем, что в нем вновь будут видеть,

чувствовать и действовать под властью гештальтов. Достоинство какого-либо ума, ценность какого-либо взгляда определяется степенью, в какой он усматривает влияние гештальтов. Первые значительные усилия уже видны; их можно заметить и в искусстве, и в науке, и в вере. В политике тоже все зависит от того, будут ли в борьбу введены гештальты, а, скажем, не понятия, идеи или одни лишь явления.

С того мгновения, как переживание облекается в форму гештальтов, гештальтом становится все. Поэтому гештальт — это не новая величина, которую следовало бы открыть в дополнение к уже известным, но с того момента, когда глаза раскрываются по-новому, мир является как арена действия гештальтов и их связей. Укажем на одно заблуждение, знаменательное для переходного времени: дело тут представляется не таким образом, что единичный человек исчезает и теперь должен заимствовать свой смысл только из неких корпораций, общностей или идей как единств высшего порядка. Гештальт представлен и в единичном человеке, каждый его ноготь, каждый атом в нем — это гештальт. И разве наука нашего времени не начала уже видеть в атомах гештальты, а не мельчайшие частицы?

Конечно, часть так же не может быть гештальтом, как не может составлять гештальт и сумма частей. Это следует учитывать, если мы хотим употреблять, скажем, слово «человек» в смысле, который лежит за пределами обычного словоупотребления. Человек обладает гештальтом, поскольку он понимается как конкретная, постижимая единичность. Однако это не относится к человеку вообще, понятию, которое представляет собой всего лишь один из шаблонов рассудка

и может означать сразу все или ничего, но только не что-либо определенное.

То же самое справедливо и для более объемлющих гештальтов, в которые включен единичный человек. Эта его принадлежность не может быть исчислена с помощью умножения или деления, — множество людей еще не создают в результате гештальт, и никакое деление гештальта не ведет обратно к единичному человеку. Ибо гештальт — это целое, содержащее больше, чем сумму своих частей. Человек больше, чем сумма атомов, членов, органов и соков, из которых он состоит, супружество больше, чем муж и жена, семья больше, чем муж, жена и ребенок. Дружба больше, чем двое мужчин, и народ больше, чем может показаться по итогам переписи или по подсчету политических голосов.

В XIX столетии стало привычным всякий ум, который пытался опереться на это «большее», на эту тотальность,<sup>1</sup> отсылать в царство снов, поскольку они уместны в более прекрасном мире, а не в действительности.

Однако не может быть никакого сомнения в том, что на деле имеет место как раз обратная оценка, и даже в политике ум, который не способен увидеть это «большее», ставится рангом ниже. Пусть он и играет свою роль в духовной истории, в истории экономики, в истории идей, — однако история есть нечто большее; она есть гештальт в той же мере, в какой имеет своим содержанием судьбу гештальтов.

---

<sup>1</sup> Более подробное объяснение слова «тотальный», которое в дальнейшем еще будет играть свою роль, содержится в работе «Тотальная мобилизация» (Берлин, 1930).

Правда, — и это уточнение должно отчетливее указать, что следует понимать под гештальтом, — большинство противников логики и математики жизни двигалось в плоскости, лежавшей на одном уровне с тем, против чего они боролись. Ибо нет никакой разницы, ссылаться ли на изолированную душу или изолированную идею, а не на изолированного человека. Душа и идея в этом смысле — не гештальты и между ними и телом или материей не существует сколь-нибудь убедительной противоположности.

Этому будто бы противоречит опыт смерти, при которой, согласно традиционному представлению, душа покидает телесную оболочку и, стало быть, то, что есть в человеке непреходящего, покидает брентную его часть. Однако учение о том, что умирающий покидает свое тело, ошибочно и чуждо нам, скорее, его гештальт вступает в новый порядок, в отношении которого никакое пространственное, временно или причинное сравнение недопустимо. Из знания об этом родилось воззрение наших предков, считавших, что когда воин погибает, он отправляется в Вальхаллу, — там его принимают не как душу, а в лучезарной телесности, возвышенным подобием которой было тело героя во время битвы.

Для нас очень важно вновь пробиться к полному осознанию того факта, что труп — это вовсе не тело, лишенное души. Между телом в секунду смерти и трупом в следующую секунду нет ни малейшей связи; это проявляется в том, что тело объемлет больше, нежели сумму своих членов, тогда как труп равен сумме своих анатомических частей. Ошибочно думать, что душа, словно пламя, оставляет после себя

пепел и прах. Но огромным значением обладает то обстоятельство, что гештальт не подвластен стихиям огня и земли, и потому человек, как гештальт, принадлежит вечности. Совершенно независимо от какой бы то ни было всего лишь моральной оценки, от какого-либо спасения и «усиления стремлений» в его гештальте коренится его прирожденное, непреложное и непреходящее достоинство, его высшее существование и глубочайшее утверждение. Чем больше мы отдаемся движению, тем глубже приходится убеждаться в том, что под ним скрыт бытийный покой и что всякое увеличение скорости есть лишь перевод с непреходящего праязыка.

Сознание этого порождает новое отношение к человеку, более жаркую любовь и более ужасную жестокость. Становится возможной ликующая анархия, сочетающаяся в то же время со строжайшим порядком, — это зрелище уже проступает в великих битвах и гигантских городах, картины которых знаменуют начало нашего столетия. Мотор в этом смысле — не властитель, а символ нашего времени, эмблема власти, для которой взрывная сила и точность не противоположны друг другу. Он — игрушка в руках тех смельчаков, которым нипочем взлететь на воздух и усмотреть в этом акте еще одно подтверждение наличному порядку. Из этой позиции, которая не по силам ни идеализму, ни материализму, но должна быть понята как героический реализм, проистекает та предельная степень наступательной силы, в которой мы нуждаемся. По своему складу ее носители относятся к тем добровольцам, которые ликованием приветствовали великую войну и приветствуют все, что за ней последовало и еще последует.



Гешталтом, как было сказано, обладает и единичный человек: наиболее возвышенное и неотъемлемое право на жизнь, которое он делит с камнями, растениями, зверями и звездами — это его право на гештальт. Как гештальт единичный человек включает больше, чем сумму своих сил и способностей; он глубже, чем способен об этом догадываться в своих глубочайших мыслях, и могущественнее, чем может выразить в самом мощном своем деянии.

Меру он носит в себе, и высочайшее искусство жизни, поскольку он живет как единичный человек, состоит в том, что мерой он делает самого себя. В этом состоит гордость жизни и ее печаль. Все великие мгновения жизни, пламенные сны юности, упоение любовью, огонь битвы сопряжены с более глубоким осознанием гештальта, а воспоминание есть чарующее возвращение гештальта, которое трогает сердце и дает ему убедиться в нетленности этих мгновений. Горчайшее отчаяние жизни основано на ее неосуществленности, на том, что она оказывается не по плечу себе самой. Здесь единичный человек уподобляется блудному сыну, в праздности растратившему на чужбине свое наследство, сколь бы мало или велико оно не было, — и все же не может быть никакого сомнения в том, что отечество вновь его примет. Ибо неотъемлемая часть наследства единичного человека состоит в его принадлежности к вечности, и он полностью сознает это в высшие и неотягощенные сомнением мгновения своей жизни. Его задача в том, чтобы выразить это во времени. В этом смысле жизнь его становится аллегорией гештальта.

Но помимо этого единичный человек включен в обширную иерархию гешталтов — сил, которые не-

возможно даже и вообразить себе достаточно действенными, осязаемыми и необходимыми. Сам единственный человек становится их иносказанием, их представителем, а мощь, богатство, смысл его жизни зависят от того, насколько он причастен порядку и противоборству гештальтов.

Подлинные гештальты узнаются по тому, что им можно посвятить всю сумму своих сил, окружить их высшим почетом, выказать им предельную ненависть. Поскольку они таят в себе целое, они и затребуют целиком. Поэтому оказывается, что вместе с гештальтом человек открывает свое назначение, свою судьбу, и именно это открытие делает его способным на жертву, которая в кровной жертве находит самое значительное свое выражение.

## 9

Увидеть рабочего в иерархии, определяемой гештальтом, оказалось не под силу бюргерской эпохе, поскольку ей не было дано подлинное отношение к миру гештальтов. Здесь все расплывалось на идеи, понятия или голые явления, и двумя полюсами этого текучего пространства были разум и чувствительность. Европу и весь мир по сей день затопляет эта разбавленная до предела жидкость, этот бледный настой обретшего самовластие духа.

Но мы знаем, что эта Европа, этот мир в Германии считаются только провинцией, управлять которой было делом не лучших сердец и даже не лучших умов. Уже в начале этого столетия немец, представленный немецким фронтовиком как носителем подлинного

гештальта, проявил себя в восстании против этого мира. Одновременно началась *немецкая* революция, которую уже в XIX веке возвещали высокие умы и которую можно постичь только как революцию гештальта. Если же это восстание осталось всего лишь прологом, то потому, что в полном своем объеме оно еще было лишено гештальта, подобие которого уже сквозило в каждом солдате, днем и ночью погибавшем в одиночестве и безвестности на всех границах империи.

Ибо, во-первых, те, кто им руководил, слишком насытились ценностями мира, который единодушно признавал в Германии своего опаснейшего противника, были слишком убеждены в них; и потому эти руководители были по справедливости побеждены и уничтожены, в то время как немецкий фронтовик оказался не только непобедимым, но и бессмертным. Каждый из тех, кто пал тогда, сегодня более бессмертен, чем когда-либо, и именно оттого, что как гештальт он принадлежит вечности. Бюргер же не принадлежит к гештальтам, и потому время пожирает его, даже если он украшает себя княжеской короной или пурпуром полководца.

Но мы видели, во-вторых, что восстание рабочего было подготовлено в школе бюргерской мысли. Поэтому оно не могло совпасть с немецким восстанием, и это проявляется в том, что капитуляция перед Европой, капитуляция перед миром состоялась, с одной стороны, по вине высшего слоя бюргерства старого образца, а с другой, не менее, — по вине бюргерских глашатаев так называемой революции, то есть, в сущности, по вине людей одного и того же склада.

Однако в Германии ни одно восстание не может вести к новому порядку, если оно направлено против Германии. Оно обречено на поражение уже потому, что грешит против закономерности, от которой не может уйти ни один немец, не отнимая у себя самого сокровеннейших корней своей силы.

Потому-то сражаться за свободу у нас могут только такие силы, которые в то же время являются носителями немецкой ответственности. Но как бюргер мог перенести эту ответственность на рабочего, когда сам он не был причастен к ней? Точно так же, как он не в состоянии был ввести в бой неодолимую стихийную силу народа, когда правил, он был не способен и дать этой стихийной силе революционный толчок, когда стремился к правлению. Поэтому своим предательством он попытался использовать ее против судьбы.

Это предательство не имеет никакого значения как государственная измена, в рамках которой его следует понимать как процесс самоуничтожения бюргерского порядка. Но в то же время это и измена родине в той мере, в какой бюргер пытался вовлечь в свое самоуничтожение и гештальт империи. Поскольку искусство умирать ему не знакомо, он пытался любой ценой оттянуть срок своей смерти. Несостоятельность бюргера в войне состоит в том, что он был не способен ни вести ее по-настоящему, то есть в духе тотальной мобилизации, ни ее проиграть — и тем самым увидеть в гибели свою высшую свободу. От фронтовика бюргера отличает то, что он даже на войне старался высмотреть удобный момент для переговоров, тогда как для солдата война знаменовала то пространство, в котором стоило умирать, то есть жить так, чтобы

утверждался гештальт империи — той империи, которая, даже если нас лишат жизни, все же останется нам.

Есть две породы людей: в одной из них видна готовность на все ради переговоров, в другой — готовность на все ради борьбы. Бюргерское искусство воспитания в применении к рабочему состояло в том, чтобы вырастить в нем партнера по переговорам. Скрытый смысл этого намерения, состоящий в желании любой ценой продлить жизнь бюргерского общества, мог оставаться тайной до тех пор, пока этому обществу была дана внешнеполитическая аналогия в паритете сил. Противогосударственная направленность этого смысла должна была обнаружиться в тот момент, когда между этими силами возникли иные отношения, нежели отношения переговоров. Тем не менее последняя победа Европы помогла бюргеру еще раз создать одно из тех искусственных пространств, в которых гештальт и судьба видятся равнозначными бессмыслице. Тайна поражения немцев состоит в том, что дальнейшее существование такого пространства, дальнейшее существование Европы было самым заветным идеалом бюргера.

В ту пору совершенно ясно раскрылась и та недостойная роль, которую бюргер предназначал рабочему, сумев во внутренней политике с большой ловкостью внушить ему сознание господства, притязания на которое вновь и вновь оборачивались непокрытыми векселями в отношении внешнеполитических долгов. Период протеста — это в то же время последний период жизни бюргерского общества, и в этом тоже находит свое выражение мнимый характер его существования, которое старается опереться на давно уже израсходованные капиталы XIX столетия.

Но это и есть то пространство, которое рабочий должен не столько преодолеть, — ведь в нем он всегда будет наталкиваться только на переговоры и уступки, — сколько с презрением отринуть. Это пространство, внешние границы которого порождены бессилием, а внутренние порядки — предательством. Тем самым Германия стала колонией Европы, колонией мира.

Однако акт, посредством которого рабочий способен отринуть это пространство, состоит как раз в том, что он узнаёт себя в качестве гештальта в рамках иерархии гештальтов. Тут коренится глубочайшее оправдание борьбы за государство, оправдание, которое отныне должно ссылаться не на новое толкование договора, а на непосредственное призвание, на судьбу.

## 10

Видение гештальтов есть революционный акт постольку, поскольку оно узнает бытие в совокупной и единой полноте его жизни.

Этот процесс отличается тем преимуществом, что он проходит по ту сторону как моральных и эстетических, так и научных оценок. В этой сфере важно прежде всего не то, является ли нечто добрым или злым, прекрасным или безобразным, ложным или истинным, а то, какому гештальту оно принадлежит. Тем самым круг ответственности расширяется таким способом, который совершенно несовместим со всем, что понимал под справедливостью XIX век: оправдание единичного человека или признание его вины состоит в его принадлежности к тому или иному гештальту.

В тот момент, когда мы узнаём и признаём это, рушится невообразимо сложная машинерия, которую ставшая чрезвычайно искусственной жизнь соорудила для своей защиты, потому что та позиция, которую мы в начале нашего исследования определили как более дикую невинность, более не нуждается в ней. Жизнь пересматривается здесь сквозь призму бытия, и тот, кто узнает новые, более широкие возможности жизни, приветствует этот пересмотр в меру его беспощадности и сверх этой меры.

Одно из средств подготовки к новой, проникнутой большей отвагой жизни, состоит в отвержении оценок освободившегося и ставшего самовластным духа, в разрушении той воспитательной работы, которую провела с человеком бюргерская эпоха. Чтобы это был коренной переворот, а не просто какая-то реакция, желающая отбросить мир на сто пятьдесят лет назад, нужно пройти через эту школу. Ныне все зависит от воспитания таких людей, которые со свойственной отчаявшимся достоверностью сознают, что притязания абстрактной справедливости, свободного исследования, совести художника должны предстать перед более высокой инстанцией, нежели та, которую можно найти внутри мира бюргерской свободы.

Если сначала это совершается в сфере мысли, то именно потому, что противника следует встретить на том поле, где он силен. Лучший ответ на измену, которую дух совершает по отношению к жизни, — это измена духа по отношению к «духу», и участие в этой подрывной работе входит в число возвышенных и жестоких наслаждений нашего времени.

## 11

Рассмотреть рабочего соразмерно гештальту можно было бы, отправляясь от двух явлений, которые уже бюргерскому мышлению дали *понятие* рабочего, а именно, от общности людей и от единичного человека; их общим знаменателем было представление о человеке в XIX столетии. Оба эти явления меняют свое значение, если в них начинает действовать новый образ человека.

Так, стоило бы проследить, каким образом единичный человек выступает, с одной стороны, в героическом плане, как неизвестный солдат, гибнущий на бранных полях работы, и каким образом, с другой стороны, он именно поэтому выступает как господин и распорядитель мира, как тип повелителя, обладающего полнотой власти, которая до сих пор угадывалась лишь смутно. Обе стороны принадлежат гештальту рабочего, и именно это придает им глубочайшее единство даже там, где они спорят друг с другом в смертельной борьбе.

Точно так же и общность людей, с одной стороны, выступает как страдательная, поскольку несет на себе тяготы предприятия, в сравнении с которым даже самая высокая пирамида подобна булавочному острию, а с другой — все же как значимая единица, смысл которой всецело зависит от наличия или отсутствия этого самого предприятия. Поэтому у нас принято спорить о том, каким должен быть порядок, в котором следует обслуживать предприятие и управлять им, тогда как необходимость этого предприятия сама составляет часть судьбы и потому находится по ту сторону поднимаемых вопросов.



Помимо прочего, это выражается в том, что даже в доньине известных рабочих движениях никогда не находилось места для отрицания работы как основного факта. Вот явление, которое должно привлечь внимание и исполнить дух уверенностью в том, что даже там, где такие движения, вышедшие из школы бюргерской мысли, уже приходили к власти, непосредственным следствием было не уменьшение, а увеличение работы. Как еще будет показано, причина этого заключается, во-первых, в том, что уже само имя «рабочего» не может означать ничего кроме позиции человека, видящего в работе свое призвание, а потому и свою свободу. Во-вторых же, здесь очень четко видится, что роль главной пружины играет не подавление, а новое чувство ответственности, и что подлинные рабочие движения надлежит понимать не так, как это делал бюргер, который независимо от того, поддерживал он их или отвергал, понимал их как движения рабов, — а как скрытые под их маской движения господ. Каждому, кто это понял, видна и необходимость той позиции, которая делает его достойным титула рабочего.

Таким образом, от общности и единичного человека отправляться не следует, хотя и то и другое можно понять соразмерно гешталту. Конечно, тогда изменится содержание этих слов, и мы увидим, сколь сильно единичный человек и общность в мире работы отличаются от индивида и массы XIX столетия. В этом противопоставлении наше время исчерпало себя равно как и в противопоставлениях идеи и материи, крови и духа, власти и права, которые порождают лишь толкования в разных перспективах, освещающих то или иное частное притязание. На-

много более важно отыскать гештальт рабочего на том уровне, откуда как единичный человек, так и общности представляются взору как некие аллегории, как представители. В этом смысле рабочий в равной мере представлен как высочайшими проявлениями единичного человека, которые уже и раньше угадывались в образе сверхчеловека,<sup>1</sup> так и теми общностями, которые, подобно муравьям, живут в плену у труда и где притязания на своеобразие кажутся неподобающими высказываниями частного порядка. Обе эти жизненные позиции развились в школе демократии, об обеих можно сказать, что они прошли через нее и ныне с двух якобы противоположных сторон участвуют в уничтожении старых ценностей. Но обе они, как уже сказано, суть аллегории гештальта рабочего, и их внутреннее единство заявляет о себе тогда, когда воля к тотальной диктатуре узнает себя в зеркале нового порядка как волю к тотальной мобилизации.

Однако всякий порядок, каким бы он ни был, подобен сети меридианов и параллелей, нанесенной на географическую карту и получающей свое значение только от того ландшафта, с которым она соотнесена, — подобен сменяющим друг друга династическим именам, которые духу незачем вспоминать, коль скоро он потрясен возведенными ими памятниками.

Так и гештальт рабочего встроен в бытие глубже и надежнее, нежели все аллегории и порядки, посредством которых он себя утверждает, он более глубок,

---

<sup>1</sup> Притом угадывались благодаря посредству бюргерского индивида.

чем конституции и учреждения, чем люди и объединяющие их общности, которые подобны переменчивым чертам лица, что скрывают за собой неизменный характер.

## 12

Рассмотренный в отношении полноты своего бытия и выразительности еще только начавшейся чеканки гештальт рабочего являет богатство внутренних противоречий и напряженных конфликтов и все же отличается удивительным единством и судьбоносной завершенностью. Поэтому в те мгновения, когда никакие цели и никакие намерения не мешают нашему осмыслению, он иногда открывается нам как самодостаточная и уже оформленная власть.

Так, временами, когда вокруг нас внезапно стихает грохот молотков и колес, мы почти физически ощущаем наступление покоя, скрывающегося за преизбытком движения, и если в наше время для того, чтобы почтить умерших или для того, чтобы запечатлеть в сознании какое-то историческое мгновение, работа, словно по высочайшей команде, приостанавливается на несколько минут, — то это добрый обычай. Ибо это движение есть аллегория глубочайшей внутренней силы в том смысле, в каком, скажем, скрытый смысл поведения какого-либо зверя наиболее ясно обнаруживается в его движении. Но удивляясь тому, что оно остановилось, мы, в сущности, дивимся тому, что наш слух будто улавливает на секунду течение более глубоких источников, питающих временной ход движения, и потому это действие возводится на уровень культа.

Для великих школ прогресса характерно отсутствие у них связи с первобытными силами и укорененность их динамики во временном ходе движения. В этом причина того, что их выводы сами по себе убедительны и все же словно в силу какой-то дьявольской математики, обречены вылиться в нигилизм. Мы пережили это сами в той мере, в какой были причастны к прогрессу, и в восстановлении непосредственной связи с действительностью видим великую задачу того поколения, которое долго жило в первобытном ландшафте.

Отношение прогресса к действительности производно по своей природе. То, что представляется взгляду, есть проекция действительности на периферию явления; это можно показать на примере всех значительных прогрессистских систем и столь же справедливо для отношения прогресса к рабочему.

И все же, подобно тому как просвещение просвещению рознь и одно, например, бывает более глубоким, так и прогресс не обходится без заднего плана. Ему тоже знакомы мгновения, о которых шла речь выше. Есть опьянение познанием, истоки которого лежат глубже сферы логического, есть повод гордиться техническими достижениями, началом безграничного господства над пространством, и в этой гордости угадывается потаеннейшая воля к власти, которой все это видится лишь как вооружение для еще неведомых битв и восстаний и именно поэтому оказывается столь ценным и требует более бережного ухода, чем когда-либо уделял своему оружию воин.

Поэтому мы не можем принимать в расчет ту позицию, которая пытается противопоставить прогрессу относящиеся к более низкому уровню средств

ва романтической иронии и является верным симптомом ослабления жизни в самом ее ядре. Наша задача заключается не в том, чтобы вести контригру, а в том, чтобы сыграть ва-банк в ту эпоху, когда высшая ставка должна быть осознана как в ее размерах, так и в ее глубине. Фрагмент, на который наши отцы направляли чересчур резкое освещение, меняет свой смысл, когда его рассматривают на более обширной картине. Продолжение пути, ведущего будто бы к удобству и безопасности, вступает теперь в опасную зону. В этом смысле, выходя за пределы фрагмента, выделенного для него прогрессом, рабочий выступает носителем фундаментальной героической субстанции, определяющей новую жизнь.

Там, где мы чувствуем действие этой субстанции, мы близки рабочему, и мы сами являемся рабочими в той мере, в какой мы наследуем ее. Все, что мы ощущаем в наше время как чудо и благодаря чему мы еще явимся в сагах отдаленнейших столетий как поколение могущественных волшебников, принадлежит этой субстанции, принадлежит гешталту рабочего. Именно он действует в нашем ландшафте, бесконечную странность которого мы не ощущаем лишь потому, что были рождены в нем; его кровь — это топливо, приводящее в движение колеса и дымящееся на их осях.

И при виде этого движения, вопреки всему остающегося все же монотонным и напоминающего тибетскую равнину, уставленную молитвенными мельницами, при виде этих строгих, подобных геометрическим контурам пирамид порядков жертв, каких не требовали еще ни инквизиция, ни Молох и число

которых с убийственной неотвратимостью возрастает с каждым шагом, — как мог бы по-настоящему зоркий глаз не заметить, что под колышущимся от вседневных битв покровом причинно-следственных связей здесь делают свое дело судьба и почитание?

## ВТОРЖЕНИЕ СТИХИЙНЫХ СИЛ В БЮРГЕРСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

### 13

До сих пор предполагалось, что рабочему свойственно новое отношение к стихийному, к свободе и к власти.

Стремление бюргера герметично изолировать жизненное пространство от вторжения стихийных сил является особо удачным выражением изначального стремления к безопасности, прослеживаемого повсюду — в истории природы, в истории духа и даже в каждой отдельной жизни. В этом смысле за явлением бюргера скрывается вечная возможность, которую открывает в себе каждая эпоха, каждый человек, подобно тому, как у каждой эпохи, у каждого человека есть в распоряжении вечные формы нападения и защиты, хотя и не случайно, какая именно из этих форм будет применена, когда решение нападать или обороняться уже принято.

Бюргер с самого начала не видит для себя иного варианта кроме обороны, и в различии между стенами крепости и стенами города выражается различие между последним прибежищем и прибежищем единственным. Отсюда становится понятно, почему сословие адвокатов изначальное играет особую роль в бюргерской политике, а также почему во времена войн национальные демократии спорят о том, какая из них подверглась нападению. Левая рука — рука обороняющаяся.

Никогда бюргер не почувствует побуждения добровольно встретить свою судьбу в борьбе и опасности, ибо стихийное лежит за пределами его круга, оно неразумно и тем самым просто безнравственно. Поэтому

он всегда будет пытаться отмежеваться от него, все равно, является ли оно ему как власть и порыв страсти или в первостихиях огня, воды, земли и воздуха.

Под этим углом зрения большие города на рубеже столетий оказываются идеальными твердынями безопасности, триумфом стен как таковых, которые более века назад отодвинулись от обветшавших колец укреплений и теперь заточают жизнь в камень, асфальт и стекло, как бы проникая в самый интимный ее порядок. Победа техники здесь всегда — победа комфорта, а вмешательство стихий регулируется экономикой.

Однако необычность бюргерской эпохи состоит не столько в стремлении к безопасности, сколько в исключительном характере, свойственном этому стремлению. Она состоит в том, что стихийное оборачивается здесь бессмыслицей, и потому крепостная стена бюргерского порядка выступает в то же время как крепостная стена разума. На этом пути бюргер отмежевывается от других явлений, какими предстают верующий человек, воин, художник, мореход, охотник, преступник и, как уже было сказано, — от фигуры рабочего.

Быть может, здесь уже становится ясна причина бюргерской неприязни к появлению этих и других фигур, которые словно в складках своих одежд приносят в город запах опасности. Это неприязнь к наступлению, нацеленному не то что бы на разум, а на культ разума, к наступлению, которое очевидно уже в силу одного лишь наличия этих жизненных позиций.

Один из маневров бюргерской мысли сводится как раз к тому, чтобы наступление на культ разума провозгласить наступлением на сам разум и благодаря тому отмахнуться от него как от чего-то неразумного. На



это можно возразить, что эти два вида атаки уподобляются друг другу только внутри бургерского мира, ибо как существует бургерское восприятие рабочего, так существует и специфически бургерский разум, который отличается как раз тем, что он не соединим со стихиями. Однако эта характеристика никак не подходит к указанным жизненным позициям.

Так, битва для воина является событием, которое совершается в высшем порядке, трагический конфликт для поэта — состоянием, в котором смысл жизни может быть схвачен с особой точностью, а пылающий или опустошенный землетрясением город для преступника — полем его особо активной деятельности.

Точно так же и верующий человек участвует в более широкой сфере осмысленной жизни. Насылая на него беды и опасности, а также делая его свидетелем чудес, судьба напрямую вверяет его более мощной власти, и смысл такого вмешательства признается в трагедии. Боги любят открываться в стихиях, в раскаленных светилах, в громе и молнии, в горящем кусте, который не может поглотить пламя. Когда земной круг гудит во время битвы богов и людей, Зевс трепещет от радости на своем высочайшем троне, потому что видит здесь веское подтверждение всеохватности своей власти.

Со стихийным человека связывают высокие и низкие связи, и есть множество плоскостей, где безопасность и опасность объемлются одним и тем же порядком. Бургера, напротив, следует понимать как человека, который познает в безопасности высшую ценность и сообразно ей определяет свою жизнь.

Верховная власть, которая обеспечивает ему эту безопасность, есть разум. Чем ближе находится он к ее центру, тем сильнее истаивают мрачные тени,

скрывающие в себе опасности, которые временами, когда кажется, что ни одно облачко не омрачает неба, теряются в дальней дали.

И тем не менее опасность всегда налицо; подобно стихии, она вечно пытается прорвать плотины, которыми окружает себя порядок, и по законам скрытой, но неподкупной математики становится более грозной и смертоносной в той мере, в какой порядку удастся исключить ее из себя. Ибо опасность не только хочет быть причастной к любому порядку, но и является матерью той высшей безопасности, которая никогда не будет уделом бюргера.

Напротив, идеальное состояние безопасности, к которому устремлен прогресс, состоит в мировом господстве бюргерского разума, которое призвано не только уменьшить источники опасности, но, в конце концов, и привести к их исчезновению. Действие, благодаря которому это происходит, состоит как раз в том, что опасное предстает в лучах разума как бессмысленное и тем самым утрачивает свое притяжение на действительность. В этом мире важно воспринимать опасное как бессмысленное, и оно будет преодолено в тот самый момент, когда отразится в зеркале разума как некая ошибка.

Такое положение дел можно повсюду детально показать в рамках духовных и фактических порядков бюргерского мира. В целом оно заявляет о себе в стремлении рассматривать зиждущееся на иерархии государство как общество, основным принципом которого является равенство и которое учреждает себя посредством разумного акта. Оно заявляет о себе во всеохватной структуре системы страхования, благодаря которой не только риск во внешней и внутренней

политике, но и риск в частной жизни должен быть равномерно распределен и тем самым поставлен под начало разума, — в тех устремлениях, что стараются растворить судьбу в исчислении вероятностей. Оно заявляет о себе, далее, в многочисленных и весьма запутанных усилиях понять жизнь души как причинно-следственный процесс и тем самым перевести ее из непредсказуемого состояния в предсказуемое, то есть вовлечь в тот круг, где господствует сознание.

В пределах этого пространства любая постановка вопроса художественной, научной или политической природы сводится к тому, что конфликта можно избежать. Если он все-таки возникает, чего нельзя не заметить хотя бы по перманентным войнам или непрекращающимся преступлениям, то дело состоит в том, чтобы объявить его заблуждением, повторения которого можно избежать с помощью образования или просвещения. Такие заблуждения возникают лишь оттого, что не всем еще стали известны параметры того великого расчета, результатом которого будет заселение земного шара единым человечеством, — в корне добрым и в корне разумным, а потому и в корне себя обезопасившим.

Вера в то, что эти перспективы достаточно убедительны, является одной из причин, по которым просвещение склонно переоценивать отпущенные ему силы.

## 14

Мы уже видели, что стихийное всегда налицо. Хотя его и можно до значительной степени исключить, этому все же положены определенные границы, так

как стихийное принадлежит не только внешнему миру, но как неотчуждаемое приданое уделено и существованию каждого единичного человека. Человек в равной мере живет стихийно и потому, что он является природным, и потому, что он является демоническим существом. Ни одно разумное заключение не может подменить собой биение сердца или деятельность почек, и нет такой величины, будь это даже сам разум, которая бы временами не попадала в зависимость от низменных или гордых жизненных страстей.

Источники стихийного бывают двоякого рода. Во-первых, они заложены в мире, который всегда опасен, подобно тому, как море таит в себе опасность даже в самый глубокий штиль. Во-вторых, они заложены в человеческом сердце, которое тоскует по играм и приключениям, по любви и ненависти, по триумфам и падениям, которое испытывает потребность в опасности в той же мере, что и в безопасности, и которому состояние коренным образом обеспеченной безопасности по праву кажется состоянием несовершенным.

Масштабы господства бюргерских оценок определяются, стало быть, по тому, насколько далеко будто бы отступает стихийное — *будто бы*, ибо мы еще увидим, как оно, спрятавшись под маской невинности, умеет скрываться даже в самом центре бюргерского мира. Прежде всего следует констатировать, что по отношению к прирожденному приверженцу обороны оно оказывается в странной оборонительной позиции, а именно, в позиции романтической. В человеке оно проявляется как его романтическая позиция, а в мире — как романтическое пространство.

Романтическому пространству не дано собственного центра, оно существует исключительно в проек-

ции. Оно лежит в тени бюргерского мира, и исходящий от этого мира свет не только определяет его протяженность, но и легко может всюду и в любое время его растворить. Это выражается в том, что романтическое пространство никогда не дано как присутствующее в настоящем, что его отдаленность считается даже его существенным признаком, хотя масштабы этой отдаленности и заимствуются у настоящего. Близкое и далекое, свет и тьма, день и ночь, сон и действительность — таковы ориентиры в романтической системе координат.

В силу временной отдаленности от настоящего местоположение романтического пространства выступает как прошлое, причем прошлое, окрашенное «зеркальным чувством» (рессантиментом) в отношении того или иного сиюминутного состояния. Пространственная отдаленность от настоящего предстает как бегство из полностью безопасного и пронизанного сознанием пространства; поэтому по мере победного шествия техники как наиболее отточенного из сознательных средств тает и число романтических ландшафтов. Еще вчера они находились, быть может, «в далекой Турции», в Испании или Греции, сегодня — в поясе первобытных экваториальных лесов или на ледовых полярных шапках, но уже завтра на этой удивительной географической карте человеческой ностальгии исчезнут последние белые пятна.

Нам нужно знать, что чудесное, в том смысле, в каком оно может столь любезно вызывать к жизни звон средневековых колоколов или благоухание экзотических цветов, есть одна из уловок побежденного. Романтик пытается ввести в действие ценности стихийной жизни, о значимости которой он догадывает-

ся, не будучи к ней причастен, и потому дело не может обойтись без обмана или разочарования. Он видит несовершенство бюргерского мира, но не умеет противопоставить ему никакого иного средства, кроме бегства от него. Но тот, кто обладает подлинным призванием, — тот в любой час и в любом месте пребывает в пространстве стихий.

Мы видели, однако, что триумф бюргерского мира выразился в стремлении создавать заповедники, где последний остаток опасного или чрезвычайного сохранился бы как некий курьез. Нет большого различия между охраной последних бизонов в Йеллоустонском парке и поддержанием жизни разношерстного класса людей, задача которых состоит в том, чтобы заниматься иными мирами.

Если романтическое пространство раскрывается как отдаленное, наделенное всеми признаками миража в пустыне, то романтическая позиция раскрывается как протест. Есть эпохи, когда всякое отношение человека к стихийному выступает как романтическая одаренность, в которой уже намечен надлом. Дело случая, обнаружится ли этот надлом как гибель в отдаленном краю, в опьянении, в безумии, в нищете или в смерти. Все это формы бегства, когда одиночный человек складывает оружие, не найдя выхода из круга духовного и материального мира. Время от времени эта капитуляция принимает форму атаки и напоминает еще один залп, вслепую производимый из бортовых орудий тонущего корабля.

Мы вновь научились ценить тех часовых, которые пали на своем посту, защищая безнадежное дело. Есть много трагедий, с которыми связано чье-либо великое имя, и есть другие, безымянные, в которых словно

ядовитыми газами были отравлены и лишены необходимого для жизни воздуха целые слои людей.

Бюргеру почти удалось убедить сердце искателя приключений, что ничего опасного вовсе не существует, а миром и его историей правит экономический закон. Юношам, в туманную ночь покидающим родительский дом, чувство говорит, что за опасностью нужно отправляться куда-то очень далеко, за море, в Америку, в Иностраннный легион, в страны, находящиеся у черта на рогах. Так становится возможным появление людей, которые едва отваживаются говорить на своем собственном, более мощном языке, будь то язык поэта, сравнивающего себя с альбатросом, чьи мощные, созданные для бури крылья в чуждой и безветренной атмосфере служат лишь предметом назойливого любопытства, или язык прирожденного воина, который кажется ни на что не годным, потому что жизнь торгашей внушает ему отвращение.

## 15

Начало мировой войны проводит красным широкую итоговую черту под этой эпохой.

В приветствующем ее ликовании добровольцев заключено больше, чем только спасение для сердец, которым за одну ночь открывается новая более опасная жизнь. В нем одновременно скрыт революционный протест против старых оценок, действенность которых безвозвратно утрачена. Отныне в поток мыслей, чувств и фактов вливается новая, стихийная окраска. Отпала необходимость вновь заниматься переоценкой ценностей — довольно и того, чтобы видеть новое и участвовать в нем.

С этого момента намечается и весьма странный сдвиг в будто бы имеющем место совпадении стихийного пространства с романтическим. Протест со стороны того слоя, который деятелен в глубочайшем смысле, который по своей воле действует там, где все остальное словно поражено некой природной катастрофой, на своем поверхностном, идеальном уровне, конечно, все еще относится к романтическому пространству. Однако он отличается от романтического протеста тем, что одновременно направлен и к настоящему, к несомненному «здесь и теперь».

Тогда очень скоро выясняется, что источники сил, идущие из отдаленных стран или из прошлого, питающие, к примеру, грезы искателя приключений или традиционный патриотизм, оказываются недостаточными. Действительная борьба требует иных резервов, и именно различие между двумя мирами проявляется в различии между воодушевлением выступившего в поход войска и его действиями на изрытом воронками поле битвы с применением военной техники. Поэтому этот процесс уже невозможно рассматривать из какой-либо романтической перспективы. Чтобы так или иначе принимать участие в нем, нужно обрести какую-то новую независимость. Его начало требует знания каких-то иных «за и против», нежели тех, что содержатся в категориях XIX века.

Тут очень ясно становятся видны и пределы оправданности романтического протеста. Он обречен вырождаться в нигилизм, поскольку был лишь уловкой, противился гибели тонущего мира и тем самым находился в безусловной зависимости от него. Поскольку же за ним скрывалось подлинное героическое наследие, поскольку за ним скрывалась любовь, по-



стольку из романтического пространства он переходит в сферу власти.

Здесь заключена скрытая причина того, почему одно и то же поколение могло прийти к якобы противоречащим друг другу итогам: война сломила одних, а другим близость смерти, огня и крови дала неведомое до сих пор здоровье. Мировая война разыгралась не только между двумя группами наций, но и между двумя эпохами, и в этом смысле в нашей стране тоже есть как побежденные, так и победители.

Переходу от романтического протеста к действию, которое характеризуется уже не как бегство, а как нападение, соответствует превращение романтического пространства в стихийное. Этот процесс происходит таким образом, что опасное, оттесненное было к самым последним его границам, словно устремляется с большой скоростью обратно к центру. Поэтому не случайно, что повод к войне возникает на окраине Европы, в атмосфере политических сумерек.

При всей напряженности, свойственной этому времени, грозные тучи, где рождаются первые стрелы молний, проходят стороной. Но отныне даже безопасные районы, где все пребывает в порядке, воспламеняются как залежалый и высохший порох, и неизвестное, необычайное, опасное становится не только обычным, — оно становится присутствующим постоянно. Перемирие, которое лишь по видимости завершает конфликт, а на самом деле окружает и минует рубежи Европы новыми конфликтами, приводит к такому состоянию, где катастрофа предстает неким а priori уже изменившегося мышления.

В соответствии с этим процессом понятие порядка в старом смысле слова отныне само становится ро-

мантическим. Бюргер словно живет в старом добром довоенном времени и представляется человеком, стремящимся убежать от крайне опасной действительности и обрести ставшую отныне утопической безопасность.<sup>1</sup> Он продолжает прилагать прежние свои усилия подобно тому, как в период инфляции еще используют какое-то время привычную монету, но его ценности уже не идут по прежнему курсу, и за лозунгами «покоя и порядка», «народного сообщества», «пацифизма», «мирного хозяйствования», «взаимопонимания», короче говоря, за последней апелляцией к разуму XIX столетия ясно различима уже ослабленная позиция, — эти призывы принадлежат к лексикону бюргерской реставрации, установления которой сходны с мирными договорами в том, что подобно тонкому покрывалу на время скрывают ускоряющийся процесс роста вооружений.

Опасное, выступавшее под знаком прошедших времен и отдаленных краев, господствует теперь в настоящем. Оно словно вторглось сюда из древних эпох и бескрайних пространств, подобно грозному небесному телу, возвращающемуся из космических бездн в силу неведомой закономерности. Ни дух прогресса, ни лихорадочные усилия вождей, внутренне страшящихся принять какое-либо решение, не помешали завязаться борьбе, которая там, где она ведется по-настоящему, все еще оказывается и будет оказы-

---

<sup>1</sup> Не случайно безопасности требуют сегодня именно так называемые государства-победители, в особенности Франция, как представительница буржуазной власти *par excellence*. Напротив, знак настоящей победы состоит в том, что безопасность предоставляется и защита обеспечивается в силу того, что победитель в изобилии располагает ей.

ваться борьбой один на один, несмотря на появление более мощных и более тонких средств. Эти ее формы принадлежат первобытному времени и считались способными ожить лишь в воспоминаниях или в обширных лесах Южной Америки. Из растерзанной огнем и напоенной кровью земли поднимается дух, который не изгнать, остановив канонаду; напротив, он странным образом проникает во все привычные оценки и изменяет их смысл.

Пусть одни считают это впадением в новое варварство, а другие приветствуют как очищение сталью, — важнее видеть, что наш мир охвачен новым и еще необузданным приливом стихийных сил. При обманчивой безопасности устаревших порядков, возможных лишь до тех пор, пока сказывается усталость, эти силы слишком близки, слишком разрушительны, чтобы ускользнуть даже от поверхностного взгляда. Их форма есть форма анархии, которая в периоды так называемого мира беспрестанно пробивается на поверхность из пылающих вулканических жерл.

Тот, кто еще полагает, что этот процесс можно обуздать с помощью порядков старого образца, — принадлежит к расе побежденных, которая обречена на уничтожение. Тут возникает необходимость новых порядков, охватывающих и чрезвычайные явления, — порядков, которые рассчитаны не на исключение опасного, но создаются благодаря новому сочетанию жизни с опасностью.

На эту необходимость указывают все приметы, и в рамках таких порядков рабочему, бесспорно, отводится решающая позиция.

## В МИРЕ РАБОТЫ ПРИТЯЗАНИЕ НА СВОБОДУ ВЫСТУПАЕТ КАК ПРИТЯЗАНИЕ НА РАБОТУ

### 16

В великой близости смерти, крови и земли дух приобретает более жесткие черты и более глубокую окраску. Над всеми слоями существования нависает более острая угроза — угроза того уже почти забытого голода, перед которым бессильно какое-либо хозяйственное регулирование и который ставит жизнь перед выбором — погибнуть или превозмочь.

Позиция, которая сможет оказаться на высоте этого выбора, должна среди разрушений, масштабы которых еще невозможно предвидеть, занять ту точку, откуда можно ощутить свободу. К признакам свободы относится достоверность нашей причастности к глубинным росткам времени — достоверность, которая чудесным образом воодушевляет наши дела и мысли, и в которой свобода деятеля узнается как особое выражение необходимости. Это узнавание, в котором как на лезвии ножа встречаются судьба и свобода, является знаком того, что жизнь еще продолжается и понимается как носитель исторической власти и ответственности.

Там, где есть это понимание, вторжение стихийных сил представляется гибелью, которая, однако, таит в себе переход к дальнейшему. Чем сильнее и безжалостнее пламя уничтожает устоявшееся положение вещей, тем подвижнее, легче и беспощаднее будет новое наступление. Анархия здесь — пробный камень того, что невозможно разрушить, что с восторгом испытывает себя посреди уничтожения, — она подобна смятению наполненных снами ночей,

из которых дух с новыми силами восходит к новым порядкам.

Но именно то обстоятельство, что возвращение несслсленных страстей и сильных, непосредственных влечений окружено ландшафтом предельно обостренного сознания и что на противоположной стороне благодаря этому становится возможным неожиданное и еще не изведенное возрастание жизненных средств и сил, придает этому столетию его в высшей степени своеобразное обличье. Этот образ, который пророческий дух пытался передать в ренессансных формах, впервые обретает отчетливость в чертах подлинного, непобежденного солдата великой войны, которого в решающие моменты борьбы за обновление земного лика следует в равной мере понимать и как существо из первобытного мира, и как носителя в высшей степени холодного и жестокого сознания. Здесь скрещиваются линия страсти и линия математики.

Подобно тому, как сегодня лишь с опозданием и лишь благодаря поэтической силе можно показать, что то, что происходило в глубине адского огня, поддерживаемого благодаря использованию точных инструментов, имело смысл за пределами постановки каких бы то ни было вопросов и вне зависимости от них, — подобно этому очень трудно увидеть сущностное отношение рабочего к миру работы, военным символом которого является этот огненный ландшафт.

И хотя нет недостатка в попытках дать истолкование этому миру, однако этого истолкования нельзя ждать ни от особой диалектики, ни от особого интереса. Все эти усилия прилагаются к такому бытию,

которое объемлет собой также и их крайние фланги. И все же это потрясающее зрелище — видеть, какой остроты рассудка, какой степени веры, какого количества жертв требуют отдельные схватки — зрелище, которое было бы непереносимым, если бы каждая из этих атак не играла своей роли в рамках всей операции. И действительно, каждый удар, пусть он и произведен вслепую, подобен движению резца, который с еще большей отчетливостью извлекает из неопределенности уже сформировавшиеся черты этого времени.

Степень нужды и опасности, нарушение старых связей, абстрактный, специализированный характер всякой деятельности и ее темп все сильнее изолируют друг от друга отдельные позиции и питают в человеке чувство затерянности в непроходимых дебрях мнений, происшествий, интересов. То, что проявляется здесь в построении систем, в пророчествах и призывах к вере, похоже на вспышки прожекторов, в лучах которых свет и тень быстро меняются местами и которые оставляют после себя еще большую неопределенность, еще более глубокий мрак. Все это — новые способы деления, которому сознание подвергает бытие, и от которого, в сущности, мало что меняется. К наиболее удивительным переживаниям относится знакомство с так называемыми ведущими умами эпохи и с тем, насколько она вопреки этим умам сохраняет свою направленность и закономерность.

Ибо вопреки всему в основании этой путаницы лежит некий общий знаменатель, суть которого, правда, состоит вовсе не в том, что грезится плоской соглашательской воле. Вера в осмысленность нашего

мира возникает не только в силу необходимости, которая вовсе не обязательно ослабляет линии боевой позиции, какой бы вид она ни имела, а напротив, задействует подлинные силы времени, — эта вера характеризует также всякую позицию, у которой еще есть будущее. Тот факт, что в якобы чисто динамическом состоянии, где не видно никаких координатных осей, достичь безопасности, конечно, становится труднее, чем когда бы то ни было, — очевиден и заслуживает приветствия после ухода того поколения, которому свойственно было обманчивое самодовольство и эффектные позы.

Свободу можно ощутить не в точках претерпевания, но в точках деятельности, действенного превращения мира. Где бы ни были разбросаны носители действительной силы — каждый из них когда-нибудь с достоверностью почувствует, что по ту сторону эмпирических отношений, по ту сторону интересов он глубочайшим образом связан со своим пространством и своим временем. Эта причастность, это редкое и мучительное счастье, которому на какие-то мгновения становится причастно существование, есть знак того, что оно принадлежит материи не только природы, но и истории — что оно познаёт свою задачу. Но эта приверженность делу столь плотно примыкает к границам, к пределам, у которых творческие силы вливаются в пространственно-временные структуры, что становится наглядной лишь на большом расстоянии.

## 17

Потому значение труда, наверное, нигде не затрагивает дух с большей ясностью, чем при взгляде на руины, оставленные нам как свидетельства исчезнувших жизненных единств. Речь идет не только о разрушении, триумф которого пробуждает вопрос о неразрушимом — о скрытом содержимом этих давно покинутых мастерских, которые, как мы чувствуем, все же не могут утратить своего значения.

Кажется, будто далекий отзвук тех времен раздается в молчании, окружающем их разрушенные символы, как шум моря сохраняется в раковинах, выброшенных на берег прибоем. Этот отзвук как раз и можем услышать мы, чей заступ обнажает останки городов, даже имена которых были преданы забвению.

Эти камни, скрывающиеся под плющом или в песке пустыни, напоминают не только о власти сильных мира сего, но и о безымянной работе, о мельчайших движениях руки, совершенных ремесленником. Каждый из них впитал в себя грохот заброшенных каменоломен, превратности забытых сухопутных и морских путей, сутолоку портовых городов, планы фабричных мастеров и тяготы подневольной работы, дух, кровь и пот давно исчезнувших рас. Они символизируют более глубокое единство жизни, которое лишь изредка показывается при свете дня.

Поэтому всякий дух, имеющий отношение к истории, чувствует, как его притягивают эти места, при виде которых нас охватывает странная смесь печали и гордости, когда мы печалимся о скоротечности всех устремлений и гордимся волей, которая все же снова



и снова пытается выразить в символах свою принадлежность непреходящему.

Но эта воля жива также и в нас, в нашей деятельности.

## 18

Отражение воли, которая на границах времени как бы плавится и очищается от игры и контригры намерений, мы попробуем отыскать и на границах пространства.

Большие города, в которых мы живем, по праву представляются нам как средоточия всех мыслимых противоречий. Две улицы могут быть более удалены друг от друга, чем северный полюс от южного. Холодность отношений между отдельными людьми, прохожими здесь чрезвычайна. Здесь все занято приобретением, развлечениями, общением, борьбой за экономическую и политическую власть. Каждое здание построено по определенному плану и с определенной целью. Стили многократно переплетены друг с другом; старые культовые сооружения взяты в кольцо вокзалов и торговых домов, в пригородах крестьянские дворы все еще вкраплены в сеть фабрик, спортплощадок и фешенебельных кварталов.

Так вот, это целое можно понимать по-разному, в зависимости от того, какие выбраны средства и какие поставлены вопросы. Без сомнения, в нем сосредоточены производство и потребление, эксплуатация, все общественные отношения, понимание порядка, преступления и всего остального.

Каждая из функционально связанных между собой частных наук способна подвести под эти механизмы

общий знаменатель своих понятий, и новые науки возникают ежедневно, по мере возникновения потребностей. Для социолога целое является социологическим, для биолога — биологическим, для экономиста — экономическим в каждой детали, начиная с систем мысли и кончая пфенниговой монетой. Этот абсолютизм есть неоспоримая привилегия понятийного созерцания — при условии, что сами понятия образованы чисто, т.е. по законам логики.

Несмотря на это, в таком городе живут миллионы людей, которые способны оценивать свое положение, скорее, благодаря непосредственному, а не абстрактному созерцанию, — и сообразно этому множатся высказывания о целях их существования. Наконец, помимо того, что здесь предпринимается множество попыток художественного проникновения в действительность, все эти дополнения к человеческой комедии, в свою очередь, могут осуществляться по различным рецептам идеалистических, романтических или материалистических школ. Однако довольно, — бесконечные возможности дифференциации слишком хорошо известны. В той мере, в какой некая сила способна отказаться от них, она дает знать о размахе своих притязаний.

Представим теперь этот город на большем отдалении, чем это может быть нынче достигнуто с помощью наших средств, — как если бы мы, к примеру, наблюдали его в телескоп с поверхности Луны. На таком большом расстоянии различные цели и замыслы сливаются друг с другом. Отношение наблюдателя становится каким-то более холодным и в то же время более заинтересованным, во всяком случае оно становится иным, нежели то отношение, в котором там, внизу,

единичный человек находится к целому как его часть. То, что может открыться взору, — это зрелище некоей особой структуры, относительно которой по разнообразным признакам угадывается, что питают ее соки великой жизни. Мысль о ее дифференциации является здесь настолько же чуждой, насколько единичному человеку чуждо стремление смотреть на себя в микроскоп, то есть рассматривать как некую сумму клеток.

От взгляда, который космическое расстояние отделяет от игры и контригры этих движений, не может укрыться, что здесь он имеет дело с пространственным отражением некоего единства. Этот способ рассмотрения отличается от попыток постичь единство жизни в его наиболее упрощенном виде, а именно, как прибавление одного к другому, тем, что благодаря ему схватывается результат творческой деятельности, произведение труда, возникающее вопреки всем противоречиям или с их помощью.

## 19

Разумеется, мы знаем, что человеку не дано видеть свое время глазами археолога, которому открывается его тайный смысл, скажем, при взгляде на электрическую машину или скорострельное оружие. Не являемся мы и астрономами, коим наше пространство представляется как некое геометрическое строение, где в скрытой системе координат становятся непосредственно ясны силы действия и противодействия.

Позиция единичного человека отягощена, скорее, тем, что он сам представляет собой противоречие, т. е. находится на передовом рубеже борьбы и работы.

Удерживать эту позицию и тем не менее не растворяться в ней, быть не только материалом, но в то же время и носителем судьбы, постигать жизнь не только как поле необходимости, но и как поле свободы — способность к этому уже была нами охарактеризована как героический реализм. Эта способность, это действительно роскошное преимущество поколения, испытывающего предельную угрозу, лежит в основе того странного спектакля, в котором нас заставляет участвовать время и который состоит в том, что посреди наполненного анархической враждебностью пространства начинает прорастать единый слой вождей.

В той степени, в какой единичный человек чувствует свою принадлежность к миру работы, его героическое восприятие действительности сказывается в том, что он постигает себя как представителя гештальта рабочего. Этот гештальт мы очертили как глубочайшую опору, как действующее и одновременно страдающее субстанциальное ядро этого нашего мира, всецело отличного от всякой возможности иного рода. Скрытым стремлением представлять эту субстанцию объясняется бросающаяся в глаза согласованность потребительских идеологий, во множестве своих оттенков развивающихся в современной борьбе за власть. Поэтому едва ли найдется такое движение, которое могло бы отказаться от притязания быть рабочим движением, и нет ни одной программы, в первых положениях которой нельзя было бы обнаружить слово «социальный».

Нужно увидеть, что здесь наряду с этой смесью экономии, сострадания и подавления, наряду с зеркальными чувствами обездоленных начинает все яснее заявлять о себе воля к власти, или, скорее, что давно уже

налицо та новая действительность, которая во всех областях жизни стремится обрести свое однозначное выражение в борьбе. Разнообразие формулировок, с которыми экспериментирует воля, не имеет значения перед лицом того факта, что существует лишь *одна* форма, в которой вообще можно чего-либо желать.

Хитрые ловцы голосов, торговцы свободой, паяцы власти, которые в состоянии постигнуть смысл лишь как цель, а единство — лишь как число, обеспокоены смутным предчувствием той новой величины, в качестве каковой свобода должна выступить посреди мира работы. Но поскольку они всецело зависят от моральной схемы коррумпированного христианства, где сама работа является злом и где библейское проклятие переносится на материальное отношение между эксплуататорами и эксплуатируемыми, они оказываются не способны увидеть в свободе ничего, кроме чего-то негативного, кроме избавления от каких-либо зол.

Однако ничто так не очевидно как то, что в мире, где имя рабочего обладает значением рангового отличия, а работа постигается как его собственная внутренняя необходимость, свобода представляет собой выражение именно этой необходимости, или, иными словами, что всякое притязание на свободу выступает здесь как притязание на работу.

Только тогда, когда притязание на свободу выходит на свет в этой оправе, может идти речь о господстве рабочего, о его эпохе. Ибо дело не в том, что власть захватывает новый политический или социальный слой, но в том, что пространство власти наполняет и наделяет смыслом новое человечество, равное всем великим гештальтам истории. Мы отказались видеть в рабочем представителя нового сословия,

нового общества, новой экономики потому, что он является либо уже ничем, либо чем-то большим, а именно: представителем своеобразного гештальта, действующего по собственным законам, следующего собственному призванию и причастного особой свободе. Как рыцарская жизнь выражалась в том, что каждая деталь жизненной позиции была проникнута рыцарским смыслом, точно так же и жизнь рабочего либо автономна, является выражением самой себя и тем самым господства, либо она есть не что иное, как стремление получить долю обветшавших прав, долю выцветших наслаждений ушедшей эпохи.

Чтобы это постичь, нужна, правда, способность к иному пониманию работы, нежели обычное ее понимание. Необходимо знать, что в эпоху рабочего, если он носит свое имя по праву, а, например, не так, как все современные партии, называющие себя рабочими, — не может быть ничего, что не было бы достигнуто как работа. Темп работы — это удар кулака, биение мыслей и сердца, работа — это жизнь днем и ночью, наука, любовь, искусство, вера, культ, война; работа — это колебания атома и сила, которая движет звездами и солнечными системами.

Но эти и многие другие притязания, о которых еще придется говорить, в особенности же притязание на способность к наделению смыслом, суть признаки пробивающегося слоя господ. Вчера вопрос ставился так: как рабочий может получить свою долю в экономике, богатстве, в искусстве, образовании, в жизни большого города, в науке? Но завтра он прозвучит иначе: как будут выглядеть все эти вещи в пространстве власти рабочего, и какое значение им будет отведено?

Всякое притязание на свободу в мире работы возможно, таким образом, лишь постольку, поскольку оно выступает как притязание на работу. Это означает, что мера свободы единичного человека строго соответствует той мере, в какой он является рабочим. Быть рабочим, представителем великого, вступающего в историю гештальта, означает быть причастным к новому человечеству, судьбой определенному к господству. Возможно ли, чтобы это сознание новой свободы, сознание своего присутствия в решающем месте, в равной мере ощущалось как в пространстве мышления, так и за гремящими машинами и в механической сутолоке городов? Мы не только располагаем приметам того, что это возможно, но верим даже, что в этом состоит предпосылка всякого действительного вмешательства, и что здесь-то и расположен узловой пункт изменений, о которых не мог и мечтать никакой избавитель.

В тот самый момент, когда человек обнаруживает в себе господина, носителя новой свободы, в каком бы положении это ни происходило, его отношения становятся в корне иными. Если это постичь, то очень многие вещи, которые сегодня еще представляются желанными, окажутся ничтожны. Можно предвидеть, что в чистом мире работы тяготы единичного человека не только не уменьшатся, но даже еще более возрастут, — но в то же время высвободятся совершенно иные силы, чтобы преодолеть их. Новое сознание свободы полагает новые иерархические отношения, и здесь кроется более глубокое счастье, лучше снаряженное для отречения, если о счастье вообще может идти речь.

## 20

Там, где посреди крайних лишений растет ощущение великих жизненных задач, — а это ощущение, отдельные картины которого мы попытались представить, действительно растет, — должны возникнуть чрезвычайные вещи.

Строгая дисциплинированность поколения, формирующегося в пустыне насквозь рационализованного и морализированного мира, дает повод к сравнению с развитием пруссачества. Следует сказать, что прусское понятие долга по его интеллигентному характеру вполне может быть помещено в мире работы, однако мера выдвигаемых здесь притязаний значительно больше по своему охвату. Не случайно, что прусскую философию можно обнаружить повсюду, где в мире наблюдается приложение новых усилий.

В прусском понятии долга происходит обуздание стихийных сил, как оно запомнилось в ритме маршей, в смертном приговоре наследникам короны или в великолепных сражениях, которые приходилось выигрывать силами укрощенного дворянства и выдрессированных наемников.

Единственно же возможный наследник пруссачества, рабочий, не исключает стихийное, а заключает его в себе; он прошел школу анархии, прошел через разрушение старых уз, и поэтому ему приходится осуществлять свое притязание на свободу в новом времени, в новом пространстве и через новую аристократию.

Своеобразие и размах этого процесса зависят от отношения рабочего к власти.



## ВЛАСТЬ КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕШТАЛЬТА РАБОЧЕГО

### 21

Доказать общезначимость воли к власти удалось рано — в той работе, которая сумела подвести мины даже под самые глубокие ходы морали старого образца и перехитрить каждую из ее хитростей.

Эта работа двулика, поскольку она, с одной стороны, принадлежит времени, когда открытие всеобщих истин еще считается ценным, в то время как, с другой стороны, превосходя эту точку зрения, она в самой истине видит выражение воли к власти. Здесь происходит решающий взрыв; однако как смогла бы жизнь дольше одного скоротечного мгновения пребыть в этом более крепком и чистом, но в то же время смертельном воздухе пананархического пространства, перед лицом этого моря «бурлящих и хлещущих внутренних сил», если бы она тут же не бросилась в суровейшие воды прибоя как носитель вполне определенной воли к власти, у которой есть собственная форма и собственные цели?

Ничто так не годится для поддержания воинской морали высшего ранга, как великое зрелище находящегося в непрестанном волнении мира. Но тут встает вопрос о легитимации, вопрос об особенном и необходимом, но ни коим образом не волей определяемом отношении к власти, которое можно определить и как некое задание.

Как раз эта легитимация и дает бытию явиться уже не как чисто стихийной, но как исторической власти. Мера легитимации определяет меру господства, которой можно достичь благодаря воли к власти. Господ-

ством мы называем состояние, в котором безграничное пространство власти стягивается в точку, откуда оно проявляется как пространство права.

Чистая воля к власти, напротив, легитимирована столь же мало, как и воля к вере, — в двух этих позициях, в которых романтика оказалась сломлена, находит свое выражение не полнота, а ощущение ущербности.

## 22

Как нет абстрактной свободы, так нет и абстрактной власти. Власть — это знак существования, и соответственно тому нет средств власти самих по себе, но свое значение эти средства обретают благодаря бытию, которое их использует.

В эпоху мнимого господства бюргера либо уже, либо все еще нельзя говорить о власти. Разрушение абсолютного государства при помощи всеобщих принципов видится как грандиозный акт ослабления и обесценивания уже сформировавшегося мира. В измененной же перспективе это сравнение всяческих границ представляется актом тотальной мобилизации, приготовлением господства новых, иных величин, появление которых не заставит себя ждать.

В истории географических и космографических открытий, в тех изобретениях, тайный смысл которых открывается в неистовой воле к всевластию, всеприсутствию и всезнанию, к дерзкому «*Eritis-sicut-Deus*»,\* дух словно опережает самого себя, чтобы накопить материал, ожидающий упорядочения и проникнове-

---

\* «Станете как боги» (лат.).

ния власти. Так возникло хаотическое нагромождение фактов, властных средств и возможностей движения, лежащих в качестве готового инструментария для великолепнейшего господства.

Собственная причина сильно возросших и повсюду распространившихся мировых страданий состоит в том, что такое господство еще не претворено в действительность, и поэтому мы живем в такое время, когда средства более важны, чем человек. Тем не менее все столкновения, всякая борьба, наблюдаемые нами в народах и между народами, подобны постановке задач, от решения которых ожидается установление новой и более решительной власти. Последняя, пока еще не истекшая фаза развития старого мира состоит в том, что каждая из его сил пытается вооружиться империалистическими притязаниями.

Подобные притязания выдвигаются сегодня не только нациями и культурами, но и духовными, экономическими и техническими образованиями самой разной природы. Здесь вновь можно наблюдать, как эпоха либерализма создавала предпосылки для этих совершенно новых по своему виду усилий. Из формального умения полагать известные ценности в качестве общезначимых извлекли себе выгоду очень разные и отчасти очень чуждые либерализму силы, — здесь образовалась среда, придающая большую действительность языку.

Эту современную методiku не следует ни переоценивать, ни недооценивать; ее правильно оценят тогда, когда узрят в ней новую тактику, формы которой получают цель и содержание лишь благодаря власти, которая использует их. Вечно ошибочное упущение состоит в том, что обычно эти формы принимаются

всерьез сами по себе. Поэтому выражение «захват власти» принадлежит к фразам, которыми обессилевшая жизнь любит прикрывать свою несостоятельность. Ничто так не подходит для того, чтобы обнажить эту несостоятельность, как та ситуация, которая дает ей в руки средства власти.

Где бы ни заявляло о себе состояние чистого движения, слишком дешевого недовольства, везде всплывает власть как цель всех целей, как панацея политических торговцев опиумом. Однако власть, как и свобода, не есть величина, которую можно захватить где-то в пустом пространстве, величина, в отношении с которой может вступить по своему произволу любое ничто. Скорее, она неразрывно связана с прочным и определенным жизненным единством, с не подлежащим сомнению бытием, — и именно выражение такого бытия является властью, и без него демонстрация инсигний лишается своего значения.

В этом смысле субстанциальная власть, присущая настоящему рабочему движению, намного важнее, чем борьба за абстрактную власть, обладание или не обладание которой столь же несущественно, как и обладание или не обладание абстрактной свободой.

То, что рабочий действительно занимает решающую позицию, можно заключить уже из того, что сегодня каждая величина, обладающая волей к власти, пытается установить с ним связь. Так, имеются разного рода рабочие партии, рабочие движения, рабочие правительства. Не раз случалось в наше время переживать «завоевание государства» рабочим. В этом спектакле не много проку, если в результате мы получаем упрочение бюргерского порядка и еще один настой либеральных принципов. Такого рода опыт

свидетельствует, во-первых, о том, что то, что сегодня понимают под государственной властью, не имеет сущностного характера, а во-вторых, из него можно заключить, что рабочий еще не постиг себя в своей инаковости.

И все же именно эта инаковость, это своеобразное бытие рабочего, которое мы обозначили как его гештальт, намного более значимо, чем та форма власти, которой вообще нельзя желать. Это бытие есть власть в совершенно ином смысле, это изначальный капитал, вкладываемый и в мир, и в государство, и выковылаивающий для себя свои собственные организации, свои собственные понятия.

Поэтому в мире работы власть не может быть ни чем иным, кроме как репрезентацией гештальта рабочего. В этом состоит легитимация новой, особенной воли к власти. Эту волю узнают по тому, что она господствует над своими средствами и своим наступательным оружием и находится к ним не в производном, а в субстанциальном отношении. Такое оружие не обязательно должно быть новым; подлинная сила отличается, скорее, тем, что она открывает неведомые резервы в том, что уже давно известно.

Легитимированная гештальтом рабочего власть, поскольку она, к примеру, выступает как язык, должна столкнуться с рабочим как с совершенно иным слоем, чем тот, который можно схватить в категориях XIX века. Она должна столкнуться с человечеством, которое постигает свое притязание на свободу как притязание на работу и уже обладает чутьем для нового языка приказов. Уже одно наличие такой породы людей, одно использование такого языка несет для либерального государства бóльшую угрозу,

нежели вся игра социальных механизмов, которой никогда не устранить либерализм уже потому, что она принадлежит к его изобретениям.

Каждая позиция, которой дано действительное отношение к власти, может быть также узнана по тому, что она постигает человека не как цель, а как средство, как носителя власти, а равно и свободы. Человек везде разворачивает свою высшую силу, разворачивает свое господство там, где он состоит на службе. Тайна подлинного языка приказа в том, что он не дает обещаний, а предъявляет требования. Глубочайшее счастье человека состоит в том, что он приносится в жертву, а высочайшее искусство приказа — в том, чтобы указывать цели, достойные жертвы.

Существование нового человечества — это еще неостребованный капитал. Это человечество есть острейшее оружие нападения, высшее средство власти, находящееся в распоряжении у гештальта рабочего.

Уверенное обращение с этим средством власти, его точное использование есть надежный признак того, что в дело вступило новое искусство управления государством, новая стратегия.

## 23

Рангом наступательного оружия равным образом обладают и средства разрушения, с помощью которых гештальт рабочего окружает себя зоной уничтожения, не будучи сам подвержен его воздействию.

Сюда относятся системы динамической мысли, направленные против участков ослабевшей веры, где

обессилел меч государства и потух костер инквизиции. Каждый подлинный инстинкт узнается по тому, насколько для него ясно, что, в сущности, речь здесь не может идти ни о новых познаниях, ни о новых закономерностях, но все дело в вопросе о новом господстве, которое становится главной ставкой в игре во всех сферах жизни.

Этот вопрос уже разрешен в негативном смысле, а именно в том, что преграды на пути к истинной власти не преодолеть никакой силой, за исключением одной-единственной. Пожалуй, следует различать между зоной, в которой человек является объектом или субъектом разрушения, и другой зоной, в которой он возвышается над разрушением. Тут можно наблюдать, что как раз мнимая общезначимость ситуации дает особо опасные средства власти в руки той силе, которая способна справиться с ними. Эта игра относится к числу тех, в которых будто бы может выиграть каждый участник, на самом же деле — только мечущий банк.

Это следует знать, если мы хотим оценить властный ранг таких конкретных состояний динамической мысли, как техника. Техника тоже есть будто бы общезначимая, нейтральная область, доступ к которой открыт для какой угодно силы. С формальной точки зрения безразлично, приобретает ли частный человек, движимый волей к выгоде, фабрику машин, проводится ли электричество в хижину или дворец, использует ли папская энциклика радио, или какой-либо цветной народ устанавливает механические ткацкие станки и спускает на воду тяжелые крейсера. Однако то, что скрывается за этими изменениями, темпу которых мы уже устали изумляться, — совсем

иные вопросы, нежели вопросы практики или комфорта.

Слова о победоносном шествии техники — пережиток терминологии Просвещения. Их можно пророчить, когда видишь трупы, которые это шествие оставляет на своем пути. Нет техники самой по себе, как нет и разума самого по себе; у любой жизни есть техника, соразмерная, врожденная ей. Принятие чуждой техники есть акт подчинения, последствия которого тем более опасны, что первоначально он осуществляется в сфере духа. Здесь потеря будет обязательно больше, чем приобретений. Машинная техника должна быть понята как символ особого гештальта, а именно гештальта рабочего, — пользуясь ее средствами, мы поступаем так же, как если бы перенимали ритуал чуждого культа.

Этим объясняется и то, почему везде, где техника наталкивалась на еще сохранившиеся под бюргерским покровом остатки трех старых, «вечных» сословий, вторжение ее форм встречало особо решительное сопротивление. По-видимому, рыцари, священники и крестьяне ощущали, что здесь предстояло потерять намного больше, чем вообще мог себе представить бюргер, — поэтому заманчиво проследить за их борьбой, которая часто граничит с трагикомедией. Но прихоть того артиллерийского генерала, который пожелал, чтобы над его могилой почетный салют прогремел не из нарезных стволов, а из старых орудий дульного заряжения, была не лишена смысла. Настоящий солдат с большой неохотой прибегает к новым боевым средствам, которые техника предоставляет ему в распоряжение. В современных армиях, вооруженных по последнему слову техники,



сражается уже не сословное рыцарство, пользующееся этими техническими средствами, — в этих армиях находит свое выражение в военной сфере гештальт рабочего.

Подобно этому ни один христианский священник не может колебаться в том, чтобы в неугасимой лампаде, заменяемой электрической лампой, видеть не сакральное, а техническое обстоятельство. Но поскольку, как мы видели, чисто технических обстоятельств не бывает, не подлежит сомнению, что здесь заявляют о себе приметы чего-то чуждого. Поэтому там, где сословие священников отождествляет царство техники с царством сатаны, в них говорит еще более глубокий инстинкт, чем там, где они устанавливают микрофон рядом с Телом Христовым.

Таким же образом, везде, где крестьянин пользуется машиной, уже нельзя вести речь о крестьянском сословии. Неповоротливость этого сословия, зачастую оттененная предрассудками и в XIX веке нередко служившая предметом жалоб агрохимиков, механиков и экономистов, происходит не из-за недостатка экономического чутья, а из-за врожденного дальтонизма в отношении совершенно определенного вида экономики. Так получается, что фермы и плантации колониальных областей зачастую обрабатываются машинами, которым еще закрыт доступ на пашню, лежащую рядом с фабрикой, которая производит эти машины. Крестьянин, который начинает работать не с лошадьми, а с лошадиными силами, более не относится ни к какому сословию. Он является рабочим на особых условиях и содействует разрушению сословных порядков точно так же, как и его предки, непосредственно переданные промышленной сфере. Новая

постановка вопроса, свою зависимость от которой он сознает, для него не менее, чем для заводского рабочего гласит: либо представлять гештальт рабочего, либо погибнуть.

Мы находим здесь новое подтверждение тому, что под рабочим не следует понимать ни сословие в старом смысле слова, ни класс в смысле революционной диалектики XIX века. Напротив, притязания рабочего выходят за пределы всех сословных притязаний. В частности, мы никогда не получим каких-либо надежных результатов, если станем отождествлять рабочего просто с классом заводских рабочих, т.е. вместо того, чтобы видеть гештальт, удовольствуемся одним из его проявлений, — наш взгляд окажется замутнен и не сможет различить действительные отношения власти. Правда то, что в промышленном рабочем нужно усматривать особо закаленную породу, благодаря которой прежде всего стала отчетливо видна невозможность продолжать жизнь в старых формах. Использовать же его в духе классовой политики старого стиля означает лишь растрачивать себя на достижение частных результатов там, где дело идет о последних решениях.

Эти решения предполагают более холодное и дерзкое отношение к власти, которое прошло и преодолело зеркальные чувства угнетенных и любовь к устаревшим вещам.

## 24

Круг земной покрыт обломками разбитых картин. Мы принимаем участие в спектакле упадка, который можно сравнить лишь с геологическими катастрофа-

ми. Разделять пессимизм подвергшихся разрушению или плоский оптимизм разрушителей означало бы зря терять время. В пространстве, до самых своих пределов очищенном от любого действительного господства, воля к власти разбита на атомы. И все-таки эпоха масс и машин представляет собой гигантскую кузницу поднимающейся империи, в аспекте которой любой упадок является желанным, является неким приготовлением.

Мнимая общезначимость всех ситуаций создает обманчивую среду, которая неприметно пригибает к земле побежденных, и там, где они помышляют о выборе или даже о хитрости, делает их объектами еще не персонифицированной воли. Средства власти, которые так легко, слишком легко предоставляются в распоряжение любой силе, с дьявольской неотвратимостью увеличивают тяжесть всякого бремени, и никакого сомнения не остается по крайней мере в общезначимости страдания.

Однако далеко не всем доступно то место, где не хватаются за нож и где возможно овладение этими средствами. Это овладение весьма отлично от простого использования. Оно есть признак господства, легитимированной воли к власти. Осуществление этого господства чрезвычайно важно для всего мира, хотя оно может произойти лишь в отдельной его точке. Лишь исходя из такой точки могут быть решены те второстепенные вопросы, которые кажутся современному человеку наиважнейшими именно потому, что нехватка господства проявляется в них в сопровождении симптомов страдания. Сюда относятся урегулирование мировых экономических и технических функций, производство и распределение благ, ограничение и разделение национальных задач.

Разумеется, новый мировой порядок как следствие мирового господства не является подарком неба или порождением утопического разума, но создается в рабочем ритме череды мировых и гражданских войн. Небывалый рост вооружения, наблюдаемый во всех пространствах и во всех областях жизни, свидетельствует о намерении человека выполнить эту работу. Именно это наполняет надеждой всякого, кто в глубине души любит человека.

Симптоматично, что сегодня в борьбе за власть внутри государств прибегают к революционным знаменам, а при столкновении государств между собой — к знаменам мировой революции, и при этом связывают себя с рабочим. Нужно выяснить, какое из многообразных проявлений воли к власти, чувствующих свое призвание к ней, обладает легитимностью. Доказательство этой легитимации состоит в овладении вещами, вышедшими из повиновения, — в обуздании абсолютного движения, которое по силам лишь новому человечеству.

Мы верим, что такое человечество уже народилось.

## ОТНОШЕНИЕ ГЕШТАЛЬТА К МНОГООБРАЗНОМУ

### 25

В ходе предшествующего изложения мы ставили своей задачей дать представление о том способе, каким гештальт начинает поступать в человеческом составе. Следует сказать еще несколько слов о том смысле, в котором становится понятна необходимость этой задачи и пределами которого она должна быть ограничена.

Прежде всего, этот смысл нельзя видеть в преследовании особого интереса. Дело, стало быть, не в том, чтобы дополнять число многообразных представительства, которые уже нашел или еще найдет для себя рабочий, еще одним, которое по обыкновению притязало бы на особую истину и решимость, для того чтобы привлечь к себе часть повсюду свободных сегодня сил веры и воли.

Нужно, скорее, знать, что такой гештальт стоит вне диалектики, хотя питает диалектику и придает ей содержание из своей субстанции. Он есть бытие в наиболее значительном смысле, и в случае единичного человека это выражается в том, что он или является рабочим, или не является им, — напротив, полностью безразлично голое притязание на то, чтобы быть рабочим. Это вопрос легитимации, которая ускользает как от воли, так и от познания, не говоря уже о социальных или экономических показателях.

Однако подобно тому как не может идти речь о том, чтобы представлять себе какую-нибудь партию в качестве решающей инстанции, так и под словом «рабочий» нельзя понимать описание некоего целого,

некой общности, народного благосостояния, идеи, некой органичности, или каких бы то ни было других величин, с помощью которых дух — особенно в Германии — привык праздновать над действительностью свой квиетистский триумф. Это словарь стекольщиков, и, на худой конец, с ним можно смириться, когда все остается в порядке.

Однако новый образ мира намечается не в размытии противоположностей, а в том, что они становятся более непримиримыми и что каждая, даже самая отдаленная область приобретает политический характер. Скрытый за обилием конфликтов контур становящегося гештальта угадывается не по тому, что партнеры объединяются, а по тому, что очень сходными становятся их цели, так что все однозначнее выделяется лишь одно направление, которое вообще может принимать воля.

Для всякого, кто не намерен довольствоваться одним лишь созерцанием, это означает не упразднение, а обострение конфликта. Пространство для самоутверждения становится более тесным. Отсюда превосходство над партиями достигается не за счет отхода от них, а за счет их использования. Действительная сила использует свое преобладание не для того, чтобы обойти противоположности, а для того, чтобы пройти через них. Она узнается не по тому, что с чувством собственного превосходства греется в лучах солнца, озирая с наблюдательной вышки некое иллюзорное целое, но по тому, что пытается отыскать целое в борьбе и вновь возвышается над партийным делением, в котором расплывается и гибнет любая более ограниченная способность. В преобладании, в избытке выдает себя связь с гештальтом, — связь,

которая во временном измерении воспринимается как отношение к будущему.

Это преобладание и есть то, что в зоне борьбы проявляется как внутренняя достоверность, а после прохождения через нее — как господство. Здесь же, в государствах и империях, коренится та справедливость, действовать по которой могут лишь силы, которые больше, чем партия, больше, чем нация, больше, чем какие-либо разрозненные и ограниченные величины, — а именно силы, которым было дано задание.

Поэтому нужно разобраться в том, откуда мы получаем это задание.

## 26

Во-вторых, в отношении гештальта необходимо освободиться от идеи развития, которая, не менее чем психологический и моральный способы взгляда на вещи, всецело владеет нашей эпохой.

Гештальт *есть*, и никакое развитие не увеличивает его и не уменьшает. История развития есть потому не история гештальта, а в крайнем случае динамический комментарий к нему. Развитию ведомы начало и конец, рождение и смерть, — гештальт же свободен от них. Подобно тому как гештальт человека существовал до его рождения и пребудет после его смерти, исторический гештальт, в сущности, не зависит от времени и обстоятельств, которые будто бы создают его. Находящиеся в его распоряжении средства выше по рангу, а их плодотворность непосредственна. История не порождает гештальты, она изменяется вместе

с гештальтом. Она есть традиция, облекающая самое себя победоносной властью. Как римские фамилии возводили свое происхождение к полубогам, так и гештальт рабочего будет стоять в начале новой истории.

Констатировать это необходимо постольку, поскольку сегодня всякое истолкование нашей эпохи проникнуто оптимистическими или пессимистическими настроениями, в зависимости от того, считают ли то или иное развитие завершенным или еще находящимся в самом разгаре.

В противоположность этим взглядам мы назвали героическим реализмом позицию новой породы, которой известна как наступательная работа, так и защита безнадежных постов, в то время как улучшение или ухудшение породы является для нее второстепенным. Есть вещи важнее и ближе, чем начало и конец, жизнь и смерть. Бросая все силы в бой, всегда можно достичь высшей цели; примером служат погибшие в мировой войне, чье значение ни на малую долю не уменьшается оттого, что пали они именно в это, а не в какое-либо иное время. Они погибали ради будущего в той же мере, что и ради духа традиции. В момент превращения, ведущего через смерть, это различие исчезает в сплаве, имеющем более высокое значение.

В этом духе и нужно воспитывать юношество. набросок контуров гештальта ничего обещать не может; самое большее, он может символизировать то обстоятельство, что сегодня жизнь, как и прежде, обладает высоким рангом и что тому, кто умеет жить, жить, по-видимому, стоит.

Конечно, это предполагает своеобразное, не унаследованное и не приобретенное, сознание иерархи-



ческих отличий, которым вполне может располагать как раз очень простая жизнь и в котором нужно видеть примету новой аристократии.

## 27

В-третьих, с предыдущим связано то обстоятельство, что вопрос о ценности не является решающим. Подобно тому как гештальт нужно искать по ту сторону воли и вне идеи развития, он обретается и по ту сторону ценностей: он не имеет качества.

Сравнительная морфология, как ее ныне практикуют, не позволяет поэтому сделать сколь-нибудь значимый прогноз. Скорее, она остается музейным делом, занятием для коллекционеров, романтиков и любителей высокого стиля. Многообразие минувших времен и отдаленных пространств надвигается подобно многокрасочным и обольстительным звукам оркестра, который ослабевшая жизнь способна привлечь разве лишь для инструментовки этой своей слабости. Но недостаточность не становится более достаточной оттого, что, позаимствовав где-то львиную шкуру, критикует самое себя. Эта позиция подобна позиции того состарившегося вместе с линейной тактикой генерала, который не хочет признать свое поражение потому, что оно было достигнуто против правил искусства.

Однако в этом смысле у искусства нет никаких правил. Новая эпоха решает, что нужно считать искусством и его критерием. Две эпохи различаются между собой не более высокой или более низкой ценностью, а только своей инаковостью. Поэтому

затрагивать здесь вопрос о ценности означает вводить правила игры, которые были бы неуместны. Что в ту или иную эпоху умели, скажем, писать картины, может считаться критерием только там, где это умение остается еще предметом тщеславия для уже недостающих способностей: там живут, пользуясь уже оплаченным кредитом. Важнее отыскать места, в которых кредит нам предоставляет *наше* время.

Мы живем в таком состоянии, когда очень трудно сказать, что вообще достойно уважения, если, конечно, не ограничиваться пустыми фразами, — в таком состоянии, когда нужно сперва научиться видеть. Происходит это оттого, что одна иерархия сменяет другую не непосредственно, но что, напротив, марш ведет через такие участки, где ценности скрывает полумрак и где руины кажутся более важными, нежели недолговечное прибежище, которое мы покидаем каждое утро.

Здесь нужно пройти ту точку, с которой ничто кажется более желанным, чем любая вещь, в коей осталась еще хоть какая-то возможность усомниться. Здесь мы столкнемся с обществом примитивных душ, с той первобытной расой, которая еще не выступала субъектом какой-либо исторической задачи и потому открыта для постановки новых задач.

Лишь отсюда обнаруживается новая и более значимая система отсчета. Здесь нет такой валюты, которую принимали бы на веру и честное слово. Старые монеты либо выбрасывают, либо ставят на них новый оттиск, — причем не обязательно знать, имеет или не имеет металл, из которого они чеканятся, абсолютную ценность. Ценности полагаются в связи с бескачественным, но творческим гештальтом. Поэтому они

относительны, хотя и в духе воинственной односторонности, оспаривающей всякое стороннее возражение. Поэтому не только возможно, но даже вполне вероятно, что наши обстоятельства уже представлялись в видениях раннехристианским монахам и встречались ими в ценностный порядок, скажем, как пришествие антихриста. Подобное суждение может иметь вес в той же мере, в какой оно в измененной перспективе может рассматриваться как необязательное или как материя самооценки. Тайна, которая скрывается за этим противоречием, не имеет отношения к нашей теме: она относится не к вопросам высшего военного искусства, а к вопросам теологии.

Эти ограничения позволяют понять, что гештальт нельзя описать в привычном нам смысле. Наш глаз расположен по эту сторону призмы, разделяющей цветовой луч на множество радужных оттенков. Мы видим металлические опилки, но не видим магнитного поля, действительность которого задает их расположение. Так с появлением новых людей изменяется и вся сцена, словно какой-то волшебный режиссер приводит ее в движение. Вечный спор начинает вращаться вокруг иных вопросов, и иные вещи становятся желанными. Все издавна уже было тут, и все решительным образом ново. Диву даешься, когда догадываешься, насколько человек глубже, чем его проявление, которое предстает перед нами, — насколько он тоньше своих замыслов, которые стремится преследовать, насколько значительнее самых дерзких систем, с помощью которых способен свидетельствовать в свою пользу.

Если при описании некоторых показавшихся нам важными перемен в человеческом составе нам удалось

везде, где идет речь о гештальте, приоткрыть окно и оставить свободное место, которое может быть лишь обрамлено средствами языка и которое читатель должен заполнить с помощью деятельности иной, чем чтение, то эту предварительную часть нашей задачи мы будем считать выполненной.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## О РАБОТЕ КАК СПОСОБЕ ЖИЗНИ

28

Процесс, в ходе которого новый гештальт, гештальт рабочего, воплощается в особом человечестве, в связи с освоением мира выступает как появление нового принципа, имя которому — *работа*. Этим принципом определяются единственно возможные в наше время формы полемики; он подводит основу, на которой только и может произойти осмысленная встреча, если таковая вообще имеется в виду. Здесь располагается арсенал средств и методов, по уверенному обращению с которыми можно распознать представителей становящейся власти.

Всякого, кто вообще готов допустить, что с миром происходит решающая перемена, заключающая в себе собственный смысл и собственную закономерность, изучение этого меняющегося способа жизни убеждает в том, что рабочего следует понимать как субъект такого изменения. Если плодотворный анализ, стремящийся в деталях прийти к непротиворечивым результатам, должен рассматривать рабочего как представителя нового человечества совершенно независимо от какой бы то ни было оценки, то и сама работа должна предстать для него в первую очередь как новый способ жизни, объектом которого является

земной круг и который лишь в соприкосновении с многообразием этого круга обретает ценность и отличительные особенности.

В этом смысле значение нового принципа следует искать вовсе не в том, что он возводит жизнь на более высокий уровень. Скорее, оно заключается в инаковости — в непреложной инаковости как таковой. Так применение пороха изменяет образ войны, но о нем все же нельзя сказать, что он превосходит по рангу образ рыцарского военного искусства. И тем не менее с этого момента нелепо выходить на поле боя без пушек. Новый принцип узнается по тому, что его нельзя мерить старыми категориями и что его применения невозможно избежать, независимо от того, оказываемся ли мы субъектом или объектом этого применения.

Отсюда следует, что нужны новые глаза для того, чтобы увидеть, как изменилось значение слова «работа». Это слово не имеет ничего общего с моральным смыслом, как он выражен в изречении о работе «в поте лица». Мораль работы вполне может быть развита; в этом случае понятия работы применяются к понятиям морали, а не наоборот. В столь же малой степени работа является той работой *sans phrase*,\* которая в системах XIX века выступает как основная мера экономического мира. Если экономические оценки можно применять в очень широком, и даже, по-видимому, в абсолютном плане, то это объясняется тем, что работа подлежит в том числе и экономическому истолкованию, но не тем, что она равнозначна экономике. Она, скорее, мощно возвышается над

---

\* *Здесь: без дальнейших определений (фр.).*

всеми экономическими явлениями, которые могут быть определены ею не однозначно, а со многих сторон, и в сфере которых достижимы лишь частные результаты.

Наконец, работа не есть техническая деятельность. Бесспорно, что именно наша техника поставляет решающие средства, однако не они изменяют лицо мира, а самобытная воля, которая стоит за ними и без которой они не более чем игрушки. Техника ничего не экономит, ничего не упрощает и не решает, — она есть инструментарий, проекция особого способа жизни, простейшее имя которому — *работа*. Поэтому рабочий, заброшенный на необитаемый остров, остался бы рабочим, точно так же как Робинзон остался бюргером. Он не смог бы связать две мысли, испытать какое-либо чувство, созерцать вещи окружающего мира без того, чтобы в этих действиях отражалось это его особое свойство.

Итак, работа есть не деятельность как таковая, а выражение особого бытия, которое стремится наполнить свое пространство, свое время, исполнить свою закономерность. Поэтому ей неизвестна никакая противоположность вне ее самой; она подобна огню, пожирающему и преобразующему все, что может гореть и что можно у него оспорить только на основе его собственного принципа, только с помощью противопожария. Пространство работы не ограничено, подобно тому, как и рабочий день охватывает двадцать четыре часа. Противоположностью работы не является, к примеру, покой или досуг; напротив, в этой перспективе нет ни одного состояния, которое не постигалось бы как работа. В качестве практического примера можно привести тот способ, каким человек

уже сегодня организует свой отдых. Либо, как в случае спорта, он совсем неприкрыто носит характер работы, либо, как в случае развлечений, технических празднеств, поездок на природу, представляет собой окрашенный в игровые тона противовес внутри работы, но никак не противоположность ей. В связи с этим все более утрачивают смысл выходные и праздничные дни старого стиля — того календаря, который все менее отвечает измененному ритму жизни.

Нельзя не заметить, что эта всеобщая черта обнаруживается и в научных системах. Если мы, к примеру, рассмотрим тот способ, каким физика привносит движение в материю, каким зоология стремится угадать в протейческих усилиях жизни ее потенциальную энергию, каким психология старается даже сон или сновидение рассматривать в качестве действий, то станет ясно, что здесь за дело берется не просто познание, а некое специфическое мышление.

В таких системах уже заявляет о себе то, что они построены рабочим, и именно характером работы определяется их картина мира. Конечно, чтобы по-настоящему увидеть это, необходимо сменить точку зрения; нужно не заглядывать в перспективу прогресса, но выбрать такую точку, где эта перспектива становится неинтересной, — она утрачивает интерес потому, что особое тождество работы и бытия способно обеспечить новую надежность, новую стабильность.

Правда, эти системы *изменяют* тут свой смысл. В той мере, в какой утрачивает свое значение их познавательный характер, в них проникает своеобразный характер власти. Это напоминает процесс, в ходе которого какая-нибудь якобы мирная отрасль техни-



ки, скажем, парфюмерия, однажды оказывается производителем химического оружия и начинает использоваться в этом качестве. Чисто динамическое мышление, которое само по себе, как и любое чисто динамическое состояние, не может означать ничего иного кроме уничтожения, становится позитивным, становится оружием в силу того, что вступает в отношение к бытию, к гешталту рабочего.

Рассмотренный под таким углом зрения рабочий оказывается в точке, которая уже не доступна для разрушения. Это в равной мере справедливо как для мира политики, так и для мира науки. То, что в первом выделяется как отсутствие сущностной оппозиции, противоположности, во втором проявляется как новая непредвзятость, как положение *ratio*\* на новой службе у бытия, когда осуществляется прорыв сквозь зону чистого познания и его удостоверений, а значит, сквозь зону сомнения, и тем самым полагается возможность веры. Нужно занять такую позицию, которая позволит увидеть в разрушении не завершающий, а подготовительный этап. Нужно увидеть, что будущее способно вмешаться в дела прошлого и настоящего.

Работа, которая в отношении человека может расцениваться как способ жизни, а в отношении действительности его усилий — как принцип, в формальном отношении выступает как стиль. Три этих значения вступают друг с другом в многообразные комбинации, но восходят к одному и тому же корню. Правда, изменение стиля проявляется позднее, чем изменение человека и его устремлений. Это объясняется тем, что

---

\* Рассудка (*лат.*).

предпосылка такого изменения заключена в осознании, или, иначе говоря, что чеканка — это последний акт, которым определяется денежная единица. Так чиновник, солдат, сельский труженик или община, народ, нация, взятые в качестве примера, уже могут, сами того не сознавая, находиться в полностью изменившемся силовом поле. Этим фигурам, которые уже являются рабочими, хотя и не знают об этом, противостоят другие, которые считают себя рабочими, но еще не могут быть названы ими, — такие явления старая терминология пытается схватить, скажем, в понятии рабочего, лишенного классового сознания.

И тем не менее мы видели, что классового сознания в этом смысле недостаточно, что, будучи результатом бюргерского мышления, оно, напротив, способно привести лишь к продлению и утончению бюргерских порядков. Поэтому дело тут не в одном лишь классовом сознании, а в чем-то намного большем, ибо господство, о котором идет речь, носит тотальный характер, представление о котором может дать только широта размаха, а не какая-либо противоположность, не какое-либо последнее следствие в пределах старого мира.

Тот, кто желает господства подлинно производительных сил, должен также суметь, стремясь охватить целое, составить себе представление о подлинном производстве как о великом и всеобъемлющем плодородии. Ибо дело состоит не в том, чтобы схематизировать мир, мерить его мерой каких-либо частных притязаний, а в том, чтобы переварить его. Пока дело ведут однообразные умы, будущее не может выступить ни в каком ином аспекте, кроме как в аспекте ощущения пустоты в желудке. Но в той же мере, в

какой в основном принципе следует распознать простоту и независимость от оценок, нужно также увидеть, что возможности для принятия гешталтов бесконечны.

Тот факт, что в новом стиле еще не распознается, а только угадывается отпечаток измененного сознания, связан с тем, что прошедшее уже не действительно, грядущее же еще неприметно. Поэтому простиительно заблуждение, считающее унификацию старого мира решающим признаком нашего состояния. Этот способ унификации свойствен, однако, царству разложения, — это однообразие смерти, которая облекает собою мир. Река, уже изменившись, продолжает еще какое-то время лениво течь в привычных берегах, подобно тому, как поезда некоторое время строили еще на манер дилижансов, автомобили — на манер карет, фабрики — в стиле готических церквей, или подобно тому, как мы в Германии в течение пятнадцати лет после окончания мировой войны всё стремимся закутаться в покровы довоенных порядков. Но река скрывает в себе новые течения, новые тайны, и для того, чтобы их разглядеть, требуется оттачивать свой взгляд.

Разрушение инеем ложится на клонящийся к закату мир, наполненный стопами о безвозвратно ушедших временах. Эти стоны бесконечны, как и само время; это язык старости, которая находит в нем свое выражение. Однако как бы часто ни сменяли друг друга гешталты и их представители, сумма, потенция жизненной силы все же не может уменьшиться. Всякое покинутое пространство наполняется новыми силами. Если еще раз упомянуть о порохе, то сохранилось достаточно исторических свидетельств, проник-

нутых скорбью о гибели крепостей, оплотов гордой и независимой жизни. Но вскоре сыновья дворян появляются в королевских войсках; приходят иные интересы, за которые в иных битвах сражаются иные люди. Что остается — так это стихийная жизнь и ее мотивы, однако язык, на который она себя переводит, постоянно меняется, меняется и распределение ролей, в которых возобновляется великая игра. Герои, верующие и любящие не вымирают; их заново открывает каждая эпоха, и в этом смысле миф вторгается во все времена. Состояние, в котором мы находимся, подобно антракту, когда занавес уже упал и за ним спешно происходит смена актеров и реквизита.

Если появление стиля, обнаружение новых линий, можно понимать как завершение, как выражение уже произошедших изменений, то одновременно он полагает начало борьбе за господство над объективным миром. Конечно, по существу, это господство уже осуществилось, но для того, чтобы освободиться от своего анонимного характера, ему как бы требуется язык, на котором можно вести переговоры и формулировать приказы в словах, внятных послушанию. Ему требуются декорации, которые показали бы, к каким вещам стоит стремиться и с помощью каких средств нужно улаживать вопросы.

Изменения, уничтожающие природные и духовные образования по всей поверхности земли, нужно понимать как подготовку к возведению таких декораций. Массы и индивиды, поколения, расы, народы, нации, ландшафты, равно как и лица, профессии, учреждения, системы и государства одинаково подвержены этому вмешательству, которое поначалу представляется полным уничтожением присущей им

закономерности. Идеологической начинкой этого состояния служат дебаты между поборниками обреченных на гибель ценностей, для пресного ума которых даже в нигилистической лоске обнаруживается некая ценность.

Что единственно привлекательно для нас в этом состоянии, — так это приготовление нового единства места, времени и действующих лиц, того драматического единства, приближение которого угадывается на фоне развалин культуры и под погребальной маской цивилизации.

## 29

И все же сколь далеко состояние, в котором мы находимся, от того единства, которое способно обеспечить новую безопасность и новую иерархию жизни. Здесь не видно никакого единства, кроме единства стремительного изменения.

Наше рассмотрение должно сообразоваться с этим фактом, если оно не намерено довольствоваться обманчивой безопасностью искусственных островков. Конечно, здесь нет недостатка в системах, принципах, авторитетах, наставниках и мировоззрениях, но в них подозрительно то, что они опустились до слишком примитивного уровня. Их число возрастает в той же мере, в какой бессилие ощущает потребность в сомнительной безопасности. В этом спектакле участвуют шарлатаны, обещающие заведомо невыполнимое, и пациенты, желающие получить искусственное здоровье в санаториях. Наконец, все страшатся стали, от которой тем не менее никому не скрыться.

Мы должны осознать, что рождены в ландшафте из льда и огня. Прошедшее таково, что за него невозможно ухватиться, а становящееся таково, что в нем невозможно устроиться. Этот ландшафт предполагает позицию, отличающуюся высокой мерой воинского скептицизма. Нельзя допустить, чтобы тебя застали на обороняемых участках фронта, но только на тех, где ведется наступление. Нужно уметь так распорядиться резервами, чтобы они остались незамеченными и были укрыты надежнее, чем под бронированными сводами. Не существует знамен помимо тех, которые носят на теле. Возможно ли, чтобы вера обходилась без догм, мир без богов, знание без максим, а отечество не могло быть оккупировано какой-либо властью мира? Это вопросы, которыми единичный человек должен поверять степень своего вооружения. В неизвестных солдатах недостатка нет; важнее та неизвестная страна, о существовании которой не нужно договариваться.

Арена нашего времени предстает в правильном освещении только как место сражения, более притягательное и более пригодное для принятия решений, чем какое-либо иное — для того, кто умеет его оценить. Тайный центр притяжения, придающий действиям их ценность, — это победа, в гештальте которой воплощены усилия и жертвы даже погибших отрядов. Однако здесь не место тому, кто не намерен вести войну.

Лишь таким образом, исходя из осознания воинской позиции, становится возможным признать за окружающими нас вещами подобающую им ценность. Эта ценность подобна той, что свойственна точкам и системам на поле сражения: это тактическая цен-

ность. Это означает, что по ходу движения войск появляются столь серьезные вещи, что от них зависит жизнь и смерть, и все же они теряют свое значение, когда движение минует их, подобно тому как какая-нибудь опустевшая деревня, какой-нибудь заброшенный уголок леса на поле сражения становится тактическим символом стратегической воли и как таковой достоин приложения наивысших усилий. Если мы не намерены предаваться отчаянию, то наш мир нужно увидеть именно в этом смысле: как абсолютно подвижный и все же стремящийся к постоянству, пустынный и все же не лишенный огненных знамений, в которых находит свое подтверждение глубочайшая воля.

Что можно видеть, так это не какой-то окончательный порядок, а изменения в беспорядке, за которыми угадывается великий закон. Смена позиции ежедневно требует новой привязки к местности, в то время как та часть земли, которую только предстоит открыть, пока еще окутана мраком. И все же мы знаем, что она действительно существует, и такая уверенность выражается в том, что мы принимаем участие в борьбе. Поэтому мы несомненно добиваемся большего, нежели предполагаем, и бываем вознаграждены, когда этот переизбыток проясняет нашу деятельность и делает ее прозрачной для нас.

Если, заговорив о человеке, мы касаемся здесь его деятельности и воспринимаем ее всерьез, то это может иметь место лишь в смысле такой прозрачности.

Мы знаем, каков тот гештальт, очертания которого начинают таким образом вырисовываться.

## УПАДОК МАССЫ И ИНДИВИДА

30

Для Агасфера, заново начинающего свое странствие в 1933 году, человеческое общество и его деятельность представляет собой странную картину.

Он покинул его в то время, когда демократия только начала обустриваться в Европе после разного рода бурь и колебаний, и вот теперь он застает его в том состоянии, когда господство этой демократии стало столь несомненным, столь самоочевидным, что она может обойтись без своего диалектического предиката, либерализма — если не в торжественной фразеологии, то, по крайней мере, в действительности. Следствием этого состояния является установление примечательного и опасного равенства в человеческом составе — опасного потому, что надежность старого членения утрачена.

Какая же картина предстает перед бесприютным сознанием, которое оказывается загнанным в центр одного из наших больших городов и словно во сне пытается разгадать присущую процессам закономерность? Это картина возросшего движения, сурового и не взирающего на лица. Это движение зловеще и однообразно; оно приводит в действие механические массы, чей равномерный поток регулируют звуковые и световые сигналы. Педантичный порядок накладывает на этот хорошо смазанный, вращающийся механизм, напоминающий ход часов или вращение мельницы, печать осознанности, точной рассудочной работы; и все-таки целое представляется какой-то игрушкой, каким-то автоматическим времяпрепровождением.



Это впечатление усиливается в определенные часы, когда движение достигает такой степени неистовства, что притупляет и утомляет чувства. Возможно, от нашего восприятия ускользнуло бы, какая тут выдерживается нагрузка, если бы свистящие и воющие звуки, непосредственно возвещающие неумолимую смертельную угрозу, не сделали его внимательным к уровню действующих здесь механических сил. Городское движение действительно превратилось в какого-то Молоха, из года в год поглощающего такое количество жертв, которое сравнимо лишь с жертвами войны. Эти жертвы приносятся в морально нейтральной зоне; ведется лишь их статистический учет.

Однако способ движения, о котором здесь идет речь, заведует не только ритмом холодного или раскаленного искусственного мозга, созданного для себя человеком и излучающего стальной блеск и сияние. Этот способ приметен везде, куда только проникает взор, а взор в эту эпоху проникает далеко. Движение подчинило себе не только средства сообщения — механическое преодоление расстояний, соперничающее со скоростью снарядов, — но и всякую деятельность как таковую. Его можно наблюдать на полях, где сеют и жнут, в шахтах, где добывают руду и уголь, и у дамб, где скапливается вода рек и озер. В тысяче вариаций оно работает и на крошечном верстаке, и в обширных производственных районах. Без него не обходится ни одна научная лаборатория, ни одна торговая контора, ни одно частное или общественное здание. Нет такого отдаленного места, будь то даже корабль, тонущий ночью в океане, или экспедиция, проникшая в полярные льды, где бы не раздавался стук его молотка, не гудели его колеса и не звучали его сигналы. Оно

присутствует и там, где действуют и мыслят, и там, где борются или наслаждаются. Здесь есть столь же восхитительные, сколь и пугающие помещения, где жизнь воспроизводится на скользящей ленте конвейера в сопровождении говора и песен искусственных голосов. Здесь есть поля сражений и лунные ландшафты, над которыми, чередуясь, отрешенно царят огонь и движение.

Это движение можно по-настоящему увидеть только глазами чужестранца, поскольку оно, подобно воздуху, со всех сторон окружает сознание людей, которые с рождения им дышат, и поскольку оно столь же просто, сколь и удивительно. Поэтому описать его чрезвычайно трудно, а пожалуй, и невозможно, как невозможно описать звучание языка или крик зверя. Между тем, достаточно увидеть его хотя бы раз, чтобы потом узнавать в любом месте.

В нем заявляет о себе язык работы, первобытный и в то же время емкий язык, стремящийся распространиться на все, что можно мыслить, чувствовать и желать.

На возникающий у наблюдателя вопрос о сущности этого языка может быть дан такой ответ: эту сущность следует искать исключительно в области механического. Однако в той же мере, в какой накапливается материал наблюдения, растет и понимание того, что в этом пространстве не действует старое различие между механическими и органическими силами.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Это становится особенно ясно из наблюдений над мельчайшими и наиболее крупными объектами, например, над клеткой и над планетой.

Странным образом все границы оказываются тут размыты, и было бы праздным занятием размышлять о том, жизнь ли ощущает, как растет в ней стремление выразить себя механически, или какие-то особые, облеченные в механические одежды силы начинают распространять свои чары надо всем живым. Последовательные выводы можно сделать и из того и из другого предположения, с той лишь разницей, что в первом случае жизнь выступает как активная, изобретательная, конструктивная, а во втором — как страдающая и вытесненная из своей собственной сферы. Пытаться рассуждать по этому поводу означает лишь переносить в другую область вечно неразрешимый вопрос о свободе воли. Из каких бы регионов ни осуществлялось вторжение и как бы к нему ни относились — в его действительности и неизбежности нет никакого сомнения. Это станет полностью ясно, если обратить внимание на роль самого человека — все равно, видеть ли в нем актера этого спектакля или его автора.

### 31

Правда, для того чтобы вообще увидеть человека, потребуется особое усилие, — и это странно в ту эпоху, когда он выступает en masse.\* Опыт, наполняющий все большим изумлением странника, движущегося среди этого невиданного, еще только начавшего развиваться ландшафта, состоит в том, что он может целыми днями бродить по нему и в его памяти не

---

\* Как массовый человек (*фр.*).

запечатлется ни одной личности, ни одного чем-либо выделяющегося человеческого лица.

Конечно, не вызывает никаких сомнений, что единичный человек уже не появляется, как в эпоху монархического абсолютизма, в совершенной пластичности на своем естественном, архитектурном и социальном фоне. Однако важнее то, что даже отсвет этой пластичности, перешедший на индивида благодаря понятию бюргерской свободы, начинает тускнеть и доходить до смешного везде, где на него еще обращают внимание. Так, некую усмешку начинает вызывать бюргерская одежда, и в первую очередь праздничные одеяния бюргера, равно как и пользование бюргерскими правами, в частности, — избирательным правом, а также личности и корпорации, которыми это право представлено.

Стало быть, подобно тому как единичный человек уже не может быть облечен достоинством личности, он не является уже и индивидом, а масса — суммой индивидов, их исчислимым множеством. Где бы мы не встретились с ней, нельзя не заметить, что в нее начинает проникать иная структура. Масса предстает восприятию в виде каких-то потоков, сплетений, цепочек и череды лиц, мелькающих подобно молнии, или напоминает движение муравьиных колонн, подчиненное уже не прихоти, а автоматической дисциплине.

Даже там, где поводом к образованию массы служат не обязанности, не общие дела, не профессия, а политика, развлечения или зрелища, нельзя не отметить этой перемены. Люди уже не собираются вместе — они выступают маршем. Люди принадлежат уже не союзу или партии, а движению или чьей-либо

свите. Несмотря на то, что само время делает очень незначительной разницу между единичными людьми, возникает еще особое пристрастие к униформе, к единому ритму чувств, мыслей и движений.

Поэтому наблюдателя и не должно удивлять, что тут исчезли почти все следы сословного членения. Последние остатки сословного представительства находят себе прибежище на отдельных искусственных островках.<sup>1</sup> Сословные жесты, сословный язык и одеяния вызывают у публики удивление, если они как бы не ищут себе оправдание в каком-либо поводе, смысл которого можно охарактеризовать как некий праздничный атавизм. Места, где церковь принимает сегодня свои решения, находятся не там, где ее представители появляются в облачении священников, а там, где они выступают в одеждах политических уполномоченных.<sup>2</sup> Равным образом, война ведется не там, где солдат предстает в блеске сословных рыцарских отличий, а там, где он выполняет невзрачную работу, обслуживая рычаги своей боевой машины, где он в маске и защитном комбинезоне пересекает отравленные газом зоны и где он склоняется над своими картами под шум громкоговорителей и трескотню радиопередатчиков.

Подобно тому, как от сословного членения и от обилия лиц, представляющих соответствующие сословия, мы обнаруживаем лишь следы, можно видеть, что и разделение индивидов по классам, кастам или

---

<sup>1</sup> Пример такого искусственного островка — церковь кайзера Вильгельма в Берлине.

<sup>2</sup> В появлении ордена иезуитов и становлении прусской армии на исходе периода Реформации, если, конечно, судить исходя из гештальта рабочего, уже намечаются принципы работы.

даже по профессиям стало по меньшей мере затруднительным. Всюду, где мы стремимся обрести порядок сообразно этической, социальной или политической классификации и найти свое место в нем, мы находимся не на решающих фронтовых позициях, а пребываем в одной из провинций XIX века, до такой степени выхоленной за десятилетия деятельности либерализма с его всеобщим избирательным правом, всеобщей воинской повинностью, всеобщим образованием, мобилизацией земельной собственности и другими принципами, что любое дальнейшее усилие, предпринятое в этом направлении и с этими средствами, оказывается пустым баловством.

Однако, что пока еще невозможно усмотреть с такой же отчетливостью, так это то, каким образом начинает стираться в числе прочего и различие между профессиями. При первом взгляде у наблюдателя, скорее, не может не возникнуть впечатление их чрезвычайного многообразия. И все-таки существует большая разница между тем, как деятельность распределялась, скажем, между старыми гильдиями и как работа специализируется сегодня. Там работа — это постоянная и допускающая деление величина, здесь она — функция, тотально включенная в систему отношений. Поэтому не только многие вещи, о которых прежде это не привиделось бы и во сне, как, скажем, футбольные матчи, выступают здесь в виде работы, — но ее тотальный характер все мощнее пронизывает собой специальные области. Тотальный же характер работы есть тот способ, каким гештальт рабочего начинает проникать в мир.

Так получается, что по мере того как увеличивается прирост и дробление частных областей, а следо-

вательно, и профессий, видов и возможностей деятельности, эта деятельность становится однообразной и в каждом своем нюансе обнаруживает как бы одно и то же перводвижение. Так возникает картина некоего странного напряжения сил, которое может наблюдаться в тысяче фрагментов. В результате все процессы начинают поразительно походить друг на друга, что в полном своем объеме опять-таки может быть схвачено лишь взором чужестранца. Это движение подобно чередованию образов в волшебном фонаре, просвечиваемом постоянным источником света. Как Агасферу различить, присутствует ли он при съемке в фотоателее или при обследовании в клинике внутренних болезней, пересекает ли он поле боя или индустриальную местность; и в какой мере человека, подкладывающего под штемпельный прибор миллионные поступления в каком-нибудь банке или почтовом отделении нужно считать служащим, а другого, повторяющего те же самые движения за прессовальной машиной на металлообрабатывающей фабрике — рабочим? И согласно каким критериям различают друг друга сами занятые этой деятельностью люди?

С этим связано начало решительных изменений, происходящих с понятием личного вклада в деятельность. Собственно основу этого явления следует искать в том, что центр тяжести деятельности смещается от индивидуального характера работы к тотальному.<sup>1</sup> В равной мере становится менее существенным, с

---

<sup>1</sup> Поэтому тщетны те меры, которыми на фабричном производстве хотят повысить индивидуальное сознание рабочих. Необходимость овладения стереотипными приемами невозможно оправдать в той плоскости, где желание или нежелание индивида сохраняет свою роль.

каким персональным явлением, с чьим именем связывается работа. Это относится не только собственно к делу, но и к любому виду деятельности вообще. Здесь можно упомянуть о безымянном солдате, о фигуре которого следует, однако, знать, что она принадлежит миру гешталтов, а не миру индивидуальных страданий.

Но бывают не только неизвестные солдаты, бывают и неизвестные штабные генералы. Куда бы мы ни обратили свой взор, всюду он падает на работу, выполняемую в этом анонимном смысле. Это справедливо также и для тех областей, к которым индивидуальное усилие находится будто бы в каком-то особом отношении и к которым оно охотно обращается — например, для созидательной деятельности.

Поэтому не только оказывается зачастую в тени подлинный исток важнейших научных и технических изобретений, но и умножаются случаи двойного авторства, в результате чего ставится под угрозу смысл патентного права. Эта ситуация напоминает плетение циновки, где каждая новая петля состоит из множества нитей. Хотя имена и называются, однако в их перечислении есть что-то случайное. Они подобны внезапному проблеску одного из звеньев цепи, предыдущие звенья которой скрыты в темноте. Открытия можно прогнозировать, и это придает удачным индивидуальным находкам вторичный характер: таковы в органической химии вещества, еще никем не виданные, но уже известные во всех своих свойствах, таковы звезды, местоположение которых уже рассчитано, хотя они еще и не были обнаружены ни одним телескопом.

Кстати сказать, было бы глупо пытаться перевести тот кредит, который, по-видимому, потерял здесь



единичный человек, в актив коллективных сил, таких, как научные институты, технические лаборатории или промышленные концерны; скорее, в этом можно усмотреть возмещение некоего долга, полагающееся изобретателям очага, паруса и меча. Важнее, однако, видеть, что тотальный характер работы нарушает как коллективные, так и индивидуальные границы и что он является тем истоком, с которым связано всякое продуктивное содержание нашего времени.

Ту степень, которой уже достиг процесс исчезновения индивида, еще удобнее определить, рассмотрев, каким образом начинает меняться отношение между полами. Здесь возникает вопрос, возможно ли вообще такое изменение? Разумеется, оно невозможно в том смысле, в каком это отношение принадлежит к стихийным, первобытным отношениям, таким, как борьба. И тем не менее тут наблюдается то же самое изменение, которое придает войне эпохи рабочего совсем другое лицо, нежели войне бюргерской эпохи, — лицо, которое одновременно отмечено чертами как большей трезвости, так и большей стихийной силы.

В этом смысле можно сказать, что с открытием индивида было связано открытие новой любви, которой, как бы ни была она глубока, все же отмерен свой срок. Пылающие цвета «Новой Элоизы» потускнели так же, как и те наивные краски, в которых изображается пробуждение Поля и Виргинии в их первобытных лесах, и ни один китаец уже не рисует «робкой рукою вертеров и лотт на стекле». Это тоже стало достоянием доброго старого времени, и осознание этого, как и всякое осознание такого рода, представляется человеку процессом его обеднения.

Если Агасфер покидает большие города, чтобы ознакомиться с пейзажем, он становится свидетелем нового возвращения к природе. Он видит, как русла рек, озера, леса, морские побережья и снежные склоны гор заселяют племена, чье поведение напоминает образ жизни индейцев, островитян Южного моря или эскимосов.

Это уже не та природа, которой наслаждались на небольших хуторах и в охотничьих домиках в сотне шагов от Трианона, и не то «голубое небо» Италии, небо Флоренции, где бюргерский индивид паразитирует на частях ренессансного тела.

Все это можно, скорее, обозначить как своего рода новый санкюлотизм, как необходимое следствие демократии, нашедшее свое раннее выражение уже в «Листьях травы». Здесь тоже образовалась нигилистическая чешуя — гигиена, пошлый культ солнца, спорт, культура тела, короче говоря, этос стерильности, который не заслуживает рассмотрения, ибо для нашего времени вообще характерна странная диспропорция между строгой последовательностью фактов и сопровождающими ее моральными и идеологическими обоснованиями. Во всяком случае, очевидно, что здесь уже нельзя говорить об отношениях между индивидами.

Признаки, которым придается какое-нибудь значение, претерпели изменение; они имеют ту более простую, более примитивную природу, которая указывает на то, что начинает оживать воля к формированию расы — к порождению определенного типа, чьи свойства обладают большим единством и соразмерны задачам, встающим в рамках того порядка, который определяется тотальным характером работы. Это связано с тем, что возможности жизни вообще сокраща-

ются с каждым днем в пользу одной-единственной возможности, которая как бы пожирает все остальные и движется навстречу состоянию, характеризующемуся стальным порядком. Это будущее творит для себя расу, которая ему нужна, и достаточно прислушаться к детям, занятым своими играми, чтобы понять, что от них можно ждать много невероятного.

Волю к бесплодию мы вправе оставить вне поля зрения, если собираемся искать жизнь там, где она наиболее сильна, — ибо кто станет еще беспокоиться о судьбе того, что здесь идет ко дну? Это одна из разновидностей умирания индивида и, наверное, наиболее бесцветная; ее обоснование имеет индивидуальную природу, ее практическое осуществление достойно похвалы. Но чего пока нельзя в полной мере ощутить в шуме юридических и медицинских дебатов, — так это возможности нового, плодотворного проникновения государства в частную сферу, которое надвигается под маской гигиенического и социального обеспечения.

Таким образом, развитие, которое еще на рубеже столетий, казалось, обещало привести к новым Содому и Гоморре, к предельной утонченности чувств, начинает принимать столь же неожиданный оборот, как и некоторые другие тенденции. Париж той эпохи, с его экспортом платьев, комедий, романов, описывающих общество и нравы, каким-то образом превратился в провинцию; путешествующий бюргер едет сюда в поисках развлечений, как во Флоренцию он едет в поисках учености.

Столь же провинциальной фигурой стал и человек богемы со своими журналами и кафе, с наигранностью своих мыслей и чувств; он чахнет наравне с

бюргерским обществом, от состава которого он целиком зависит, как бы отрицательно он к нему не относился. Еще в первой трети XX века мы видим, как он работает с микроскопически точными средствами: изображая процессы болезни и разложения, различные заблуждения и призрачные ландшафты сна, он доводит до завершения процесс, который можно назвать уничтожением посредством полировки. В доставшемся ему по наследству побочном призвании, в критике общества, его последовательность также достигла вершины абсурда; мы с удивлением видим, как приводятся в движение старые, отслужившие механизмы, для того чтобы спасти голову, то есть индивидуальное существование какого-нибудь злого грабителя или убийцы, в то время как целые народы живут вблизи вулканов и в зародыше погибают сотни тысяч жизней.

То, что в этом контексте может быть сказано об искусстве и политике, требует отдельного изложения. Чтобы указать, что здесь следует понимать под исчезновением индивида, для начала будет достаточно и этого экскурса. Исследование лежащих в поле нашего зрения обстоятельств подтвердит сказанное и снабдит нас любым потребным материалом.

Процесс умирания индивида расцвечен множеством красок — от пестрых тонов, в которых язык поэта и кисть художника исчерпывают свои последние возможности на границе с абсурдом, — до серых тонов неприкрытого каждодневного голода, экономической смерти, которая уготована бесчисленным и безвестным жертвам инфляцией, этим анонимным и демоническим процессом в денежной сфере, этой невидимой гильотиной экономического существования.

Здесь становится ощутима хватка истинной, бытийной революции, от которой не уйдет ни самое заметное, ни самое потаенное, и в сравнении с которой кажется безвкусицей всякая революционная диалектика.

## 32

Арена, в пределах которой совершается закат индивида, — есть существование единичного человека. При этом на второй план отступает вопрос о том, совпадает ли при этом смерть индивида со смертью единичного человека, как это бывает, скажем, в случае его самоубийства или уничтожения, или же единичный человек переживает эту потерю и обретает связь с новыми источниками силы.

Этот процесс, который сегодня на опыте можно проследить даже в самых узких границах существования, особо отчетливо предстает в том, каким способом судьбу единичного человека формировала война.

Вспомним о знаменитой атаке добровольческих полков под Лангемарком. Это событие, в большей мере значимое для истории духа, нежели для военной истории, имеет большую ценность для решения вопроса о том, какая позиция вообще возможна в наше время и в нашем пространстве. Мы видим здесь крах классической атаки, последовавший несмотря на воодушевляющую индивидов твердую волю к власти и на отличающие их моральные и духовные ценности. Свободной воли, образования, вдохновения и опьяняющего презрения к смерти недостаточно для того, чтобы преодолеть тяготение не-

скольких сотен метров, на которых властвует волшебство механической смерти.

Так возникает единственный в своем роде, поистине призрачный образ смерти в пространстве чистой идеи, образ гибели, во время которой, как в дурном сне, даже абсолютное напряжение воли не способно сломить демонического сопротивления.

Препятствием, которое останавливает биение даже самого смелого сердца, служит здесь не человек с его деятельностью, обладающей качественным превосходством, а появление нового, ужасающего принципа, выступающего как принцип отрицания. Оставленность, в которой свершается здесь трагическая судьба индивида, есть символ оставленности человека в новом, неизведанном мире, чей железный закон воспринимается как бессмыслица.

Новой в этом процессе является лишь его военная оболочка; в нем за какие-то секунды воспроизводится процесс уничтожения, который уже в течение целого столетия можно было наблюдать на примере выдающихся индивидов — обладателей утонченных чувств, уже давно изнемогавших от атмосферы, которая сознанию большинства казалась вполне здоровой. Тут дало о себе знать вымирание людей особого склада, которое обнаружилось при посягательстве на их передовые посты. Но сердечные предчувствия и системы духа можно опровергнуть, тогда как одну вещь опровергнуть нельзя, и эта вещь — пулемет.

Суть лангемаркских событий состоит во вмешательстве космической противоположности, которое повторяется всегда, когда поколеблен мировой порядок, и которое выражается здесь в символах техниче-

кой эпохи. Это противоположность между соляренным и теллурическим огнем, который в первом случае проявляется как духовное, а в другом — как земное пламя, как свет или как огонь — обмен заклинаниями между «певцами на жертвенном холме» и кузнецами, которым подвластны силы металлов — золота и железа. Носителей идеи, отделившейся от первообраза и превратившейся в еще более прекрасное отображение, притягивает к земле материя, мать всех вещей. Но именно прикосновение к ней наделяет их, по закону мифа, новыми силами. Умирает и сходит на нет индивид как представитель слабеющих и обреченных на гибель порядков. Через эту смерть должен пройти единичный человек, независимо от того, завершается ли ею его видимый для глаза путь, или нет, и хорошо, когда он стремится не убежать от смерти, а отыскать ее в наступлении.

### 33

Рассмотрим теперь, в чем состоит значительная разница между этой поздней элитой бюргерского юношества и той породой бойцов, которая была сформирована самой войной и все более отчетливо проявляла себя в ходе ее последних больших сражений. Здесь, в скрытых силовых центрах, из которых идет овладение зоной смерти, мы встретим людей, воспитанных в духе новых, необычных требований.

В этом ландшафте, где единичный человек обнаруживается лишь с большим трудом, огнем было выжжено все, что не имеет предметного характера. В этих процессах открывается максимум действия при

минимуме вопросов «зачем» и «для чего». Всякая попытка привести их в согласие еще и с индивидуальной сферой, окрашенной, к примеру, в романтические или идеалистические тона, непосредственно выливается в бессмыслицу.

Изменилось отношение к смерти; предельная близость к ней лишена того настроения, истолковать которое можно еще как некую торжественность. Уничтожение настигает единичного человека в те драгоценные мгновения, когда он подчиняется высочайшим требованиям жизни и духа. Его боеспособность имеет не индивидуальную, а функциональную ценность; здесь уже нет павших, есть только выбывшие.

Здесь также можно наблюдать, как тотальный характер работы, который в этом случае проявляется как тотальный характер сражения, находит свое выражение в неисчислимом количестве особых приемов ведения боя. На шахматной доске войны появилось большое число новых фигур, в то время как манера игры упростилась. Мера боевой морали, основной закон которой остается во все времена одним и тем же и состоит именно в том, чтобы убивать врага, начинает все более однозначно отождествляться с той мерой, в какой возможно осуществить тотальный характер работы. Это имеет силу как для сферы действия противоборствующих государств, так и для сферы действия отдельных противоборствующих людей.

Здесь вошли в историю достойные наилучших традиций образы высочайшей дисциплины сердца и нервов — образцы предельного, трезвого, словно выкованного из металла хладнокровия, которое позволяет героическому сознанию обращаться с телом как с чистым инструментом и, преступая границы ин-



стинкта самосохранения, принуждать его к выполнению ряда сложных операций. В охваченных огненным вихрем сбитых самолетах, в затопленных отсеках затонувших подводных лодок идет работа, которая, собственно, уже пересекла черту жизни, о которой не сообщают никакие отчеты и которую в особом смысле следует обозначить как *travail pour le Roi de Prusse*.\*

Особое внимание следует обратить на то, что эти носители новой боевой мощи становятся заметны только на поздних стадиях войны и что их отличие от прежних сил проявляется в той мере, в какой разлагается армейская масса, сформированная по принципам XIX века. Их можно обнаружить прежде всего и там, где своеобразие их эпохи уже с особой отчетливостью выражается в применяемых средствах: в танковых подразделениях и летных эскадрах, в штурмовых группах, где рассеивающаяся и изнуренная орудиями пехота обретает новую душу, а также во флотских частях, закаленных привычкой к наступлению.

Изменилось и лицо, которое смотрит на наблюдателя из-под стальной каски или защитного шлема. В гамме его выражений, наблюдать которые можно, к примеру, во время сбора или на групповых портретах, стало меньше многообразия, а с ним и индивидуальности, но больше четкости и определенности единичного облика. В нем появилось больше металла, оно словно покрыто гальванической пленкой, строение костей проступает четко, черты просты и напряжены. Взгляд спокоен и неподвижен, приучен смотреть на предметы в ситуациях, требующих высокой скорости схватывания. Таково лицо расы, которая начинает

---

\* Работа во имя прусского короля (фр.).

развиваться при особых требованиях со стороны нового ландшафта и которая представлена единичным человеком не как личностью или индивидом, а как типом.

Влияние этого ландшафта распознается с той же определенностью, что и влияние климатических поясов, первобытных лесов, гор или побережий. Индивидуальные характеры все дальше и дальше отступают перед характером высшей закономерности, совершенно определенной задачи.

Так, например, к концу войны становится все труднее отличить среди солдат офицера, потому что тотальность процесса работы размывает классовые и сословные различия. С одной стороны, боевые действия формируют в отряде единый строй испытанных передовых рабочих, с другой — умножаются важные функции, для выполнения которых требуется элита нового рода. Так, например, полет на самолете и, в частности, боевой вылет имеет отношение не к сословию, а к расе. Число единичных людей, которые вообще способны к таким наивысшим достижениям, среди той или иной нации является столь ограниченным, что для подтверждения их прав должно быть достаточно одной лишь профессиональной пригодности. В применении психотехнических методов мы видим попытку постичь этот факт с помощью научных средств.

Наблюдать эти изменения можно не только в сфере конкретной боевой работы; они вторгаются и в сферу высшего военного руководства. Так, имеются умы, обладающие особыми способностями к разработке планов ведения боев совершенно определенного вида, например, широкомасштабных оборонительных сражений; они действуют уже не в глубине собст-

венных армейских формирований, а в стратегических целях выполняют свои функции там, где во всю ширину фронта начинает разворачиваться абстрактный план такого сражения. Такие достижения по большей части — заслуга неизвестных дарований, типическая ценность которых далеко превосходит ценность индивидуальную.

Но и отвлекаясь от таких чисто военных явлений, становится все труднее определить, где совершается решающая военная работа. В особенности, это выражается в том, что в ходе самой войны внезапно возникают новые виды оружия и методы боя, и это опять-таки следует понимать как знак того высшего обстоятельства, что фронт войны и фронт работы суть одно и то же. Существует столько же фронтов войны, сколько и фронтов работы, и потому число специалистов умножается в той же мере, в какой их деятельность становится более однозначной, то есть становится выражением тотального характера работы. Это также придает однозначности тому типу, посредством которого проявляет себя решительный склад человека.

Хотя эти изменения и не могут не затрагивать весь человеческий состав, все же, как мы уже отмечали, число его представителей, активно участвующих в процессе работы, ограничено. Мы усматриваем тут рождение своего рода гвардии, становление нового хребта противоборствующих организаций — той элиты, которой можно еще присвоить и имя ордена. Особую ясность выражения этот тип получает в тех точках, где сконцентрирован смысл происходящего. Здесь мы уже отчетливее видим, почему необходимо было очертить новое отношение к стихийному, к

свободе и к власти как соразмерное расе, воле и способностям утверждение определенного бытия. Принципы XIX века, в частности, всеобщее образование и всеобщая воинская повинность не достаточны для того, чтобы осуществить мобилизацию в ее последней степени, с наибольшей жесткостью. Они стали той платформой, над которой начинает возвышаться новый, особенный ярус.

### 34

Но вернемся в большие города, где этот важный процесс наблюдается не менее отчетливо. Разумеется, мы обнаружим его там, где он уже явственно виден. Мы уже отмечали, что единичный человек исчезает в совокупном процессе; чтобы его увидеть, необходимо особое усилие. И причина этого заключается вовсе не только в том, что наблюдать его можно лишь *en masse*.

Масса в этом смысле, скорее, точно так же исчезает из городов, как исчезла она и с полей сражений, на которых появилась во время революционных войн. От процесса распада, которому подвержен единичный индивид, не может уйти и совокупность индивидов в той мере, в какой она выступает как масса.

Прежняя масса, которая воплощалась, скажем, в сутолоке воскресных и праздничных дней, в общественных местах, в политических собраниях, принимая участие в голосовании и достижении согласия, в уличной суете, масса, которая толпилась перед Бастилией и чей грубый напор решал исход сотен сражений, чье ликование потрясало мировые столицы еще в начале последней войны и чье серое войско как фермент разложения растеклось после демобилиза-

ции по всем углам, — эта масса принадлежит прошлому в той же мере, что и тот, кто еще ссылается на нее как решающую величину. Подобно тому как, пытаясь за счет своей массовости прорвать огневые заслоны боевых фронтов XX века, она всякий раз получала от противника смертельный урок ценой малых сил, ей был с тех пор уготован еще не один Танненберг, у которого нет ни места, ни имени.

Всюду, где движениям массы противостоит действительно решительная позиция, они утратили свои неотразимые чары, — так два-три старых бойца за исправно строчащим пулеметом оставались спокойны даже при известии о наступлении целого батальона. Масса сегодня уже не способна атаковать, она не способна даже обороняться.

Этот факт ощутим во многих проявлениях, например в том, как в наши дни созываются партийные собрания. Такие собрания находились раньше под надзором полиции; сегодня же правильнее будет сказать, что полиция взяла на себя роль покровителя. Более отчетливо это отношение проявляется там, где масса начинает учреждать собственные органы самозащиты, подобно тому, как они формировались после войны в виде охранных отрядов, охраны залов, а также под другими именами. Десяткам тысяч человек требуется для охраны несколько сотен, и можно обнаружить, что в этих немногих сотнях воплощается совершенно иной склад людей, нежели тот, который представлен собирающимся в массу индивидом.

Это связано с тем имеющим более широкий смысл обстоятельством, что роль партий старого стиля, которые, сообразно своему характеру и своим задачам, служили объединению масс, в сущности, оказалась

исчерпана. Тот, кто сегодня все еще занят формированием таких партий, довольствуется политическими задворками. Индивиды здесь подобны собранным в горку песчинкам, которые вновь рассыпаются по сторонам.

Эти явления объясняются, в частности, тем, что масса не была преобразована в той же мере, что и некоторые отдельные области, например, полицейская организация, где специальный характер работы по крайней мере уже получил более определенное развитие. Это преобразование или, скорее, замещение массы величинами нового рода тем не менее произойдет точно так же, как оно уже произошло в первой трети XX века в связи с физико-химическими представлениями о материи. Существование массы находится под угрозой в той же мере, в какой становится ненадежным понятие бюргерской безопасности.

Транспорт, обеспечение наиболее элементарных потребностей в огне, воде и свете, развитая кредитная система и многие другие вещи, разговор о которых еще впереди, подобны тонким проводам, обнаженным венам, от которых зависит жизнь и смерть аморфного тела массы. Это состояние неизбежно побуждает к монополистическому, капиталистическому, профсоюзному или даже преступному вмешательству, которое грозит многомиллионному населению всевозможными лишениями и может довести до панического ужаса. Анонимное повышение цен, падение курса валют, величина налогов, таинственный магнетизм золотого потока не определяются решением масс. Неуклонному возрастанию дальнобойности орудий, способных всего за несколько часов поставить под угрозу безза-

щитные метрополии, соответствует техника политического переворота, которая стремится уже не вывести массы на улицы, а решительными действиями ударных отрядов овладеть сердцем и мозгом правительственных центров. Ему же соответствует и оснащение полиции такими средствами, действие которых способно в несколько секунд рассеять любую непокорную массу. Масштабное политическое преступление не направлено уже против личности или индивидуальности представителей государства — против министров, монархов или сословных представителей, оно направлено против железнодорожных мостов, радиовещательных башен или фабричных депо. За индивидуальными методами социал-анархистов, с одной стороны, и методами массового террора, с другой, возникают новые школы политического насилия.

Но все эти отдельные моменты, сужающие жизненное пространство массы XIX столетия, становятся заметны чисто физиогномически, если наблюдатель пройдет по любому из кварталов большого города; причем ему, опять-таки, следует ясно сознавать, что и этот, рассматриваемый нами город, поскольку росту его способствовали именно эти массы, принадлежит к переходным явлениям.

Все это можно, стало быть, в равной мере заметить и по тому безразличию, с каким пешеход, как некий вымирающий вид, оттеснен средствами передвижения на обочину дорог и по той потрясающей проворности, с какой любое скопление людей, скажем, посетителей театра, рассеивается в уличной суете.

Многие городские картины целиком пропитаны атмосферой разложения, которая за плоским оптимизмом ощущалась уже в натуралистическом ро-

мане, а затем становилась все более отчетливой и безнадежной в веренице мимолетных стилей декаданса — в желтеющих и увядающих красках, во взрывных деформациях и в скелетоподобных остовах предметов.

В пустынных манчестерских ландшафтах Востока, в запыленных шахтах Сити, в роскошных предместьях Запада, в пролетарских казармах Севера и мелкобуржуазных кварталах Юга разворачивается в многообразии оттенков один и тот же процесс.

Эта промышленность, эта торговля, это общество обречены на гибель, дыханием которой веет из всех щелей и разошедшихся швов былой взаимосвязи. Здесь взору вновь открывается ландшафт материальных сражений со всеми приметам шестивия смертельного урагана. Однако хотя спасатели заняты делом, а старый спор между индивидуалистической и социалистической школами, тот великий спор, который XIX век вел с самим собой, разгорелся на новом уровне, это ничего не меняет в старой поговорке, гласящей, что от смерти еще не изобрели лекарства.

Итак, среди этой массы нам не найти единичного человека. Здесь мы встретим лишь гибнущего индивида, страдания которого запечатлены на десятках тысяч лиц и вид которого наполняет наблюдателя ощущением бессмыслицы и бессилия. Мы видим, что движение тут становится более вялым, как в кишасшем инфузориями сосуде, куда упала капля соляной кислоты.

А происходит ли этот процесс без всякого шума или напоминает катастрофу — это вопрос о его форме, а не о его субстанции.



## 35

Напротив, новый тип, порода людей XX века начинает вырисовываться во взаимосвязях иного характера.

Мы видим, как он возникает в недрах будто бы весьма различных образований, которые в самом общем смысле можно сначала определить как органические конструкции. Эти образования, возвышающиеся над уровнем XIX столетия, пока едва различимы, однако их следует совершенно четко отделять от него. Общий всем им признак состоит в том, что в них заметен уже специальный характер работы. Специальный характер работы есть тот способ, каким гештальт рабочего выражает себя в организационном плане, — способ, каким он упорядочивает и дифференцирует живой состав человека.

В ходе исследования мы уже касались некоторых органических конструкций, где та самая метафизическая власть, тот самый гештальт, который техническими средствами приводит в движение материю, начинает подчинять себе также и органические единства. В таком смысле мы рассматривали элиту, которая начинает воздействовать на процесс войны поверх монотонного хода материально-технических сражений; новые силы, которые способствуют крушению партийного аппарата; а также занятые своим делом товарищеские объединения, которые столь же отличны от прежних общественных собраний, сколь передние ряды партера в театре 1860 года отличны от зрительских рядов в кинозале или на стадионе.

Тот факт, что силы, вызывающие к жизни подобные группировки, изменили свою природу, во многом

сказывается уже в перемене имен. «Марши» вместо «собраний», «свита» вместо «партии», «лагерь» вместо «съезда»; из этих изменений видно, что добровольное решение нескольких индивидов уже не считается само собой разумеющейся предпосылкой собрания. Скорее, такое предложение звучит уже как ни к чему не обязывающий и смехотворный призыв, как это явствует из слов «объединение», «заседание» и некоторых других.

Мы принадлежим той или иной органической конструкции не в силу индивидуального волевого решения, то есть не через осуществление акта бюргерской свободы, а благодаря фактической вовлеченности в нее, которая определяется специальным характером работы. Если выбрать пример попроще, то вступить или выйти из партии столь же легко, сколь трудно выйти из союза, с которым ты связан так, как потребитель связан с источником электрического тока.

Здесь имеет место то же самое различие между причастностью в мировоззренческом и в субстанциальном смысле, которое сказывается и в том, что профсоюз может дорасти до ранга органической конструкции, тогда как для тесно связанной с ним партии это невозможно. То же самое справедливо и для боевых политических организаций нового типа, чья противоположность партиям, стремившимся создать в них свои органы, станет заметна очень скоро.

Вообще, простое средство установить, в какой степени мы принадлежим еще миру XIX века, состоит в том, чтобы исследовать, какие из присущих нам отношений могут быть расторгнуты, а какие — нет. Одно из устремлений XIX века, согласно его осново-

полагающему взгляду на общество как на результат договора, сводится к превращению любого возможного отношения в договорное отношение, которое можно расторгнуть. Следовательно, один из идеалов этого мира оказывается достигнут тогда, когда индивид сможет сам отказаться от своей половой принадлежности, то есть определить или изменить ее посредством простой регистрации.

Поэтому само собой разумеется, что забастовка и увольнение с работы, эти взрывоподобные попытки прибегнуть к расторжению договора как к крайнему средству экономической борьбы, в той же мере принадлежат к методам, свойственным обществу XIX века, в какой они несоразмерны строгому миру работы века XX. Тайный смысл любой экономической борьбы сводится в наше время к тому, чтобы и экономику в ее тотальности поднять до ранга органической конструкции, в качестве каковой она избавилась бы от инициативы индивида, как изолированного, так и выступающего *en masse*.

Но это может произойти только тогда, когда отомрет или будет обречена на вымирание та человеческая порода, которая не способна постичь себя в иных формах, кроме тех, что описаны выше.

## СМЕНА БЮРГЕРСКОГО ИНДИВИДА ТИПОМ РАБОЧЕГО

### 36

Если мы сконцентрируем теперь все наше внимание на этом типе, как он встречается нам в недрах новых образований, на этом первооткрывателе нового ландшафта, то будем вынуждены отказаться от любых оценок, выходящих за пределы нашего поля зрения. Единственная разновидность оценки, имеющая здесь право на существование, должна быть найдена в самом типе, то есть в вертикальном разрезе, в смысле его собственной иерархии, а не в горизонтальном, не в сравнении с какими-либо явлениями иного пространства или иного времени. Мы уже отмечали, что процесс обеднения безусловно налицо. Он объясняется тем основополагающим фактом, что жизнь пожирает самое себя, как это происходит внутри кокона, где имаго питается соками гусеницы.

Дело состоит в том, чтобы стать на такую точку зрения, с которой области утраченного представлялись бы грудой щебня, сколотого с каменной глыбы в процессе создания статуи. Мы достигли того отрезка пути, где история развития ничем не может помочь, если ее не рассматривать с противоположным знаком, то есть из той перспективы, в которой гештальт<sup>1</sup> как неподвластное времени бытие определяет развитие становящейся жизни. И тут нам открывается метаморфоза, которая с каждым шагом становится все более однозначной.

Однозначность эта проявляется также в самом типе, в котором намечается превращение, и первое

производимое им впечатление — это впечатление некоторой пустоты и однообразия. Это то самое однообразие, из-за которого весьма затруднительно уловить различия между индивидами, принадлежащими чуждым человеческим или животным расам.

Что прежде всего бросается в глаза чисто физиогномически — это застывшее, напоминающее маску выражение лица, раз и навсегда приобретенное и в то же время подчеркнутое и усиленное внешними средствами, скажем, отсутствием бороды, прической и прилегающим головным убором. О том, что в этом сходстве с маской, наводящем в случае мужчин на мысль о металле, а в случае женщин — о косметике, проявляется некий весьма важный процесс, можно заключить уже из того, что оно способно стереть даже те очертания, благодаря которым можно физиогномически распознать половую принадлежность. Не случайна, кстати сказать, та роль, которую маска с недавнего времени вновь начинает играть в повседневной жизни. Она в разном виде появляется в тех местах, где проступает специальный характер работы, — в виде противогазной маски, которой стремятся обеспечить все население, в виде маски, предохраняющей лицо во время спортивных состязаний или при высоких скоростях, какой обладает каждый водитель, в виде защитной маски для работы в помещениях, где существует опасность излучения, взрыва или наркотического отравления. Стоит предположить, что на долю маски выпадут еще совершенно иные задачи, чем можно сегодня догадаться, — скажем, в связи с развитием фотографии, которое может возвести ее в ранг оружия для политических атак.

Изучать эту маскоподобную внешность можно не только по физиономии единичного человека, но и по всей его фигуре. Так, можно наблюдать, что большое внимание уделяется формированию тела, и притом совершенно определенному, планомерному формированию — тренировке. За последние годы глазу предоставлялось все увеличивающееся число случаев, для того чтобы привыкнуть к виду обнаженных, весьма пропорционально развитых тел.

Изменения, происходящие с одеждой, придают этому процессу еще более определенное направление. Бюргерский костюм, который в течение ста пятидесяти лет оставался довольно однообразным и который, сообразно его значению, следует рассматривать как бесформенную реминисценцию старых сословных нарядов, постепенно становится абсурдным во всех своих деталях. Тот факт, что этот костюм никогда не принимали всерьез, то есть не наделяли его рангом наряда, вытекает из того, что носить его избегали везде, где могло еще сохраниться сословное сознание в его прежнем смысле, то есть там, где велось сражение, исполнялась служба, читалась проповедь или вершился суд.

Конечно, такая представительность должна была находиться в неизбежном противоречии с господствующим сознанием бюргерской свободы. Поэтому и во второй половине XIX столетия нельзя было раскрыть какой-либо сатирический журнал и не наткнуться на изображение мантии, рясы, тоги или горностаевого одеяния, цель которого сводилась к тому, чтобы показать, что носители этих нарядов принадлежат не миру людей, а миру каких-нибудь животных или марионеток. Таким ироническим нападкам невоз-

можно противостоять, коль скоро мы отказались от виселицы и от костра. Поэтому наряд начинает все больше и больше отходить в сферу внутреннего обихода или использоваться в исключительных случаях; он избегает публичности, которая под влиянием средств сообщения, свободы прессы и развития фотографии день ото дня увеличивает свое собственное влияние.

К концу столетия важнейший акт занесения основных событий стихийной жизни в публичные реестры начинают исполнять чиновники в бюргерской одежде; этим знаменуется победа, одержанная национальным государством над церковью при помощи либеральных средств. Континентальным парламентам XIX века незнакома какая-то особая парламентская мантия; бюргерская одежда едина для всех — от правого до левого крыла. На общих заседаниях лета 1914 года часть депутатов появляется в униформе; после войны возникают целые фракции, одетые в особый, по-военному единообразный наряд. Министры тоже не имеют каких-то особенных отличий — за немногими исключениями, такими, как генеральская униформа, находящаяся в распоряжении у прусского премьер-министра. Уход от представительства становится всеобщим и принимает диковинные формы. Там, где приходится появляться на публике, это предпочитают делать без помпы или предлагают эпизоды из частной и даже чересчур уж частной сферы. Избегают выставлять себя на обозрение в каком-либо ином качестве, кроме как в качестве индивида. Массе демонстрируют, как они едят и пьют, как занимаются спортом и что делают в своих загородных домах; появляются снимки, где министр облачен в купальное

трико, а конституционный монарх ведет непринужденный разговор в прогулочном костюме.

В начале нового столетия упадок в свойственной массам манере одеваться соответствует упадку индивидуальной физиогномики. Наверное, нет другой эпохи, когда люди одевались бы так плохо и так безвкусно, как сейчас. Впечатление такое, будто содержимое огромной барахолки заполнило своим дешевым разнообразием улицы и площади, где и донашивается с гротескным достоинством. Во многом это ощущалось уже до войны, и тогда же, как в случае с немецким юношеским движением, была предпринята попытка изменить положение. Тем не менее эта попытка была обречена на неудачу уже в силу той романтико-индивидуалистической позиции, которая составляла ее основу.

Отметим, между прочим, что бюргерская одежда делает фигуру немца особенно нелепой. Этим объясняется тот факт, что за границей его «узнают» с безошибочной точностью. Причина этого бросающегося в глаза явления заключается в том, что по сути своей немец лишен какого бы то ни было отношения к индивидуальной свободе, а тем самым и к бюргерскому обществу. Это выражается также и в том, как он себя держит. Поэтому там, где он выступает в роли частного путешественника или члена туристической группы, в нем заметна некоторая неловкость и мешковатость: он недостаточно цивилизован.

Однако это положение вещей меняется всюду, где единичный человек предстает перед нами уже в рамках органических конструкций, то есть в непосредственном соприкосновении со специальным характером работы. При этом нам вновь необходимо вспом-



нить, что такой характер работы никак не связан с профессиональной или трудовой деятельностью в старом смысле слова, а наделен значением нового стиля, иного модуса, в котором проявляется жизнь как таковая.

В этом смысле бюргерская одежда стала штатским платьем, которое уже не встретишь там, где начинает пробиваться рабочий стиль, то есть там, где сегодня люди действительно всерьез заняты каким-то делом. В отношении всех этих мест можно вести речь о типичном рабочем наряде, о наряде, который имеет характер униформы, поскольку характер работы и характер боя тождественны.

Наблюдать это, наверное, лучше всего на примере изменений, которые произошли в самой униформе, изменений, первым признаком которых выступает обстоятельство, что пестрая раскраска мундира сменилась однотонными оттенками боевого ландшафта. Таков один из символов, знаменующих распад военного сословия, и, подобно всем символам нашего времени, он выступает под маской абсолютной целесообразности. Развитие сводится к тому, что солдатская униформа все однозначнее представляется частным случаем рабочей униформы. Вместе с тем пропадает различие между униформой военного времени, мирного времени и парадной униформой. Парад символизирует наивысшую готовность к войне и в этом качестве демонстрирует новейшие и на настоящем этапе наиболее эффективные средства.

Одежда рабочего в той же мере не является сословной, в какой и сам рабочий не может считаться представителем некоего сословия. Еще в меньшей степени ее можно рассматривать как классовый при-

знак, то есть, скажем, как одежду пролетариата. Пролетариат в этом смысле есть масса старого стиля, как его индивидуальная физиономия есть физиономия бургера, только без стоячего воротничка. Пролетариат представляет собой весьма растяжимое экономико-гуманитарное понятие, но не органическую конструкцию, как символ гештальта, — точно так же и пролетария можно рассматривать как страдающего индивида, но отнюдь не как тип.

Если бургерская одежда развивалась в традиции нарядов старых сословий, то рабочий наряд, или рабочая униформа, обнаруживает самостоятельный и совершенно иной характер; она принадлежит к внешним признакам революции *sans phrase*. Ее задача состоит не в том, чтобы подчеркивать индивидуальность, а в том, чтобы выделять тип, — потому она и появляется там, где формируются новые команды, будь то в области борьбы, спорта, товарищества или политики. Равным образом, во многих случаях ее можно увидеть там, где речь заходит о снаряжении, то есть там, где человек видится в тесной — кентаврической — связи с находящимися в его распоряжении техническими средствами. Очевидно, что число случаев, когда требуется специальный наряд, увеличивается. Но что, быть может, еще не столь очевидно, так это тот факт, что за совокупностью этих случаев скрывается тотальный характер работы.

Оказывается, что массы бывают особенно плохо одеты по воскресным дням, — в любом случае хуже, чем спортивные команды или гонщики, на соревнования которых они спешат, но и хуже, чем в своей повседневной деятельности одето большинство составляющих эти массы единичных людей. Сопряжено

это, во-первых, с тем, что воскресенье является символом пришедших в упадок культовых установлений, а во-вторых — с понятием «парадной комнаты», с которым человек расстается очень неохотно. Как раз такой «парадной комнатой» является и индивидуальность; за нее крепко держатся, ей пытаются найти выражение, хотя использовать ее можно теперь лишь в не столь частых и не столь значительных случаях. Этим объясняется излишняя слабость и неуверенность идеологической позиции, характерная сегодня для единичного человека в сравнении со значимостью и последовательностью предметных взаимосвязей, в которые он вовлечен. Однако эта несоразмерность, эта недостаточность будет становиться все менее заметна в той мере, в какой будут возрастать требования, которые тотальный характер работы предъявляет к единичному человеку. Мы знаем, что эти требования не довольствуются частными мерами. Представление тотальной картины мира, как оно начинает проступать под рациональным и техническим обличьем, включает также и упорядоченное единство наряда, в котором, конечно же, в дальнейшем просматривается совсем новый смысл.

Ограничимся, между тем, настоящим. Мы видим, что наряд, как и вообще внешний облик, становится более примитивным как в связи с образованием новых команд, так и в связи с применением технических средств, — примитивным в том смысле, в котором следует говорить о расовом признаке. Занятие охотой и рыбной ловлей, проживание в определенном климате, уход за животными, особенно за лошадьми, влекут за собой сходное однообразие. Это однообразие — одна из отличительных черт усиления

предметных связей, которые предъявляют к индивиду свои требования. Совокупность этих предметных связей постепенно растет; некоторые из них мы уже затронули, а других еще коснемся, когда речь более подробно пойдет об органических конструкциях.

## 37

Мы исходили из того, что облик типа напоминает маску, и это впечатление подчеркивается также самим нарядом. Некоторые замечания о манере держаться и жестикуляции могут дополнить описание этого первого впечатления.

В восприятии человека и групп людей, если его рассматривать на примере живописи последних ста лет, выдает себя прогрессирующее стремление к определенности контура. Отношение людей друг к другу, как его предлагает нашему взору романтическая школа во фрагментах улиц, площадей, парков или замкнутых пространств, еще оживлено поздней гармонией, скоротечной устойчивостью, в которой звучит эхо великого образца и которая соответствует общественным отношениям времен Реставрации.

Лишь исходя из этого настроения можно понять те скандальные обстоятельства, которые были связаны с появлением в салонах первых импрессионистских портретов и сегодня совершенно для нас непонятных. Человека — представлен ли он по отдельности или в группах — мы обнаруживаем здесь в странном образом расслабленных и немотивированных позах, которые, для того чтобы их можно было оправдать, по большей части нуждаются в полумраке.

Поэтому среди мотивов предпочтение отдавалось освещенным лампами садам, бульварам в искусственном свете первых газовых фонарей, а также окутанным туманом, сумеречным или озаренным солнечными бликами ландшафтам.

Этот процесс декомпозиции усиливается от десятилетия к десятилетию, чтобы в нескольких потрясающих и отчасти блестящих своих побегах достичь границ нигилизма; он протекает одновременно со смертью индивида и исключением массы из набора политических средств. Речь здесь уже едва ли может идти о художественных школах, но, скорее, о ряде клинических станций, которые при свете дня регистрируют и фиксируют каждую конвульсию гибнущего индивида.

Уразумение того, с какой неумолимостью музыка цвета сопровождает гибель и страдания индивида, представляет собой все-таки не единственный оптический источник, находящийся в распоряжении у наблюдателя. Не случайно, что одновременно с означенным переломом люди и вещи попадают под холодный и бесстрастный взгляд искусственного глаза, и существует весьма показательное соотношение между тем, что способен фиксировать, с одной стороны, глаз художника, а с другой — фотографическая линза.

Здесь следует упомянуть один факт, о котором с удивлением узнали лишь совсем недавно, а именно, что в отображении индивидуального характера первые фотографические портреты намного превосходят современные. В некоторых из этих фотографий выражается живописный настрой — до того, что стираются границы между искусством и техникой. Это пытались

объяснить различиями в процедурах, скажем, различием между ручной и механизированной работой, — и тоже были правы.

Но открытие более высокого порядка состоит в том, что в те времена световой луч встречал на своем пути намного более плотный индивидуальный характер, чем это возможно сегодня. Этот характер, который отражается даже в мельчайших предметах обихода, сохранившихся до наших дней, наделяет особым достоинством и те фотографии. Упадок индивидуальной и общественной физиогномики, как с ним имеет дело живопись, можно затем наблюдать и в фотографии; он доходит до той стадии, когда созерцание фотографий, вывешиваемых фотографами на пригородных выставках, превращается в опыт общения с какими-то призраками.

Но в то же время можно наблюдать и разработку все более тонких средств, что было бы немислимо, если бы их смысл ограничивался фиксацией чего-то малозначащего. На самом деле все обстоит иначе. Скорее, мы обнаруживаем, что жизнь начинает демонстрировать фрагменты, которые предназначены именно для линзы и совершенно не предназначены для карандаша. Это справедливо всюду, где жизнь входит в органическую конструкцию, а, стало быть, справедливо и в отношении того типа, который появляется вместе с этими конструкциями и в их рамках.

Смысл фотографии для типа меняется, а вместе с ним меняется и то, что понимают под фотогеничностью. Направление этого изменения и здесь представляется как движение от многозначности к однозначности. Световой луч отыскивает качества иного

рода, а именно резкость, определенность и предметность черт. Можно показать, что искусство пытается согласовать свои начала с этим оптическим законом и исходя из этого взять на вооружение новые средства.

Однако непозволительно забывать, что речь здесь идет не о причине и следствии, а об одновременных процессах. Нет чисто механического закона; изменения в механическом и органическом составе объединены пространством более высокого уровня, которое задает причинность частных процессов.

Поэтому нет никакого человека-машины; есть машины и есть люди, — однако существует глубокая связь, выражающаяся в одновременном появлении новых средств и нового человечества. Правда, для того чтобы уловить эту связь, нужно постараться заглянуть под стальные и человеческие маски эпохи и угадать гештальт — ту метафизику, которая приводит их в движение.

Так и только так, исходя из пространства высшего единства можно понять отношение между людьми особого склада и необычайными средствами, которые находятся в их распоряжении. Повсюду, где при этом ощущается диссонанс, ошибку надлежит искать в выборе точки наблюдения, а не в бытии.

### 38

Тот факт, что здесь репрезентирован тип, а не индивид, становится еще более отчетливым на примере кино.

В упадке классического театра, последние жалкие фазы которого еще могли наблюдать мы сами, нужно видеть процесс, начавшийся уже к концу XVIII века. Ибо в нем отражается упадок не индивида, а личности, которая является выражением сословного мира. К театру относится не только пьеса, не только актер; ему принадлежит дыхание жизни, врывающееся с улиц и площадей, из дворов и домов и заставляющее дрожать пламя укрепленных на люстрах свечей. Театру принадлежит абсолютный монарх, чье зримое присутствие образует центр, гарантирующий внутреннее единство процесса.

Но все это, вся эта совершенно не представляемая для нас гармония, временами доносящаяся до нас в рассказах эхом удивительной музыки, становится пустой реминисценцией с той минуты, когда вместо абсолютных принципов предметом стремления человека становятся всеобщие принципы. Утрата классической пьесой связи с действительной жизнью сказывается в том, что новый круг зрителей посещает ее, чтобы *получить удовольствие*. Наверное, ничто так не обостряет чувство утраты этого единства, как та преграда, которая возвышается между сценой и зрительным залом; давно уже исчезли те ряды кресел, благодаря которым партер доходил до самых подмостков.

Эта незримая преграда, превращающая сцену в трибуну, отделяет, однако, не только зрителя от актера, но и актера от пьесы. Упадок театра выражается в том, что в момент крушения сословного мира появляется великий актер и начинает делать себе имя, как это можно наблюдать в Лондоне, Париже и Берлине. Однако этот великий актер есть не кто иной, как



бюргерский индивид, и его появление разрывает закономерность классической пьесы также и на сцене.

В победе восприятия действия над традиционными правилами исполнения и характерами отражается победа индивида над личностью. Придворный театр конституционной монархии опускается до культурного мероприятия, до морального института, до музейного дела. Общественное мнение, которое он все более однозначно воплощает, не принадлежит никому-либо привилегированному слою, а является мнением платящей деньги публики и оплачиваемой критики. Поэтому он не в состоянии избежать санкции под напором следующих друг за другом посягательств со стороны витальной анархии, так называемой буржуазной драмы и социальной дискуссии.

И все же тут остается еще след внешнего единства, тогда как в последствии, на народной сцене бюргерской демократии театр распадается на ряд самостоятельных и враждебных друг другу элементов. Здесь мы обнаруживаем его как инструмент всеобщего образования, как предприятие, объединение, партийное дело, короче, как выражение всех стремлений, собственных бюргерскому обществу. Правда, театр этот — уже не театр, равно как и это общество уже не является обществом в подлинном смысле слова. Решающий слом, как мы говорили, происходит уже очень рано; в истории он отмечен крупными театральными скандалами, в которых обнаружилось, что старое общество уже не ощущало более своего единства.

Чтобы в развитии кинематографа, начинающемся в нашу эпоху, видеть не дальнейшее снижение ранга, достигшее нового уровня, а выражение всецело иного принципа, нужно уяснить себе, что его технический

характер и используемая аппаратура здесь тоже не является решающими. Это вытекает уже из того, что технические средства проникли также и в театр, что можно видеть на примере вращающейся сцены, серийных постановок и других явлений.

Точка зрения качественных отличий, опираясь на которую театр старается занять какое-то особое положение, является поэтому ошибочной. Необходимо прежде всего знать, что притязание на качество скрывает ныне за собой два совершенно различных способа оценки. Индивидуальное качество всецело отлично от качества, которое получает признание у типа. В последнюю фазу бюргерского мира под качеством подразумевался индивидуальный характер, в частности, индивидуальный характер какого-либо товара, его уникальное исполнение. В силу этого картина старого мастера или предмет, приобретаемый в антикварных лавках, обладает качеством в совершенно ином смысле, чем вообще можно было себе представить во времена их возникновения. Наличие рекламы, механизм которой приводится в действие одинаковым способом как в случае марки сигарет, так и в случае столетнего юбилея какого-нибудь классика, отчетливо показывает ту степень, в какой качество и торговая стоимость стали тождественны. Качество в этом смысле есть подвид рекламы, создающий у массы иллюзию потребности в индивидуальном характере. Но так как тип этой потребности уже не ощущает, этот процесс становится для него чистой фикцией. Так, человек, который водит тот или иной автомобиль, никогда не возомнит всерьез, будто он владеет машиной, сконструированной с учетом его индивидуальных требований. Напротив, он с правомерным недо-

верием отнесся бы к автомобилю, существующему лишь в одном экземпляре. То, что молчаливо предполагается им как качество, оказывается, скорее, типом, маркой, серийной моделью. Индивидуальное же качество обладает для него достоинством курьеза или музейного экспоната.

Та же самая фикция используется и там, где театр в оппозиции кинематографу отстаивает свое право на качество, то есть в данном случае — свое художественное превосходство. Понятие уникального исполнения выступает здесь как обещание уникального переживания. Но это уникальное переживание относится к вещам, составляющим первостепенную заинтересованность индивида. До открытия бургерского индивида оно не было известно, ибо абсолютное и уникальное с необходимостью исключают друг друга; и оно теряет свое значение в том мире, где начинает пробивать себе путь тотальный характер работы.

Уникальное переживание — это переживание из бургерского романа, то есть из романа об обществе робинзонов. В театре уникальное переживание сообщается через посредство актера, выступающего в своем качестве бургерского индивида, и потому театральная критика все более определенно превращается в критику актеров. С этим соотносятся те фатальные дефиниции, под которые XIX век подводил искусство, пытаясь определить его как «природу, увиденную сквозь призму темперамента» или как «судебный процесс над собственным я» и т.п. — дефиниции, общий признак которых состоит в том, что индивидуальному переживанию приписывается высокий ранг.

Подобного рода споры о качестве вращаются вокруг утративших свою реальность осей. При сравне-

нии театра и кино искусство никоим образом не выступает как средний член сравнения, тем более в ту эпоху, когда об искусстве уже нельзя или еще нельзя вести речь. Решающая постановка вопроса, в которой состоит суть дела и которая сегодня вообще еще не сознается, заключается, скорее, в следующем: какое из двух этих средств репрезентирует тип с наибольшей отчетливостью. Только когда удастся уяснить себе это, понять, что дело тут не в ранговых различиях, а в инаковости этих средств, — только тогда откроется возможность взглянуть на вещи с необходимой непредвзятостью. Тогда мы поймем разницу между театральной публикой и той, что собирается в близлежащем кинотеатре, хотя сумма единичных людей в обоих случаях остается той же. Мы поймем, почему в театральной актере стараются уловить индивидуальность, его личный взгляд на действие, в то время как от киноактера эта индивидуальность вовсе не требуется. Существует разница между характерной маской и маскоподобным характером целой эпохи.

Киноактер подчиняется иному закону, поскольку его задача состоит в изображении типа. Поэтому от него требуют не уникальности, а однозначности. От него ждут, что он выразит не бесконечную гармонию, а точный ритм жизни. Поэтому ему надлежит играть, сообразуясь с закономерностями определенного и очень предметного пространства, чьи правила вошли в плоть и кровь каждого отдельного зрителя.

Такое обстояние дел, пожалуй, нигде не выступает столь отчетливо, как там, где фильм затрагивает будто бы прямо противоположную тему, а именно, тему подчиненности человека этому пространству. Так

наше время породило особый гротеск, комичность которого состоит в том, что человек оказывается игрушкой технических объектов. Высокие здания построены только для того, чтобы с них падать, смысл дорожного движения состоит в том, чтобы человек попадал под колеса, а моторов — в том, чтобы он взрывался вместе с ними.

Этот комизм реализуется за счет индивида, который не знает основополагающих правил пространства, организованного с высокой точностью, и не владеет жестами, которые естественно вытекают из этих правил; контраст же, в котором этот комизм выражается, состоит как раз в том, что эти правила совершенно очевидны для зрителя. Стало быть, над индивидом здесь потешается именно тип.

По сути дела, в насмешке здесь вновь открывается знак ужасной первобытной вражды, и киносансы, идущие в центрах цивилизации, в безопасных, теплых и хорошо освещенных залах, вполне можно сравнить с теми сражениями, где пулеметным огнем расстреливают племена, вооруженные луком и стрелами.

Нежелание причинить обиду, чистая совесть и беспристрастность в высшей степени характерны для всех участников революции *sans phrase*. Разрушительная же насмешка, как разновидность комизма, принадлежит переходному времени. Его воздействие уже сегодня начинает блекнуть, и если через пятьдесят лет такой фильм выкопают из архивов, он никому не будет понятен, подобно тому как сегодня постановка «*Mère souvable*»\* уже не способна своим волшебством

---

\* «Преступная мать» (фр.).

пробудить в нас ощущения начинающего сознавать себя индивида.

Тот факт, что речь тут идет об изображении пространства, обладающего иной природой, вытекает также из того соображения, что перенос классической пьесы на подмостки бургерского театра может рассматриваться как ее воспроизведение с помощью более слабого средства, тогда как в случае экранного переложения не остается и следа от прежнего тела. В кинокартине, мотивом которой выступает классическая пьеса, она обнаруживает гораздо меньше родства со своим прообразом, чем с еженедельным политическим обозрением или сценами африканской охоты, которые демонстрируются одновременно с ней. Этим, однако, знаменуется притязание на тотальность. Какой бы исторический сюжет, географический ландшафт, фрагмент общественной жизни не использовался в качестве темы, вопрос, который ищет себе ответа в этой теме, остается одним и тем же. Отсюда становится ясно, что используемые в работе средства в высшей степени однообразны, однозначны и применяются в одно и то же время, короче говоря, они являются типическими.

В частности, это видно и по внешним признакам. Кинематографу не известны одноразовые показы и премьеры в собственном смысле слова; один и тот же фильм идет сразу во всех кварталах города и может быть при желании повторен с точностью до секунды и до миллиметра пленки. Публика здесь ни чем особенным не отличается, это не какое-нибудь сообщество эстетов; скорее, она представляет собой ту общественность, которую можно встретить и в любой другой точке жизненного пространства. Примечательно

также, что ослабевает и влияние критики; ее замещают анонсом, то есть рекламой. От актера, как уже было сказано, требуется представлять не индивида, а тип. Это предполагает значительную однозначность мимики и жестов — однозначность, которая совсем недавно стала более отчетливой благодаря применению искусственного голоса, а в дальнейшем будет усилена еще и другими средствами.

## 39

Здесь мы хотим еще раз напомнить себе о нашей задаче, которая состоит в том, чтобы видеть, а не в том, чтобы оценивать. А там, где мы видим, отговорки касательно того, что речь тут, быть может, идет о крайне сомнительном удовольствии, становятся столь же несущественными, как и замечание о том, что человеку в доспехах, быть может, была присуща большая ценность, чем человеку с винтовкой. Жизнь проходит мимо таких возражений, остающихся неприемлемыми, и задача героического реализма состоит в том, чтобы утверждать себя невзирая на них и даже вопреки им.

Для нас, как уже было сказано в другом месте, речь идет не о старом и новом, не о средствах или инструментах. Речь, скорее, идет о новом языке, на котором вдруг начинают говорить, и человек либо отзывается, либо остается глух к нему, — и этим определяется его действительность.

Новой здесь оказывается та внезапность, к которой должна быть готова жизнь, от чего зависит ее триумф или смерть. Она подстерегает в отдельных

точках и высвечивает сферу уничтожения, которому мы подвергаемся или превозмогаем. Стук ткацких станков Манчестера, треск пулеметов Лангемарка — это знаки, слова и предложения той прозы, которая требует, чтобы мы истолковали ее и овладели ей. Люди сдаются, если отказываются внимать ей, если отбрасывают ее как бессмыслицу. Важно отгадать тайный, мифический закон, действующий сегодня как и во все времена, и пользоваться им как оружием. Важно овладеть этим языком.

Если мы поймем это, отпадет необходимость в дальнейших словах. Мы поймем тогда, что наблюдение за человеком, эта высшая форма охоты, именно в наше время обещает большую добычу. Критика, обязательное сомнение, неутомимая работа сознания породили такое состояние, которое позволяет вести беспрепятственное наблюдение за самим критиком, который слишком занят для того, чтобы увидеть простое. Мы обнаружим, что значимость присуща людям не там, где они считают себя значительными, не там, где они проблематичны, а там, где они не составляют проблемы.

Стараясь услужить Агасферу, мы не поведем его в библиотеки, это нагромождение книг — или, если и поведем, то лишь с той целью, чтобы показать, как переплетены эти книги, каким названиям отдается предпочтение и как одета публика. Лучше проведем его по улицам и площадям, заглянем в дома и во дворы, в самолеты и станции метро — туда, где человек живет, борется или наслаждается, короче, туда, где он находится за работой. В жесте, которым единственный человек разворачивает газету и просматривает ее, можно разглядеть больше, чем во всех передо-



вицах мира, и нет ничего более поучительного, чем простоять четверть часа на каком-нибудь перекрестке. Что может быть проще и скучнее, чем автоматизм уличного движения, но разве и он не является знаком, символом того, что сегодняшний человек начинает двигаться, подчиняясь беззвучным и незримым командам?

Жизненное пространство становится все более однозначным, самоочевидным, и в то же время возрастает наивность, невинность движения в этом пространстве. Но здесь-то и спрятан ключ к другому миру.

Теперь возникает вопрос, не следует ли искать за масками времени что-то еще, кроме смерти индивида, от которой застывают черты лица и которая, в сущности, есть нечто большее и причиняет более сильную боль, чем всего лишь черта, разделяющая два века. Ибо черта эта знаменует в то же время окончательное исчезновение старой души, распад которой начался еще раньше — еще с завершения эпохи универсальных состояний и до появления абсолютной личности.

## РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ИЕРАРХИЯМИ ТИПА И ИНДИВИДА

40

Мы рассмотрели внешние характеристики типа на нескольких примерах, число которых может быть при желании увеличено. Общий процесс, лежащий в основе этих характеристик, состоит в исчезновении индивидуальности, которое в многообразных переходных ситуациях воспринимается как утрата.

Эту утрату можно наблюдать и в высочайших формах жертвенности, и в формах вегетативного увядания, в формах бюргерской смерти. Выдающийся представитель индивида, гений, первый оказывается захвачен настроениями упадка. Завершается этот процесс наступлением смерти на массы, которое в неприметных ударах или в очевидных катастрофах идет непрерывно и продлится еще неизвестно сколько времени. Как только это становится ясно, отпадает уже всякая нужда заниматься частностями.

Надлежит все же отдавать себе отчет, что приведенная дефиниция типа имеет негативный характер. Если из индивида вычесть индивид, то не остается ничего. Доказательство этому приводилось в наше время бесчисленное число раз, как на практике, так и в теории, причем с большими затратами средств. Достигнув этой точки, можно закрывать дело, при условии, что мы намерены придерживаться того понятия о развитии, которое принадлежит к центральным мировоззренческим понятиям XIX века. Именно ход не знающего пределов развития, безбрежный поток до-

влеющего над природой разума поддерживает уникальное переживание индивида и открывает для него перспективы.

Однако ничто не заставляет нас придерживаться того словаря, откуда взяты эти понятия. Завершение развития индивида, то есть его смерть, характеризует тип лишь постольку, поскольку оно относится к его безусловным предпосылкам. Только полное разрушение старых построек, потерявших свой смысл, дает возможность проявиться действительности нового силового поля.

Намного более важная характеристика типа, его подлинная свобода, состоит как раз в его принадлежности этому силовому полю. Господство над этим полем осуществляет гештальт рабочего. Но там, где выступают гештальты, отступает любое понятие, в том числе и понятие развития. Гештальт не исключает развития, а объемлет его как проекцию на плоскость причинности точно так же, как он становится и новым центром для написания истории.

Сущностная сила типа заключается в том, что он отнесен к иному настоящему, к иному закону и пространству, центр которого составляет гештальт, — другими словами, в том, что он говорит на ином языке. Но там, где начинают говорить на ином языке, заканчиваются дебаты и начинается действие. Начинается революция, сильнейшее средство которой следует видеть в чистом существовании, в простом наличии. Это существование завершено в себе, господствует над энциклопедией своих понятий; в отношении иерархического порядка оно не подлежит никакому сравнению, но само в себе содержит средства, необходимые для установления этого порядка. Коль скоро

дело обстоит так, то уже первое появление типа должно включать в себя признаки особой иерархии.

То, что на первый взгляд затрудняет усмотрение этой иерархии, — это всеобъемлющая нивелировка, которой оказывается подвержен человеческий состав. Это выравнивание началось, по всей видимости, уже в пору победного шествия универсальных принципов, когда было выдвинуто требование равенства для всего того, что носит человеческий облик.

Но если посмотреть более внимательно, окажется, что это равенство, безусловно, имеет свои границы. Как понятие развития образует естественный фон, поддерживающий уверенность индивида в том, что он обладает уникальным переживанием, так понятие бюргерской свободы образует для этого правовой фон. Здесь, однако, деление прекращается. Индивид, как показывает само его имя, есть неприкосновенная молекула мирового порядка, в структуре которого он определяется двумя полюсами, присущими ему в силу естественного права, — полюсом разумного и полюсом нравственного. Этот его ранг подтверждается не только первыми положениями всех конституций XIX века, но и громкими словами, коими дух приветствует его первое появление: от слов о «моральном законе во мне» до «наивысшего счастья детей земли», которое видится в «личностном» сознании.

Ничем иным, кроме как культом индивида, нельзя объяснить и то грандиозное воздействие, которое к концу XVIII века начала оказывать физиогномика. Это стало открытием нравственного индивида, по времени совпадающим с открытием на Таити естественного и, тем самым, разумного индивида. К тому же силовому полю принадлежат и слова «гениальный»

и «сентиментальный». Этот культ приводит затем к такому состоянию, когда культурная и военная история не только рассматривается как результат индивидуальной воли, причем особе предпочтение отдается Ренессансу и французской революции, — но, кроме того, отчасти просто-напросто замещается биографией исторического персонажа или художника. Так возникают целые системы биографий, в которых существование выдающихся индивидов выделено и разбито по дням и часам. Материал неисчерпаем, поскольку он может быть по-разному освещен, исходя опять-таки из индивидуальной точки зрения. Тема всегда остается одной той же: дело идет о развитии и об уникальном переживании. Тот же самый масштаб переносится затем и на индивида, занятого хозяйственной деятельностью и стоящего в центре экономического исследования, будь он то как участник производства, то как деятель, проявляющий инициативу в ходе прогрессивного развития, которая выступает отныне как железный закон экономической конкуренции.

Чтобы понять, что в этом пространстве теоретическое равенство вполне совместимо с практическим наличием иерархии, надлежит знать, что индивид здесь может по желанию рассматриваться и как правило, и как исключение. Открытие человека, при всем его опьяняющем воздействии на умы, является открытием с некоторыми ограничениями: оно относится лишь к человеку в его специфическом индивидуальном качестве. Коль скоро единичный человек выступает как таковой, он может позволить себе многое; он располагает большими привилегиями, чем было возможно в другие, более строгие времена.

Так определенное понятие собственности наделяет экономического индивида большой распорядительной властью, которая не несет ответственности ни перед обществом, ни перед прошлым и будущим. Поставщик вооружения может изготавливать военные средства для какой угодно власти. Всякое новое изобретение есть часть индивидуального существования; логично, что оно достается тому, кто предлагает наибольшую цену. Одной из первых мер, принятых в Германии после окончательной победы индивида, явилась вовсе не национализация крупной земельной собственности, а упразднение фидеикомисса и майората, то есть перемещение собственности от рода к индивиду.

Равным образом, можно отметить особое и весьма своеобразное возбуждение всюду, где какой-нибудь выдающийся индивид, скажем, художник, вступает в соприкосновение с уголовным процессом. Теоретически все бюргеры равны перед законом, однако на практике каждый случай стремятся рассматривать как исключение, то есть как уникальный опыт. Указание на его индивидуальный характер может по меньшей мере послужить смягчающим обстоятельством; поэтому в судопроизводство все сильнее проникает медицинская, а в последнее время и психологическая экспертиза, равно как, в известных случаях, и социальные показатели.

В соответствии с этим, для человека, обладающего ярко выраженной, скажем, писательской индивидуальностью, этот процесс превращается в особую разновидность рекламы, в форум, с которого единичный человек обвиняет общество. Мы уже касались той оценки индивидуального существования, которая вы-

ражается в ожесточенной борьбе за отмену смертной казни и находится в странной диспропорции с количеством случаев умерщвления еще не рожденных детей.

Все это подтверждает тот факт, что в этом пространстве мы обладаем каким-либо рангом в той мере, в какой обладаем индивидуальностью. Что здесь, как и всюду, имеются определенные правила борьбы, разумеется само собой: как оружие в ход пускается именно индивидуальность, и этот факт, быть может, наиболее удачно отразился в обретших уже популярность словах о том, что дорога открыта для сильных.

А кто именно здесь является сильным, это в разъяснениях не нуждается.

## 41

Тот факт, что тип уже не причастен к такой иерархии, в этом пространстве может быть истолкован лишь как признак отсутствия ценности. Цель воспитательной работы, которую бюргер проводил с рабочим, состояла исключительно в том, чтобы сделать его представителем этой специфической иерархии, — чтобы решительным образом привлечь его к продолжению старой дискуссии. Тем не менее в наше время стало очевидным, что продолжать ее уже никак невозможно.

Поэтому стоит, быть может, серьезнее задуматься над тем обстоятельством, будто бы тип лишен ценности, чтобы посмотреть, не содержится ли уже именно в нем указание на иерархию совсем иного рода. Лучше всего начать с отношения человека к числу,

потому что упрек в отсутствии ценности любит рядиться в формулировку, согласно которой единичный человек превратился в некую цифру.

Произошедшее здесь изменение лучше всего выразить так: в XIX веке единичный человек изменчив, а масса постоянна, тогда как в XX веке, напротив, единичный человек постоянен, а формы, в которых он является, обнаруживают большую изменчивость. Это связано с тем, что потенциальная энергия жизни требуется во все возрастающей мере, — а это предполагает минимальную степень сопротивления со стороны единичного человека. Масса по сути своей лишена гештальта, поэтому оказывается достаточным чисто теоретического равенства индивидов, подобных кирпичам, из которых она слагается. Напротив, органическая конструкция XX века представляет собой кристаллическое образование, поэтому от выступающего в ее рамках типа она в совершенно иной степени требует структурной оформленности. Жизнь единичного человека становится из-за этого более однозначной, более математической. Поэтому не стоит уже удивляться, что число, а именно точная цифра, начинает играть в жизни все большую роль; это связано с характером типа, который подобен маске и о котором уже заходила речь.

В качестве эквивалента революционному вторжению физиогномики в конце XVIII века следует назвать на первый взгляд загадочное возрождение астрологии, коему мы были свидетелями. Это увлечение имеет столь же мало общего с классической астрологией, сколь хиромантия — с современной дактилоскопией. Скорее, оно соответствует имеющейся у типа склонности ссылаться на точное расположение



светил. Там, где сливаются индивидуальные различия, повышается значение гороскопических предначертаний.

В соответствующей мере изменяются и средства идентификации. Для того чтобы установить тождественность собственного Я, индивид обращается к ценностям, которые отличают его от других, — то есть к своей индивидуальности. Напротив, тип выказывает стремление отыскать признаки, лежащие за пределами единичного существования. Так мы сталкиваемся с математической, «научной» характерологией, например, с расовыми исследованиями, простирающимися вплоть до измерения и исчисления кровяных телец. Пространственному стремлению к единообразию во временном плане соответствует увлеченность ритмом, в частности, ритмом повторений, что приводит к стремлению видеть во всеобъемлющих картинах мира ритмически-закономерные повторения одного и того же основного процесса.

Не менее показательны, что начинают меняться и представления о бесконечном. Обнаруживается тенденция, стремящаяся схватить в цифрах как бесконечно малое, так и бесконечно большое, атом и космос — «звездное небо надо мной». То же и в случае бесконечно малых расстояний; возникает особое искусство измерения колебательных процессов, в котором определенная роль не без основания отведена кристаллу. Наконец, бесконечно малый отрезок развития тоже теряет свой неопределенный характер; вариация, с ее нескончаемой конкуренцией индивидов, в ходе которой развиваются виды, становится мутацией, которая внезапно и решительно выступает на свет как определенная величина.

Все эти процессы поддаются толкованию лишь в том случае, если за ними угадывается господство гештальта, которое подчиняет себе смысл типа, то есть рабочего. Гештальт нельзя постичь с помощью всеобщего и духовного понятия бесконечности, но только с помощью особенного и органического понятия тотальности. Эта завершенность приводит к тому, что цифра поднимается здесь до совсем иного ранга и выступает в непосредственной связи с метафизикой. Разве не понятно, что в то же мгновение должна измениться и физика, что она должна приобрести характер волшебства?

Не менее важно и то, каким способом цифра проявляется в повседневной жизни. Его можно наблюдать на примере тех в равной мере неприметных и упорных посягновений, в которых она пытается заменить собою фамилии людей. Об этом свидетельствует уже алфавитный порядок бесчисленных указателей и регистров, которые позволяют получить сведения о единичном человеке. Этот алфавитный порядок придает буквам значение цифр, и перечисление имен в старой офицерской табели о рангах сильно отличается от такого перечисления в современном телефонном справочнике.

Подобно тому как растет число эпизодов, в которых единичный человек появляется в маске, учащаются и те случаи, когда его имя приходит в тесное соприкосновение с цифрой. Это происходит в многообразных и ежедневно умножающихся эпизодах, когда можно вести речь о подключении к чему-либо. Энергетическая, транспортная служба и служба новостей выступают в качестве поля, в координатной системе которого единичный человек может быть

представлен как определенная точка, — «на него выходят», скажем, набирая номер на телефонном диске. Функциональная ценность таких средств возрастает с ростом числа тех, кто ими пользуется, — но никогда это число не бывает массой в старом смысле слова, а всегда — величиной, ежеминутно требующей уточнения в цифрах. Старое понятие фирмы также оказывается подвергнуто этим изменениям; существенную гарантию дает уже не имя владельца, и потому, например, в рекламе оно применяется уже не как индивидуальное, а как типическое средство. Сообразно этому все чаще случается, что названия фирм возникают благодаря отвлеченному использованию алфавита, например, путем составления всякого рода аббревиатур.

Стремление выражать любое отношение в цифрах в особенности проявляется в статистике. Здесь цифра играет роль понятия, которое под различными углами зрения многократно пронизывает один и тот же материал. Из такого стремления развилась особая логическая аргументация, где за цифрой признается достоинство доказательства. Более важно то, что методика, освещающая единичного человека, не ограничивается рассмотрением его как части некоей суммы, а старается включить его в тотальность явлений. Быть может, это станет ясно на примере разницы между переписью населения или подсчетом избирательных бюллетеней, с одной стороны, и выраженным в очках результатом психотехнического теста или параметрами технической производительности, с другой.

Следует еще сказать несколько слов о рекорде как выраженной в цифрах оценке человеческих или тех-

нических достижений. Рекорд — это символ воли к непрерывному использованию ресурсов потенциальной энергии. Подобно тому как в пространственном плане мы желаем, чтобы единичного человека можно было застичь в любом месте и в любое время, в динамическом плане мы стремимся постоянно быть в курсе того, каковы крайние пределы его работоспособности.

## 42

Очевидно, что в этом очень точно, очень конструктивно организованном пространстве с его часами и измерительными приборами уникальный и индивидуальный опыт замещается опытом типическим. Незвестность, таинственность, очарование и многообразие этой жизни заключается в ее завершенной тотальности, и причастными к этому миру становятся в той мере, в какой включены в него, а не противостоят ему.

Биполярность мира и единичного человека составляет счастье и страдание индивида. Напротив, тип располагает все меньшими средствами для того, чтобы критически отстраниться от своего пространства, вид которого для чужого глаза наверняка произвел бы впечатление страшной или же удивительной сказки. Этот плавильный процесс выражается в возрастании числа предметных связей, которыми оказывается захвачен единичный человек.

Поэтому даже открытия в этом пространстве уже не кажутся удивительными, они составляют часть повседневного стиля жизни. Приходящееся на наши дни новое открытие мира, совершаемое в отважных

полетах, является результатом не индивидуальных, а типических достижений, которые сегодня считаются рекордами, а уже завтра становятся чем-то обыденным и привычным. К типическому опыту относится также открытие нового, например, городского ландшафта или ландшафта сражения. Поэтому значительным оказывается уже не индивидуальное или уникальное свидетельство, а то, которое подтверждается со стороны типа. Столь часто оплакиваемый упадок литературы означает лишь, что устаревшая литературная постановка вопросов утратила свою былую значимость.

Не подлежит сомнению, что какой-нибудь дорожный справочник имеет сегодня большее значение, нежели бюргерский роман со своим избитым уникальным переживанием. Тот, кто стремится возвысить это переживание, поставив его в центр рабочего или боевого ландшафта, выставляет себя на посмешище. Дело не в том, что новое пространство не может быть схвачено в литературной форме, но, скорее, в том, что никакая индивидуальная постановка вопроса не находит в нем опоры для себя. Постичь это пространство — вот та задача, особую закономерность которой еще только предстоит открыть. Лишь когда это произойдет, можно будет снова задаться вопросом о книгах и их читателях.

Другой аспект этого положения вещей состоит в том, что люди стали проще умирать. Это можно наблюдать везде, где за дело принимается тип. Бесчисленные жертвы, которых требует воздухоплавание, не способны хоть в какой-то мере повлиять на этот процесс. То же самое, разумеется, можно сказать и о

мореплавании: «*Navigare necesse est*».\* Однако существует разница между гибелью, причиной которой стали силы природы, и понятием несчастного случая, как оно развилось в нашем пространстве. Если в обоих случаях вести речь о судьбе, то в первом она проявляется как вмешательство непредсказуемых начал, тогда как во втором — в тесном отношении к миру цифр. Это придает ей особый оттенок сухой необходимости.

Полагаясь на свои собственные ощущения или на опыт других, это можно констатировать там, где близость смерти связана с высокими скоростями. Скорость оказывает опьяняющее воздействие даже на трезвого человека, и группа гонщиков, каждый из которых подобно кукле сидит за своим рулем, производит странное впечатление смещением точности и опасности движений, возросший темп которых характерен для типа.

Еще резче это отношение проступает там, где человек активно распоряжается жизнью и смертью. Тип занят разработкой такого оружия, которое для него наиболее характерно. Вид и способ применения оружия изменяется в зависимости от того, направлено ли оно против личности, против индивида или против типа. Там, где в бой вступает личность, столкновение разворачивается по правилам поединка, все равно, сходятся ли в нем единичные люди или целые армейские корпуса. Ситуацию характеризует то, что противника стараются поразить ручным оружием. Даже артиллерист старого времени, начальник орудия, в какой-то мере еще работает вручную. Индивид высту-

---

\* «Мореплавание все равно необходимо» (лат.).

пает en masse; поразить его могут средства, которым свойственно массовое воздействие. Поэтому одновременно с его вступлением в пространство борьбы появляется «большая батарея», а позднее, в ходе индустриализации — пулемет.

Для типа, напротив, поле сражения есть частный случай тотального пространства; поэтому в борьбе он представлен средствами, которым свойствен тотальный характер. Так возникает понятие зоны уничтожения, которая создается сталью, газом, огнем или иными средствами, а также политическим или экономическим воздействием. В этих зонах de facto уже не существует никакого различия между теми, кто участвует в битве и кто не участвует в ней. Поэтому уже в последней войне дискуссия о правах населения, к примеру, об открытых или укрепленных городах, о военных и торговых судах, о блокаде и свободе морского пространства приобрела чисто пропагандистский характер. В тотальной войне каждый город, каждая фабрика становится укрепленным местом, каждое торговое судно — военным кораблем, каждый продукт питания — контрабандой и каждое активное или пассивное мероприятие имеет военный смысл. То же обстоятельство, что тип оказывается здесь затронут как единичный человек, как солдат, имеет второстепенное значение, — его затрагивают при атаке на поле действия тех сил, в которые он включен. В этом, однако, заключается признак усилившейся, очень отвлекающей жестокости.

Наиболее распространенный из наблюдаемых сегодня актов убийства направлен на нерожденных детей. Можно предвидеть, что это явление, смысл которого в отношении индивида состоит в повыше-

нии безопасности жизни единичного человека, в случае типа будет играть роль средства демографической политики. Столь же нетрудно предположить, что вновь будет открыта весьма древняя политическая наука депопуляции. Сюда можно уже отнести знаменитые «vingt millions de trop»,\* то особое мнение, которое приобрело тем временем бóльшую наглядность благодаря депортации населения — средству, с помощью которого начинают административным путем избавляться от пограничных социальных или национальных групп.

### 43

Нельзя не заметить, что предъявляемые к единичному человеку притязания возрастают в этом пространстве до такой степени, какую раньше невозможно было себе представить. Фигурирующие здесь отношения уже не могут быть расторгнуты, они предполагают экзистенциальную вовлеченность человека. По мере распада индивидуальности единичный человек утрачивает способность сопротивляться мобилизации. Все более безрезультатным становится затухающий протест, исходящий из частной сферы. Хочет того единичный человек, или нет, — он несет предельную ответственность за те предметные связи, в которые он включен.

Законы войны имеют силу также для экономики и для любой другой сферы; различия между участвующими и неучаствующими в битве более не существуют. Можно было бы составить целые библиотеки, в

---

\* «Двадцать миллионов лишних жизней» (фр.).



которых тысячекратным эхом раздавались бы жалобы человека, внезапно обнаружившего, что он подвергся нападению из невидимых зон и оказался полностью лишен своего смысла и своих возможностей. Такова единственная, обширная тема упаднической литературы наших дней, однако у нас нет больше времени на то, чтобы заниматься ей.

Такая вовлеченность не знает исключений. На дитя в колыбели или даже в материнской утробе она распространяется с той же неизбежностью, что и на монаха в его келье или на негра, надрезающего кору гевеи в тропическом лесу. Таким образом, она тотальна, и отличается от теоретической вовлеченности в сферу всеобщих прав человека тем, что совершенно практична и не может быть отклонена. Можно было принять решение относительно того, быть или не быть бюргером; однако в отношении рабочего этой свободы решения более не существует. Тем самым вычерчивается уже наиболее широкая ступень новой иерархии; она характеризуется бытийной и неизбежной принадлежностью к типу, определенной формовкой, оттиском гештальта, который ставится под давлением железной закономерности.

Такая вовлеченность предполагает у человека иные свойства, иные добродетели. Она предполагает, что человек не изолирован, а именно вовлечен. Но тем самым свобода уже перестает быть той мерой, эталон которой составляет индивидуальное существование единичного человека; свобода определяется степенью, в какой в существовании этого единичного человека выражается тотальность мира, в которую он включен. Тем самым оказывается дано тождество свободы и послушания, правда, такого послушания,

которое подразумевает, что от старых уз не осталось и следа. Жалобы по поводу утраты этих уз столь же многочисленны, что и жалобы по поводу утраты индивидуальности.

Но тип никоим образом не лишен вообще всяких уз; он связан особыми, более жесткими узами своего мира, внутри которого нетерпима никакая инородная структура. Переживание типа, как уже было сказано, не уникально, а однозначно; с этим сопряжено то, что единичный человек не является незаменимым, а вполне заменим и притом заменим в той мере, которая удовлетворяет требованиям всякой доброй традиции. Тип совершенно иначе связан с добродетелями порядка и подчинения, и беспорядок во всех жизненных отношениях, знаменующий нашу переходную эпоху, объясняется тем, что индивидуальные оценки еще не были однозначно заменены иными, типическими оценками, то есть не был изменен стиль. Тот факт, что диктатура в любой ее форме считается все более необходимой, лишь символизирует потребность в этом. Диктатура же есть лишь переходная форма. Типу неведома диктатура, потому что свобода и повиновение для него тождественны.

Этой наиболее объемлющей ступени, этому основанию пирамиды принадлежит без исключения каждый единичный человек, подобно тому как в армии каждый человек может быть назван солдатом, будь он по рангу генералом, офицером или рядовым. Эту ступень тип образует, поскольку он понимается как выражение определенного человеческого склада в собственном смысле слова. Тем не менее поверх этого человеческого состава, в котором воплощается не всеобщее право, а тотальная обязанность, уже начи-

нает вырисовываться иной, активный склад, в котором более четко запечатлены контуры подлинной расы.

Здесь нужно еще раз сказать, что в ландшафте работы раса не имеет ничего общего с биологическим понятием расы. Гештальт рабочего мобилизует весь человеческий состав, не проводя никаких различий. Если в определенных регионах ему удастся породить более высокие и наивысшие формы, то это никак не влияет на его независимость от них. Приведем пример, с которым, впрочем, надо быть осторожным: вполне может быть верно, что медь лучше проводит электрический ток, чем любой другой металл. Однако это ничего не меняет в том, что электричество не зависит от меди. Таким образом, весьма возможно, что «западному человеку» придется испытать некоторые потрясения. В пространстве работы все зависит только от ее результата, в котором выражается тотальность этого пространства. Ему принадлежит власть, и это он устанавливает в системе точку отсчета, положение которой вполне может меняться, и притом очень сильно. Результат этот невозможно оспорить, поскольку он воплощается в объективных, вещественных символах. Добродетель типа состоит и в том, что он признает такие символы, где бы они ни появлялись.

Но обратимся к человеку активного склада, к представителю второй ступени этой иерархии. Этот склад можно встретить повсюду, где отчетливо проявляется специальный характер работы. Он отличается тем, что не только подлежит пассивной формовке, но еще и сориентирован в определенном направлении. В границах профессий и стран он выделяется тем, что, невзирая на особенности своей деятельнос-

ти, уже может быть однозначно назван рабочим. Это объясняется тем, что он уже связан с метафизикой и в своей деятельности соразмерен гешталту.

Сегодня нам иногда выпадает счастье оказаться в сфере такого существования, вокруг которого, словно вокруг ключевого пункта, кристаллизуется новый порядок. Совершенно независимо от старых различий здесь обнаруживается высокая степень рвения и лучащейся силы, из чего явствует, что в этом пространстве работа обладает достоинством культа. Здесь встречаются уже и особо примечательные лица, по которым видно, что маске может быть свойственна большая, можно сказать, геральдическая выразительность. Это слово говорит о том, что тип вполне можно мыслить как центр нового искусства, правда, такого искусства, для которого правила XIX века, в частности правила психологии, утратили свою силу.

Возникают уже и своеобразные порядки, особые органические конструкции, в которых активный тип собирается для совместного действия. Мы коснемся их подробнее по другому поводу, а пока лишь отметим, что им можно дать имя ордена.

Один из первых представителей активного типа воплощен в фигуре безымянного солдата, — в этом примере, кроме того, уже вполне отчетливо выражен и культовый ранг работы. Мировая война, как явление XX века, представляет собой вовсе не сумму национальных войн. Скорее, в ней следует видеть обширный трудовой процесс, в котором нация играет роль рабочей величины. Усилия нации выливаются в новый образ, а именно в органическую конструкцию мира.

Герой этого процесса, безымянный солдат, выступает носителем максимума активных добродетелей: доблести, готовности и воли к жертве. Его добродетель заключается в том, что он может быть замещен, и что для каждого павшего в резерве уже имеется смена. Его критерий — это критерий вещественного, безусловного результата, и потому он в первую очередь является революционером *sans phrase*. Вследствие этого на второй план отодвигаются все другие точки зрения, отступает даже тот фронт, где сражаются и гибнут. В этой перспективе существует, конечно же, глубокое братство между врагами, братство, которое будет вечно не доступно для гуманитарной мысли.

Если в ходе мировой войны, равно как и в нашем мире вообще, страдательная и деятельная ступени иерархии типа уже стали отчетливо видны, то высший и последний его представитель еще не вступил в обозримое пространство работы. Это сопряжено с тем, что мировая война не смогла привести к окончательным решениям — к установлению окончательного порядка, который обеспечил бы безопасность.

В то время как на низшей ступени иерархии гештальт рабочего подобно будто бы слепой воле, подобно планетарному воздействию захватывает и подчиняет себе единичного человека, на второй ступени он включает его в многообразие планомерно разворачивающихся конструкций как носителя специального характера работы. На последней же и высшей ступени единичный человек выступает в непосредственной связи с тотальным характером работы.

Только с таким его выступлением искусство государственного управления и господство станут возможны во всем их великолепии, то есть как господство над миром. Отчасти это господство пробивает себе путь благодаря деятельности людей активного склада, которые во многих местах уже прорвали границы старых структур. Однако активный тип не в состоянии преодолеть границы, которые положены ему специальным характером работы; как экономисту или технику, как солдату или националисту, ему нужна интеграция, некое повеление, непосредственно связанное с источником смысла.

Лишь в представителе такой силы скрещиваются как на вершине пирамиды многообразные противоположности, игра которых создает то изменчивое освещение, тот полумрак, который свойствен нашей эпохе. Это противоположности между старым и новым, властью и правом, кровью и духом, войной и политикой, науками о природе и науками о духе, техникой и искусством, знанием и религией, органическим и механическим миром. Всех их покрывает тотальное пространство; их единство открывается в том человечестве, которое рождено за пределами старых сомнений.

Таким образом, иерархия XIX века определялась мерой индивидуальности. В XX веке ранг определяется тем объемом, в каком репрезентируется характер работы. Мы отметили, что здесь скрывается некая ступенчатая структура — более строгая, чем можно было наблюдать в течение последних веков. Мы не должны позволить ввести себя в заблуждение той всеобщей нивелировке, которой сегодня подвержены люди и вещи. Эта нивелировка есть не что иное, как

---

реализация низшей ступени, обоснование мира работы. Поэтому процесс жизнедеятельности сегодня по преимуществу пассивен, страдателен. Однако чем дальше идет разрушение и преобразование, тем с большей определенностью распознается возможность нового построения — построения органической конструкции.

## ТЕХНИКА КАК МОБИЛИЗАЦИЯ МИРА ГЕШТАЛЬТОМ РАБОЧЕГО

### 44

Высказывания о технике, которые может сформулировать наш современник, поставляют нам скудный материал. В частности, бросается в глаза, что сам техник не способен вписать свое определение в ту картину, которая охватывает жизнь в совокупности ее измерений.

Причина заключается в том, что хотя техник и репрезентирует специальный характер работы, у него нет непосредственной связи с ее тотальным характером. Там, где эта связь отсутствует, при всем превосходстве отдельных результатов речь не может идти о связующем и в себе самом непротиворечивом порядке. Недостаток тотальности сказывается в явлении безудержной специализации, которая пытается возвести в решающий ранг постановку свойственных ей особых вопросов. Однако даже если бы мир был в конструктивном плане продуман до мелочей, ни один из значительных вопросов все же не получил бы решения.

Чтобы иметь действительное отношение к технике, необходимо быть больше, чем техником. Везде, где пытаются установить связь между техникой и жизнью, повторяется одна и та же ошибка, которая мешает вынести справедливое решение, — причем не важно, приходят ли при этом к отрицательным или к положительным выводам. Это основное заблуждение заключается в том, что человека ставят в непосредственное отношение к технике — будь то в качестве ее творца или в качестве ее жертвы. Человек выступает



здесь либо как начинающий чародей, заклинающий силы, с которыми он не умеет справиться, либо как творец непрекращающегося прогресса, спешащего навстречу искусственному раю.

Но мы станем судить совершенно иначе, если увидим, что человек связан с техникой не непосредственно, а опосредованно. Техника — это тот способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир. Та мера, в какой человек решительным образом становится в отношение к ней, та мера, в какой она не разрушает его, а ему содействует, зависит от той степени, в какой он репрезентирует гештальт рабочего. Техника в этом смысле есть владение языком, актуальным в пространстве работы. Язык этот не менее значим, не менее глубок, чем любой другой, поскольку у него есть не только своя грамматика, но и своя метафизика. В этом контексте машина играет столь же вторичную роль, что и человек; она является лишь одним из органов, позволяющих говорить на этом языке.

Итак, если техника должна пониматься как способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир, то необходимо, во-первых, показать, что она в некоем особом отношении соразмерна представителю этого гештальта, то есть рабочему, и находится в его распоряжении; а во-вторых, что ни один представитель связей, находящихся вне пространства работы, будь то бюргер, христианин или националист, не будет входить в это отношение. Скорее, технике должно быть свойственно открытое или тайное посягательство на такие связи.

На самом деле имеет место и то и другое, и мы приложим все усилия, чтобы подтвердить это с по-

мощью некоторых примеров. Неясность, в особенности романтическая неясность, которая сопровождает множество высказываний по поводу техники, пристокает из недостатка в твердых точках зрения. Она исчезает сразу же, как только в гештальте рабочего будет признан покоящийся центр столь многообразного процесса. Гештальт этот в той же мере содействует тотальной мобилизации, в какой разрушает все, что этой мобилизации противится. Поэтому за поверхностными процессами технических преобразований нужно суметь показать как всеобщее разрушение, так и новое созидание мира, при том, что и тому и другому придается совершенно определенное направление.

#### 45

Чтобы представить это наглядно, вернемся еще раз к войне. Когда мы рассматривали, к примеру, те силы, которые действовали под Лангемарком, могло возникнуть впечатление, будто речь тут, в сущности, идет о процессе, разворачивающемся между двумя нациями. Это верно лишь в той степени, в какой сражающиеся нации представляют собой рабочие величины, являющиеся основой этого процесса. В центре столкновения стоит вовсе не различие наций, а различие двух эпох, из которых одна, становящаяся, поглощает другую, уходящую. Таким образом, определяется подлинная глубина и революционный характер этого ландшафта. Приносимые и требуемые жертвы обретают свой высший смысл в том, что они вписываются в пределы, которые хотя и не могут и не должны быть заметны для сознания, все же ощущаются неким

глубинным чувством, как это явствует из множества свидетельств.

Метафизическая, то есть соразмерная гешталту, картина этой войны обнаруживает иные фронты, нежели те, которые могли открыться сознанию ее участников. Если рассматривать ее как технический, то есть как достигающий большой глубины процесс, то можно будет заметить, что вмешательством этой техники оказывается сломлено нечто большее, чем сопротивление той или иной нации. Обмен выстрелами, происходивший на столь многих и столь разных фронтах, сосредоточивается на одном-единственном, решающем фронте. Если мы увидим гештальт рабочего в самом центре этого процесса, то есть в том месте, откуда исходит вся совокупность разрушения, не затрагивающая, однако, его самого, то перед нами раскроется весьма цельный, весьма логичный характер уничтожения.

Этим и объясняется прежде всего тот факт, что в каждой из стран-участниц есть и победители, и побежденные. Число тех, кто оказался сломлен этой решающей атакой на индивидуальное существование, чрезмерно велико, куда бы мы ни взглянули. Тем не менее тут можно повсюду встретить и людей особого склада, которые благодаря этому вторжению ощущают прилив сил и видят в нем пламенный источник нового чувства жизни.

Несомненно, это событие, подлинный размах которого пока еще не поддается никакому измерению, намного превосходит по своему значению не только французскую революцию, но даже немецкую реформуляцию. Непосредственно за его ядром следует шлейф второстепенных столкновений, которые способству-

ют скорейшей постановке всех исторических и духовных вопросов и которым еще не видно конца. Не принимать в них участие, означает понести потерю, которую уже сегодня вполне ощущает юношество нейтральных стран. Здесь проходит черта, разделяющая не только два столетия.

Если теперь мы детально проанализируем масштабы разрушений, то найдем, что попадания тем более результативны, чем дальше они удалены от той зоны, которая свойственна типу.

Поэтому не надо удивляться тому, что последние остатки старых государственных систем рухнули под нажимом словно карточные домики. Это объясняется прежде всего недостаточной силой сопротивления монархических образований: рушится почти каждое из них, независимо от того, относится ли оно к фронту побежденных или одержавших победу государств. Монарх оказывается повергнут и как самодержец, и как династический правитель, гарантирующий единство земель, наследуемых еще со времен средневековья. Он оказывается повергнут и как земельный князь, запертый в кругу уже почти исключительно культурных задач, и как первый епископ, и как глава конституционной монархии.

Вместе с коронами рушатся и последние сословные привилегии, сохранявшиеся у аристократии, то есть наряду с придворным обществом и особо защищенной земельной собственностью рушатся прежде всего офицерские корпуса старого образца, которые и в эпоху всеобщей воинской повинности еще отличались всеми признаками сословной общности. Причина, по которой была возможна такая замкнутость, состоит в том, что сам по себе бюргер, как мы видели,

не способен к ведению военных действий, и оттого вынужден полагаться на своих представителей, образующих особую касту воинов. Положение изменяется в эпоху рабочего, который наделен стихийной связью с войной и потому способен представлять себя на войне своими собственными средствами.

Поражает та легкость, с какой весь этот слой, еще каким-то образом связанный с абсолютным государством, сносится ветром или, скорее, разваливается сам собой. Не оказав сколь-нибудь достойного сопротивления, он гибнет под натиском катастрофы, которая, не ограничиваясь им одним, задевает и пока еще остающиеся относительно невредимыми бюргерские массы.

Правда, какое-то короткое время, причем особенно в Германии, кажется, будто именно этим массам произошедшее событие дарит запоздалый, но окончательный триумф. Однако нужно видеть, что это событие, в первой своей фазе выступающее как мировая война, во второй фазе выступает как мировая революция, чтобы затем, быть может, вновь вернуться к военным формам. В этой второй фазе работы, ведущейся то втайне, то открыто, выясняется, что возможность вести бюргерский образ жизни с каждым днем становится все более безнадежной.

Причины этого явления могут быть найдены в любом исследуемом поле; их можно увидеть в проникновении стихийных сил в жизненное пространство и в одновременной утрате чувства безопасности, в распаде индивида, в исчезновении унаследованных идей и материального достояния, а также в нехватке порождающих сил как таковых. В любом случае подлинная причина состоит в том, что новое силовое

поле, сосредоточивающееся вокруг гештальта рабочего, разрушает все чуждые узы, и в том числе узы бюргерства.

Эта катастрофа влечет за собой иногда почти необъяснимый разлад в исполнении привычных функций. Литература становится безвкусной, хотя по-прежнему старается обсуждать те же самые вопросы, экономика хиреет, парламенты утрачивают работоспособность, даже если не подвергаются нападкам извне.

Тот факт, что техника в это время выступает как единственная власть, не подверженная этим симптомам, явно выдает ее принадлежность к иной, более значительной системе отсчета. За это короткое послевоенное время ее символы быстрее проникли в самые удаленные уголки земного шара, чем тысячу лет назад крест и колокол — в первобытные леса и болотистые земли германцев. Там, куда вторгается вещественный язык этих символов, рушится старый закон жизни; из действительности он смещается в сферу романтики, — однако требуется особый взгляд для того, чтобы увидеть здесь больше, чем всего лишь процесс уничтожения.

## 46

Поле уничтожения будет измерено не полностью, если оставить без внимания наступление на культовые начала.

Техника, то есть мобилизация мира гештальтом рабочего, является как разрушительницей всякой веры вообще, так и наиболее решительной антихристианской силой, какая была известна до сих пор. Она

является таковой в той мере, в какой ее антихристианский характер оказывается одним из ее производных свойств, — отрицание подобает ей уже в силу одного лишь факта ее существования. Имеется большая разница между древними иконоборцами и поджигателями церквей, с одной стороны, и артиллеристом мировой войны, которому высокая степень абстракции позволяет рассматривать готический собор исключительно как точку наводки в зоне огня.

Там, где появляются технические символы, пространство очищается от всех иных сил, от большого и малого мира духов, которые поселились в нем. Разнообразные попытки церкви заговорить на языке техники ведут лишь к ускорению ее заката, к осуществлению широкого процесса секуляризации. Истинные отношения власти еще не выступили в Германии на поверхность потому, что они скрыты под мнимым господством бюргерства. То, что было сказано об отношении бюргера к касте воинов, сохраняет силу и для его отношения к церкви, — хотя он и чужд этим началам, он все же зависит от них, и об этом говорит тот факт, что он нуждается в помощи с их стороны. Ему не хватает как военной, так и культовой субстанции, если, конечно, отвлечься от мнимого культа прогресса.

Напротив, рабочий, как тип, выходит из зоны антитетики либерализма, — его характеризует не то, что он не имеет веры, а то, что вера у него другая. За ним остается право вновь открыть тот великий факт, что жизнь и культ тождественны — факт, который, за исключением жителей каких-нибудь узких окраинных областей и горных долин, упускают из виду люди нашего пространства.

В этом смысле можно, конечно, осмелиться сказать, что уже сегодня среди зрительских рядов кинозала или на автогонках можно наблюдать более глубокое благочестие, нежели то, какое еще встречается под кафедрами и перед алтарями. Если это происходит уже на низшем, наиболее смутном уровне, где человек лишь пассивно подчинен новому гештальту, то, пожалуй, можно догадаться и о приближении новых игр, новых жертв, новых восстаний. Роль техники в этом процессе можно сравнить, скажем, с римской имперской выучкой, которой в отличие от германских герцогов обладали первые христианские миссионеры. Новый принцип обнаруживается в новых фактах, в создании особых действенных форм, — и эти формы глубоки, поскольку экзистенциально связаны с этим принципом. В сущности, различия между глубиной и поверхностью не существует.

Далее следует упомянуть и о крушении в ходе войны подлинной народной церкви XIX века, а именно, преклонения перед прогрессом, — упомянуть прежде всего потому, что в зеркале этого краха особую отчетливость приобретает двойственный лик техники.

Ведь техника выступает в бюргерском пространстве как орган прогресса, движущегося в направлении разумно-добродетельного совершенства. Поэтому она тесно связана с ценностями познания, морали, гуманности, экономики и комфорта. Воинственная сторона ее лика, подобного лику Януса, плохо соотносится с этой схемой. Однако нельзя спорить с тем, что к локомотиву можно прицепить не вагон-ресторан, а платформу с ротой солдат, и что мотор может приводить в движение не шикарный автомобиль, а танк, —



что, стало быть, развитие транспортных средств быстрее приводит в соприкосновение друг с другом не только доброжелательных, но и злонамеренных европейцев. Подобно этому, искусственное производство азотсодержащих препаратов оказывает влияние как на сельское хозяйство, так и на технику изготовления взрывчатых веществ. Все эти вещи можно оставлять без внимания лишь до тех пор, пока с ними не соприкоснешься.

Поскольку же применение в ходе борьбы прогрессивных, «цивилизаторских» средств нельзя отрицать, постольку бюргерская мысль стремится оправдать их применение. Происходит это за счет того, что прогрессистская идеология применяется к процессу войны; использование вооруженной силы оказывается тогда прискорбным исключением, средством обуздания противящихся прогрессу варваров. Эти средства применяются только ради гуманности, ради человечности, да и то лишь когда их приходится защищать. Цель их применения — не победа, а освобождение народов, принятие их в сообщество, обладающее более высокой нравственностью. Таково то моральное прикрытие, под которым совершается ограбление колониальных народов и которое распространяется на все так называемые мирные соглашения. Всюду, где в Германии проступало бюргерское чувство, люди с наслаждением смаковали эти фразы и участвовали в организациях, рассчитывавших увековечить это состояние.

Тем не менее положение вещей таково, что мировое бюргерство во всех странах, не исключая и Германии, одержало лишь мнимую победу. Его позиции ослабли ровно в той степени, в какой оно после войны

распространилось по всей планете. Выяснилось, что бюргер не способен применять технику как властное средство, приспособленное для нужд его существования.

Возникшая таким образом ситуация — это не новый порядок мира, а по-иному распределенная эксплуатация. Все мероприятия, претендующие на установление нового порядка, отличаются своей бессмысленностью, будь то пресловутая Лига наций, процесс разоружения, право народов на самоопределение, создание пограничных и карликовых государств или коридоров. На них лежит слишком отчетливый отпечаток замешательства, чтобы это могло остаться незамеченным даже цветными народами. Господство этих посредников, дипломатов, адвокатов и дельцов есть мнимое господство, день ото дня теряющее свою опору. Его установление можно объяснить только тем, что война завершилась перемирием, лишь слегка прикрытым высокопарными либеральными фразами, перемирием, под покровом которого продолжает разгораться мобилизация. На политической карте множатся красные пятна; идет подготовка к взрывам, от которых взлетят на воздух все эти призраки. Они появились лишь из-за того, что во главе сопротивления, которое Германия развернула из глубинных сил своего народа, не стал слой вождей, владевших стихийным языком приказа.

Поэтому одним из важнейших результатов войны стало бесследное исчезновение этого слоя вождей, не сумевшего подняться даже до уровня ценностей прогресса. Его немощные попытки утвердиться вновь неизменно сопряжены со всем, что есть в мире затас-

канного и запылившегося — с романтикой, либерализмом, церковью, бюргерством. Все отчетливее проступает граница, разделяющая два фронта — фронт реставрации и фронт, решившийся продолжать войну всеми — и не только военными — средствами.

Но кроме этого мы должны знать, где находятся наши истинные союзники. Они находятся не там, где хотят сохранить положение вещей, а там, где хотят атаки; и мы приближаемся к тому состоянию, когда всякий конфликт, развязанный в любом уголке мира, будет укреплять *нашу* позицию. До войны, во время войны и по ее окончании бессилие старых образований становилось все более отчетливым. Но для нас лучшее вооружение состоит в том, чтобы каждый единичный человек и все люди вместе решились жить жизнью рабочего.

Только тогда будут обнаружены подлинные источники силы, которые скрыты в доступных нашему времени средствах и истинный смысл которых раскрывается не в прогрессе, а в господстве.

## 47

Война выступает в качестве первостепенного примера потому, что она раскрывает присущий технике властный характер, исключая при этом все элементы экономики и прогресса.

Здесь нельзя дать ввести себя в заблуждение диспропорции между огромными затратами средств и достигнутыми результатами. Уже по тому, как формулировались различные цели войны, можно было понять, что нигде в мире не было такой воли, которая

соответствовала бы жесткости этих средств. Нужно, однако, знать, что незримый результат бывает более значим, чем зримый.

Этот незримый результат состоит в мобилизации мира гештальтом рабочего. Его первый признак проявляется в том, что оружие обращается против властей, у которых не было сил для его продуктивного применения. Тем не менее признак этот по своей природе вовсе не негативен. В нем заявляет о себе начало метафизической атаки, необоримая сила которой заключается в том, что тот, против кого она направлена, сам — и, по-видимому, добровольно! — выбирает средства для своего уничтожения. Так бывает не только на войне, но и везде, где человек сталкивается со специальным характером работы.

Везде, где человек попадает в сферу влияния техники, он обнаруживает себя перед неизбежной альтернативой. Он должен либо принять своеобразные средства и заговорить на их языке, либо погибнуть. Но если их принять, — и это очень важно, — то мы станем не только субъектом технических процессов, но в то же время и их объектом. Применение таких средств влечет за собой совершенно определенный стиль жизни, распространяющийся как на великие, так и на малые ее проявления.

Итак, техника никоим образом не есть некая нейтральная власть, вместилище действенных и удобных средств, откуда может по своему усмотрению черпать какая угодно традиционная сила. Напротив, за этим будто бы нейтральным ее характером скрывается таинственная и прельстительная логика, с помощью которой техника и предлагает себя людям. Эта логика

становится все более очевидной и неодолимой по мере того как пространство работы становится все более тотальным. В той же мере ослабевает и инстинкт тех, к кому она обращена.

Инстинктом обладала церковь, когда она хотела уничтожить знание, называвшее Землю спутником Солнца; инстинктом обладал и рыцарь, презиравший ружейные стволы, и ткач, разбивавший машины, и китаец, запрещающий импортировать их. Все они, однако, каждый в свою очередь, заключили мир, причем такой мир, который свидетельствует об их поражении. Последствия наступают со все большей скоростью, со все более беспощадной очевидностью.

Еще сегодня мы видим, как не только обширные народные слои, но даже целые народы ведут борьбу против этих последствий, и борьба эта несомненно окончится неудачей. Кто захотел бы отказаться в своем участии, скажем, крестьянскому сопротивлению, которое в наше время приводит к отчаянному напряжению сил?

Но здесь можно сколько угодно спорить о законах, о принятии различных мер, о ввозных пошлинах и о ценах, — эта борьба будет оставаться бесперспективной, потому что свобода, как она понимается здесь, ныне уже невозможна. Пашня, обрабатываемая машинами и удобряемая искусственным азотом, произведенным на фабриках, это уже не прежняя пашня. Поэтому неверно говорить, будто существование крестьянина вне времени и все великие перемены пролетают над его клочком земли как ветер и облака. Революция, которой мы захвачены, обнаруживает свою глубину как раз в том, что разрушает даже самые древние состояния.

Пресловутая разница между городом и деревней существует сегодня лишь в романтическом пространстве; она лишилась значения так же, как и разница между органическим и механическим миром. Свобода крестьянина не является иной, чем свобода каждого из нас, — она состоит в понимании того, что все другие образы жизни, кроме образа жизни рабочего, стали для него недоступны. Доказать это можно на любых мелочах, и не только из экономической области; именно вокруг этого момента идет борьба, исход которой, в сущности, давно уже решен.

Здесь мы принимаем участие в одной из последних атак на сословные отношения, которая сказывается еще болезненней, чем истребление десятой части городских культурных слоев посредством инфляции, и которая, наверное, может сравниться только с окончательным уничтожением старой воинской касты в ходе механических сражений. Между тем назад пути нет; вместо того, чтобы создавать заповедные парки, нужно стараться оказывать планомерную помощь, которая будет тем полезнее, чем больше она будет соответствовать смыслу событий. Речь идет о внедрении таких форм возделывания, обработки и заселения земли, в которых находил бы свое выражение тотальный характер работы.

Таким образом, тот, кто использует собственно технические средства, утрачивает свободу, испытывает ослабление закона своей жизни, которое сказывается и в великом, и в малом. Человек, проведший к себе электрическую сеть, может быть и располагает большим комфортом, однако, бесспорно, менее независим, чем тот, кто сам зажигает свой светильник.

Земледельческое государство или цветной народ, выписывающий себе машины, инженеров или специальных работников, становится данником, явным или неявным образом вступает в отношение зависимости, которое как динамит разрывает привычные для него связи.

«Победное шествие техники» оставляет за собой широкий след из разрушенных символов. Его неминуемым результатом является анархия, — та анархия, которая разрывает жизненные единства на составляющие их атомы. Разрушительная сторона этого процесса хорошо известна. Позитивная его сторона состоит в том, что техника сама коренится в культуре, что она располагает своими собственными символами и что за техническими процессами кроется борьба между гештальтами. Поэтому кажется, будто она в сущности своей нигилистична, так как ее наступление затрагивает всю совокупность отношений и так как ни одна ценность не в состоянии оказать ей сопротивления. Однако именно этот факт и должен озадачить нас: он выдает, что техника, хотя сама она лишена ценности и якобы нейтральна, носит тем не менее служебный характер.

Мнимое противоречие между безразличной готовностью техники ко всему и для каждого и ее разрушительным характером исчезает тогда, когда мы распознаем в ней ее языковое значение. Этот язык выступает под маской строгого рационализма, который способен с самого начала однозначно решать те вопросы, которые перед ним поставлены. Другая его черта — примитивность; для понимания его знаков и символов не требуется ничего, кроме их голого существования. Кажется, нет ничего более

эффективного, целесообразного, удобного, чем использование этих столь понятных, столь логичных знаков.

Намного труднее, правда, увидеть, что здесь используется не логика вообще, а такая совершенно особая логика, которая по мере обнаружения своих преимуществ выдвигает собственные притязания и умеет преодолевать любое сопротивление, которое несоразмерно ей. Та или иная власть пользуется техникой; стало быть, она приспособливается к властному характеру, скрытому за техническими символами. Она говорит на новом языке; стало быть, она пренебрегает всеми следствиями, кроме тех, которые уже заключены в применении этого языка, подобно тому как решение арифметической задачи содержится в ее условии. Этот язык понятен любому и, стало быть, сегодня существует лишь *одна* разновидность власти, к которой вообще можно стремиться. Однако если технические формулы, которые являются всего лишь средствами для достижения цели, пытаются подчинить не соразмерным с ними жизненным законам, это неизбежно приводит к продолжительным периодам анархии.

В связи с этим можно наблюдать, что анархия возрастает в той мере, в какой поверхность мира становится все более однообразной, а разнородные силы сливаются воедино. Эта анархия есть не что иное, как первая, необходимая ступень, ведущая к новым иерархическим структурам. Чем шире та сфера, которую создает себе новый язык как якобы нейтральное средство общения, тем шире и круг, который раскрывается для него как для языка приказа. Чем глубже подведены мины под старые связи, чем



сильнее эти связи изношены, чем чаще атомы высвобождаются из их узлов, тем меньшее сопротивление оказывается органической конструкции мира. Однако в отношении возможности такого господства в наше время сложилась ситуация, которую нельзя сопоставить ни с одним историческим примером.

В технике мы находим самое действенное, самое неоспоримое средство тотальной революции. Мы знаем, что у сферы уничтожения есть ее тайный центр, в котором берет начало будто бы хаотичный процесс подчинения старых сил. Этот акт проявляется в том, что подчинившийся вольно или невольно начинает говорить на новом языке.

Мы видим, что новое человечество движется к этому решающему центру. Фаза разрушения сменяется действительным и зримым порядком, когда к господству приходит та раса, которая умеет говорить на новом языке не в духе голого рассудка, прогресса, пользы или комфорта, а владеет им как языком стихийным. Это будет происходить в той мере, в какой на лице рабочего станут проступать его героические черты.

Поставить технику на службу по-настоящему и без каких-либо противоречий можно будет только тогда, когда в распоряжающихся ею единичных людях и их сообществах будет репрезентирован гештальт рабочего.

## 48

Если в разрушительном и мобилизующем центре технического процесса увидеть гештальт рабочего, использующий деятельного и страдающего человека

как посредника, то изменится и прогноз, который можно составить для этого процесса.

Каким бы подвижным, взрывным и переменчивым ни представлялся эмпирический характер техники, она ведет к установлению совершенно определенных, однозначных и необходимых порядков, росток которых изначально содержится в ней как задача, как цель. Это отношение можно выразить также, сказав, что свойственный ей язык находит все более отчетливое понимание.

Как только мы поймем это, исчезнет и та завышенная оценка развития, которая характерна для отношения прогресса к технике. Быть может, очень скоро нам станет непонятна та гордость, с которой человеческий дух очерчивает свои безграничные перспективы и которая породила свою особую литературу. Мы сталкиваемся тут с ощущением стремительного марша, которое окрыляет конъюнктурные настроения и в расплывчатых целях которого отражается блеск старых лозунгов разума и добродетели. Здесь происходит замена религии — и притом религии христианской — познанием, которое берет на себя роль Спасителя. В пространстве, где мировые загадки разрешены, на долю техники выпадает задача избавления человека от обрешающего его на работу проклятья и создания ему условий для занятия более достойными вещами.

Прогресс познания выступает здесь как возникший благодаря акту творения созидательный принцип, который окружен особым почитанием. Характерно, что этот прогресс предстает в виде непрерывного роста, — он уподобляется растущей сфере, которая вступает в соприкосновение с новыми зада-

чами по мере того, как увеличивается ее поверхность. Здесь тоже можно обнаружить то понятие бесконечности, которое опьяняет дух и тем не менее для нас уже неосуществимо.

При виде бесконечности, неизмеримости пространства и времени рассудок достигает той точки, в которой ему открываются его собственные границы. Единственный выход для рационалистической эпохи состоит в том, что она проецирует прогресс познания в эту бесконечность, — словно плавучий огонек, уносимый зловещим потоком. Однако чего рассудок *не* видит, так это того факта, что эта бесконечность, это сверлящее «что дальше?» порождены им самим и что их наличие свидетельствует не о чем ином, как о его собственной несостоятельности, — о его неспособности схватывать величины, стоящие выше пространственно-временной взаимосвязи. Без поддерживающей его среды, без пространственно-временного эфира дух сорвался бы вниз, и сам инстинкт самосохранения, сам страх заставляет его создавать такое представление о бесконечности. Именно потому этот взгляд на бесконечность принадлежит эпохе прогресса; его не было прежде, не будет он понятен и позднейшим поколениям.

В частности, там, где мышление определяют гештальты, ничто не принуждает нас отождествлять бесконечное и безграничное. Скорее, здесь должно проявляться стремление постичь картину мира как законченную и вполне ограниченную тотальность. Но тем самым с понятия развития спадает и та качественная маска, которой его снабжает прогресс. Никакое развитие не в состоянии извлечь из бытия больше того, что в нем содержится. Напротив, ход самого развития

определяется бытием. Это справедливо и для техники, которую прогресс видел в перспективе ее безграничного развития.

Развитие техники не безгранично; оно завершается в тот момент, когда она в качестве инструмента начинает соответствовать особым требованиям, которые предъявляет к ней гештальт рабочего.

## 49

Таким образом, в практическом отношении мы сталкиваемся с тем фактом, что жизнь разворачивается в некоем промежуточном пространстве, для которого характерно не развитие само по себе, а развитие в направлении вполне определенных состояний. Наш технический мир не является областью неограниченных возможностей; скорее, его можно охарактеризовать как эмбрион, стремящийся достичь совершенно определенной стадии зрелости. Наше пространство словно уподобляется грандиозной кузнечной мастерской. От взора не может укрыться, что здесь ничто не создается в расчете на долгий срок, чему мы восхищались в строениях древних, равно как и в том смысле, в каком искусство пытается выработать действенный язык форм. Любое средство носит, скорее, промежуточный, мастеровой характер и предназначено для недолгосрочного использования.

Этой ситуации соответствует то, что наш ландшафт выступает как ландшафт переходный. Здесь нет какого-либо постоянства форм; все формы непрерывно видоизменяются и находятся в динамическом беспокоестве. Нет никаких устойчивых средств; нет ни-

чего устойчивого, кроме роста кривой показателей, которые сегодня обращают в металлолом то, что еще вчера являлось непревзойденным инструментом. Поэтому постоянства нет и в архитектуре, в образе жизни, в экономике, ибо все это связано с устойчивостью средств, как она была свойственна топору, луку, парусу или плугу.

Жизнь единичного человека проходит в пределах этого мастерского ландшафта, и в то же время от него требуется пожертвовать частью работы, в преходящем характере которой нет никаких сомнений и у него самого. Изменчивость средств сопровождается непрерывным вложением капитала и рабочей силы, которое хотя и скрывается под маской экономической конкуренции, но осуществляется вопреки всем законам экономики. Оказывается, что целые поколения уходят, не оставив после себя ни сбережений, ни памятников, но всего лишь отметив собой определенную стадию, определенный уровень мобилизации.

Это промежуточное отношение бросается в глаза в том запутанном, беспорядочном состоянии, которым вот уже более ста лет характеризуется технический ландшафт. Это малоприятное для глаз зрелище вызвано не только разрушением природного и культурного ландшафта — оно объясняется несовершенством самой техники. Эти города с их проводами и испарениями, с их шумом и пылью, с их муравьиной суетой, с их хаосом архитектурных стилей и новшеств, каждые десять лет придающих им новое лицо, суть гигантские мастерские форм, — однако сами они не имеют никакой формы. Они лишены стиля, если не считать анархию его особой разновидностью. В самом деле, сегодня, когда говорят о городах, их оценивают

двойко, имея в виду степень их сходства либо с музеем, либо с кузницей.

Между тем можно констатировать, что XX век, по крайней мере в некоторых своих моментах, уже предлагает бóльшую чистоту и определенность линий, свидетельствующую о том, что стремление техники к своей оформленности становится более ясным. Так, можно заметить отход от усредненной линии, от уступок, которые еще недавно считались неизбежными. Начинает появляться интерес к высоким температурам, к ледяной геометрии света, к доведенному до белого каления металлу. Ландшафт становится более конструктивным и более опасным, более холодным и более раскаленным; из него исчезают последние остатки комфорта. В нем есть уже такие участки, которые пересекаешь как окрестности вулкана или вымершие лунные ландшафты, где господствует столь же незримая, сколь и вездесущая осмотрительность. Побочных целей, скажем, соображений вкуса, стараются избегать; в решающий ранг возводятся технические проблемы, и в этом есть свой резон, поскольку за этими проблемами кроется нечто большее, чем их технический характер.

В то же время инструменты приобретают бóльшую определенность и однозначность — и, можно сказать, бóльшую простоту. Они приближаются к состоянию совершенства, — как только оно будет достигнуто, будет завершено и развитие. Если, к примеру, сравнить экземпляры во все пополняющемся ряду технических моделей в одном из тех новых музеев, которые, как Немецкий музей в Мюнхене, можно назвать музеями работы, то обнаружится, что большей сложностью отмечены не поздние, а начальные стадии. В

качестве одного замечательного примера можно привести то обстоятельство, что планирующий полет был разработан только после моторного полета. С формированием технических средств дело обстоит так же, как и с формированием расы: отчетливость черт характерна не для его начала, а для его завершения. Для расы характерно то, что она избегает многочисленных и сложных вариантов и выбирает, наоборот, очень однозначные и очень простые возможности. Потому и первые машины похожи еще на сырой материал, который шлифуется в ходе непрерывной работы. Как бы ни увеличивались их размеры и функции, они словно погружаются в более прозрачную среду. В той же степени возрастает не только их энергетический и экономический, но и эстетический ранг, одним словом, возрастает их необходимость.

Однако этот процесс не ограничивается лишь увеличением точности отдельных инструментов, — он ощущается и на всем протяжении технического пространства. Здесь он дает о себе знать как возрастание единообразия, технической тотальности.

Технические средства, подобно болезни, поначалу заявляют о себе в отдельных точках; они оказываются чужеродными телами в той среде, которая их окружает. Новые изобретения прокладывают себе путь в самых разных областях с неразборчивостью летящих снарядов. В той же степени множится число помех и проблем, которые ждут своего разрешения. Тем не менее о техническом пространстве нельзя говорить до тех пор, пока все эти точки не оказываются сплетены в единую плотную сеть. Лишь тогда обнаруживается, что нет такого отдельного достижения, которое не было бы связано со всеми остальными. Одним сло-

вом, сквозь совокупность специальных характеров работы пробивается ее тотальный характер.

Это восполнение, сводящее воедино, казалось бы, очень различные и далекие друг от друга образования, напоминает посадку многочисленных и разнообразных семян, органический смысл которых становится виден в его единстве лишь ретроспективно, то есть лишь по завершении развития. В той самой мере, в какой рост близится к своему завершению, можно наблюдать, что число проблем уже не увеличивается, а уменьшается.

В практическом отношении это проявляется очень разными способами. Это становится заметно по тому, что устройство средств становится более типичным. Так возникают инструменты, объединяющие в себе множество отдельных решений, которые как бы вплавлены в них. В той самой мере, в какой средства становятся более типичными, то есть более однозначными и предсказуемыми, определяется их положение и ранг в техническом пространстве. Они встраиваются в системы, пробелы в которых уменьшаются, тогда как их прозрачность растет.

Это проявляется в том, что даже неизвестное, нерешенное поддается расчету, — то есть становится возможно планирование и прогноз решений. Происходит все более плотное переплетение и выравнивание, стремящееся при всей специализации технического арсенала превратить его в один-единственный гигантский инструмент, выступающий материальным, то есть глубинным, символом тотального характера работы.

Мы вышли бы за рамки нашего исследования, если бы пожелали даже лишь наметить те бесчислен-



ные пути, что ведут к единству технического пространства, хотя тут скрывается множество потрясающих моментов. Примечательно, например, что техника вводит в строй все более тонкие движущие силы, при том, что основная идея ее средств остается неизменной; так, за паровой машиной следует двигатель внутреннего сгорания и электричество, круг применения которого в ближайшее время будет в свою очередь прорван высшими динамическими силами. Все это, так сказать, один и тот же экипаж, который поджидают всё новые перекладные. Подобно этому и техника оставляет позади свои экономические подпорки, свободную конкуренцию, тресты и государственные монополии, двигаясь навстречу имперскому единству. Сюда же относится и тот факт, что чем отчетливее она предстает в своем единстве как «огромный инструмент», тем более многообразными становятся способы управления ею. В своей предпоследней, только проступающей на свет фазе, она начинает обслуживать великие планы, все равно, относятся ли эти планы к войне или к миру, к политике или к научному исследованию, к средствам передвижения или к экономике. Последняя же ее задача состоит в том, чтобы осуществлять господство в любом месте, в любое время и в какой бы то ни было мере.

Таким образом, сейчас наша задача состоит не в том, чтобы следовать этим многообразным путям. Все они приводят к одной и той же точке. Дело, скорее, в том, чтобы дать глазу привыкнуть к новому совокупному образу техники. Техника долгое время представлялась как перевернутая и беспредельно разрастающаяся пирамида, свободная площадь которой непредсказуемо увеличивалась. Мы же, напротив,

должны приложить все усилия к тому, чтобы увидеть ее как пирамиду, свободная площадь которой постоянно сужается и которая через очень короткое время достигнет своей высшей точки. Но эта еще невидимая вершина уже определила размеры общего плана. Техника содержит в себе корень и росток своей последней возможности.

Этим объясняется та строгая последовательность, которая скрывается за анархической оболочкой ее развития.

## 50

Итак, последняя и высшая степень мобилизации материи гештальтом рабочего, как она проявляется в технике, пока еще столь же малозаметна, как и в случае протекающей параллельно ей мобилизации человека тем же гештальтом. Эта последняя степень состоит в осуществлении тотального характера работы, которое в первом случае выступает как тотальность технического пространства, а во втором — как тотальность типа. В своем появлении обе эти фазы связаны друг с другом, — это становится заметно, поскольку, с одной стороны, тип, для того чтобы обрести действенность, нуждается в подходящих ему средствах, а эти средства, с другой стороны, скрывают в себе язык, на котором может говорить только тип. Приближение к этому единству выражается в стирании различий между органическим и механическим миром; его символ — органическая конструкция.

Теперь возникает вопрос, насколько изменятся формы жизни, если за динамически-взрывным состоянием, в котором мы находимся, последует состояние

завершенности. Мы говорим здесь о *завершенности* (Perfektion), а не о совершенстве потому, что совершенство принадлежит к атрибутам гештальта, а не к атрибутам его символов, которые только и может увидеть наш глаз. Состояние завершенности поэтому столь же вторично, что и состояние развития: и за тем и за другим стоит гештальт как неизменная величина более высокого порядка. Так, детство, юность и старость отдельного человека суть лишь вторичные состояния по отношению к его гештальту, начало которого — не в его рождении, а конец — не в его смерти. Завершенность же означает не что иное, как ту степень, в какой исходящие от гештальта лучи по-особому касаются тленного взора, — и здесь тоже кажется трудным решить, отражаются ли они с большей ясностью в лице ребенка, в деяниях мужа или в том последнем триумфе, который иногда прорывается сквозь маску смерти.

Это означает лишь, что и нашему времени доступны те предельные возможности, которые способен реализовать человек. Об этом свидетельствуют жертвы, которые следует ценить тем более высоко, что они принесены на краю бессмыслицы. В эпоху, когда ценности исчезают под действием динамических законов, под натиском движения, эти жертвы подобны бойцам, павшим во время штурма, которые быстро пропадают из поля зрения и все же скрывают в себе высшее существование, гарантию победы. Это время богато безвестными мучениками, ему свойственна такая глубина страдания, дна которой не достигал еще ни один взор. Добродетель, приличествующая этому состоянию, есть добродетель героического реализма, который не может поколебать даже перспектива пол-

ного уничтожения и безнадежности его усилий. Поэтому завершенность представляет собой сегодня нечто иное, нежели в иные времена, — она, быть может, чаще всего имеет место там, где на нее меньше всего ссылаются. Быть может, лучше всего она проявляется в искусстве обращения со взрывчатыми веществами. Во всяком случае ее нет там, где ссылаются на культуру, искусство, на душу или на ценность. Речь об этом либо еще, либо уже не ведется.

Завершенность техники есть не что иное, как один из признаков завершения тотальной мобилизации, ходом которой мы захвачены. Поэтому она может, пожалуй, поднять жизнь на более высокий уровень организации, но никак не на более высокий ценностный уровень, как то полагал прогресс. В ней намечается смена динамического и революционного пространства пространством статическим и предельно упорядоченным. Таким образом, здесь совершается переход от изменчивости к постоянству, — переход, который, конечно же, принесет очень значительные плоды.

Чтобы понять это, мы должны увидеть, что состояние непрерывного изменения, в которое мы вовлечены, требует для себя всех сил и резервов, коими располагает жизнь. Мы живем в эпоху великого расхождения, единственное следствие которого видится в ускоренном беге колес. Пусть в конечном счете совершенно безразлично, двигаемся ли мы со скоростью улитки или со скоростью молнии, — при условии, что движение предъявляет к нам постоянные, а не изменчивые требования. Однако своеобразие нашего положения состоит в том, что нашими движениями управляет настойчивое стремление к рекордам и что

минимальная единица масштаба, которым измеряются ожидаемые от нас достижения, непрестанно растет. Этот факт в значительной мере препятствует тому, чтобы жизнь в какой-либо из своих областей могла закрепить для себя надежные и неоспоримые порядки. Наш образ жизни подобен, скорее, смертельной гонке, в которой приходится напрягать все свои силы, чтобы только не оказаться в ее хвосте.

Для духа, которому от рождения чужд ритм нашего пространства, этот процесс по всем признакам представляется загадочным и, может быть, даже безумным. Под безжалостной маской экономики и конкуренции здесь творятся удивительные вещи. Так, христианин скорее всего придет к выводу, что тем формам, которые в наше время принимает реклама, присущ сатанинский характер. Абстрактные заклинания и соствязание световых бликов в центре городов напоминают безмолвную и жестокую борьбу растений за почву и пространство. Глаз человека с Востока с ощущением чисто физической боли увидит, что каждый человек, каждый прохожий движется по улице словно бегун на дистанции. Самые новые устройства, самые эффективные средства могут здесь продержаться лишь короткое время: они либо изнашиваются, либо расходуются.

Вследствие этого здесь нет уже капитала в старом, статическом смысле этого слова; сомнительна даже ценность самого золота. Нет уже такого ремесла, которому можно было бы выучиться, чтобы затем достичь в нем совершенного мастерства; все мы лишь ученики. Средствам передвижения и производству присущи чрезмерность и непредсказуемость, — чем быстрее мы двигаемся, тем реже приходим к цели, а

рост урожаев и производства всевозможных благ составляет странный контраст с растущим обнищанием масс. Изменчивы и средства власти; война на великих фронтах цивилизации предстает как лихорадочный обмен формулами из физики, химии и высшей математики. Грандиозные арсеналы средств уничтожения не гарантируют никакой безопасности; быть может, уже завтра мы разглядим, что у этого колосса глиняные ноги. Нет ничего постоянного, кроме изменения, и об этот факт разбивается любое усилие, направленное на обладание имуществом, на достижение удовлетворенности или безопасности.

Счастлив тот, кто умеет ходить иными, более отважными путями.

## 51

Итак, если мы усматриваем в гештальте рабочего определяющую и магнетически притягивающую к себе всякое движение силу, если мы видим в нем последнего и истинного конкурента, незримо опосредующего собой бесчисленные формы конкуренции, то мы понимаем, что эти процессы обладают своей собственной целью. Мы уже предугадываем тот пункт, в котором скрывается оправдание жертв, принесенных, по-видимому, в очень различных и далеких друг от друга местах. Завершенность техники есть один, и только один из символов, подтверждающих завершение этих процессов. Как уже было сказано, она пересекается с появлением расы, отличающейся высшей степенью однозначности.

Момент завершения технического прогресса фиксирован, таким образом, в той мере, в какой может

быть достигнута совершенно определенная степень пригодности. Теоретически это завершение могло бы произойти в любое время — как пятьдесят лет назад, так и сегодня. Гонец из Марафона принес весть о не более предпочтительной победе, чем те, о которых сообщал беспроволочный телеграф. Когда волнение успокаивается, любой момент может сойти за исходный пункт для китайского постоянства. Если бы вследствие какой-нибудь природной катастрофы все страны мира, включая Японию, погрузились на дно моря, то достигнутый на этот момент уровень техники, вероятно, без изменений просуществовал бы столетия во всех своих деталях.

Средства, которыми мы располагаем, не только способны удовлетворить всем требованиям жизни; своеобразие нашего положения состоит как раз в том, что они дают больше, чем мы ожидаем от них. Так возникают ситуации, когда рост средств пытаются ограничить, будь то в договорном или в приказном порядке.

Эта попытка сдержать силу слепого потока наблюдается всюду, где выдвигаются притязания на господство. Поэтому государства стараются заслониться от необузданной конкуренции с помощью покровительственных пошлин; а там, где монопольные образования подчинили себе некоторые отрасли промышленности, изобретения нередко засекречиваются. Сюда же относятся соглашения, запрещающие военное использование определенных технических средств, — соглашения, которые нарушаются во время войны и которым по решению победителя придается монопольный характер, что по окончании последней войны и было сделано в отношении права

производить ядовитые газы, танки или военные самолеты.

Таким образом, здесь, как и в некоторых других областях, мы сталкиваемся с волевым стремлением достичь большей или меньшей степени завершенности технического развития с целью создать зоны, не доступные для безостановочных изменений. Однако эти попытки обречены на неудачу уже потому, что за ними не стоит никакое тотальное и неоспоримое господство. Тому есть свои причины: мы видели, что формирование господства сопряжено с формированием средств. С одной стороны, только тотальное техническое пространство создает возможность для тотального господства, с другой — только такое господство действительно способно распоряжаться техникой. Пожалуй, до поры до времени будет все же возможно только все более строгое управление состоянием техники, а не его окончательная фиксация.

Причину этого следует искать в том, что между человеком и техникой существует отношение не непосредственной, а опосредованной зависимости. Техника движется своим собственным ходом, и человек не может по своей воле оборвать его тогда, когда состояние средств покажется ему удовлетворительным. Все технические задачи должны быть разрешены, и постоянство в технике наступит не раньше, чем будет найдено это решение. Примером того, в какой мере увеличивается планомерность и прозрачность технического пространства, может служить тот факт, что по крайней мере часть таких решений является не столько удачной находкой, сколько результатом упорядоченного продвижения, которое в течение все более предсказуемого времени достигает той или иной



отметки. Пусть и не в самой технической практике, но по крайней мере в идущих впереди нее частных науках уже существуют области, где можно наблюдать максимум технической точности, которая может дать вполне отчетливое представление о ее последних возможностях. Кажется, здесь остается еще сделать лишь несколько шагов, чтобы достичь очертаний последней формы, которая возможна в нашем пространстве. Именно здесь, к примеру, при рассмотрении достижений атомной физики, мы можем оценить то расстояние, которое все еще отделяет техническую практику от оптимальной реализации ее возможностей.

## 52

Если мы теперь захотим представить себе состояние, соответствующее этому оптимуму, то сделаем это не с целью умножить число утопий, в которых наше время не знает недостатка. Техническая утопия характеризуется тем, что ее любопытство направлено на то, *как*, каким образом все происходит. Оставим, однако, открытым вопрос о том, какие средства еще будут найдены, какие источники силы будут открыты и как их станут использовать. Намного важнее факт завершения как таковой, какие бы форм в нем ни вызрели. Ибо лишь тогда можно будет сказать, что средства обладают формой, в то время как сегодня они представляют собой лишь беглое инструментальное сопровождение кривых производительности.

Нет достаточно веского основания для опровержения гипотезы о том, что постоянство средств будет однажды достигнуто. Такая стабильность на

протяжении длительных отрезков времени является, скорее, правилом, тогда как окружающий нас лихорадочный темп изменения не подкреплен никаким историческим примером. Продолжительность этой изменчивости ограничена: то в силу того, что оказывается сломлена лежащая в ее основании воля, то вследствие достижения ей своих целей. Поскольку мы полагаем, что видим такие цели, постольку рассмотрение первой возможности лишено для нас смысла.

Постоянство средств, какую бы форму оно ни принимало, подразумевает и стабильность образа жизни, о которой мы утратили всякое представление. Разумеется, эту стабильность не следует понимать как отсутствие трения в разумно-гуманистическом смысле, как последний триумф комфорта, но в том смысле, что надежный предметный фон позволяет отчетливее и яснее увидеть меру и степень человеческих усилий, побед и поражений, чем это возможно в рамках непредсказуемого динамически-взрывного состояния. Мы выразим это в предположении о том, что завершение мобилизации мира гештальтом рабочего создаст возможность для такой жизни, которая была бы соразмерна гештальту.

Стабильность образа жизни в этом смысле относится к предпосылкам любой плановой экономики. Пока капитал и рабочая сила, все равно, кто бы ими ни распоряжался, поглощаются ходом мобилизации, об экономике не может идти речи. Экономический закон перекрывается тут законами, подобными законам ведения войны, — не только на полях сражений, но и в экономике мы обнаруживаем такие формы конкуренции, где не выигрывает никто. Со стороны

рабочей силы затрата средств уподобляется военным платежам, со стороны капитала — подписке на военный заем, причем и то и другое без остатка поглощается этим процессом.

Мы живем в таких обстоятельствах, когда не приносят выгоды ни работа, ни собственность, ни состояние, когда прибыль уменьшается в той мере, в какой растет оборот. Ухудшение уровня жизни рабочего, все более короткие сроки, в течение которых состояния находятся в руках одного владельца, сомнительный характер собственности, в частности земельной собственности, и средств производства, находящихся в постоянном изменении, являются тому свидетельством. Производству не хватает стабильности и, следовательно, предсказуемости на хоть сколько-нибудь долгий срок. Всякая прибыль поэтому поглощается снова и снова дающей о себе знать необходимостью дальнейшего ускорения. Необузданная конкуренция обременительна для всех: и для производителей, и для потребителей, — как пример назовем рекламу, которая превратилась в какой-то фейерверк, сжигающий громадные суммы, и чтобы добыть их, каждый должен заплатить свою дань. Далее, сюда относятся беспорядочно возникающие потребности, удобства, без которых человек, как ему кажется, уже не может жить, и благодаря которым возрастает степень его зависимости, его обязательств. Эти потребности в свою очередь столь же многообразны, сколь и изменчивы, — остаются все меньше вещей, которые приобретаются на всю жизнь. Заинтересованность в длительном обладании, воплощаемом в недвижимом имуществе, похоже, находится в состоянии исчезновения, иначе нельзя было бы объяснить, почему те суммы, на которые

можно было бы приобрести виноградник или загородный дом, сегодня расходятся на автомобиль, жизнь которого продлится всего несколько лет. Вместе с натиском товаров, порождаемым лихорадочной конкуренцией, неизбежно множатся и каналы, по которым всасываются деньги. Эта мобилизация денег имеет своим следствием возникновение системы кредитов, которая отмечает все до последнего пфеннига. Случается, что люди живут буквально в рассрочку и, стало быть, экономическое существование представляется непрерывным покрытием кредитов в счет работы, записываемой авансом. Этот процесс в гигантских размерах отражается в военных долгах, за сложным финансовым механизмом которых скрывается конфискация потенциальной энергии, взимание процентов с невообразимой добычи, поставляемой рабочей силой, — и нисходит вплоть до частного существования единичного человека. Далее, следует упомянуть стремление придать имуществу формы, которым присуща все меньшая завершенность и способность к сопротивлению. Сюда относятся превращение остатков феодальной собственности в частную собственность, своеобразная замена индивидуальных и общественных резервных фондов выплатами страховки и, прежде всего, — разнообразные нападки, которым подвергается роль золота как символа ценности. К этому присоединяются формы налогообложения, которые придают имуществу своего рода административный характер. Так, после войны домовладельцев сумели сделать своего рода сборщиками податей для финансирования программ нового строительства. Этим частным атакам соответствует генеральное наступление на последние уголки экономической без-

опасности в форме катастрофических инфляций и кризисов.

Эта ситуация уже потому ускользает от какого бы то ни было экономического урегулирования, что подчиняется другим законам, нежели законы экономические. Мы вступили в ту фазу, когда расходы превышают доходы и когда становится совершенно ясно, что техника не относится к ведению экономики, подобно тому как рабочего нельзя постичь в рамках экономического способа рассмотрения.

Быть может, при взгляде на вулканические ландшафты технической битвы у кого-нибудь из ее участников мелькнула мысль, что такого рода расходы слишком огромны, чтобы их можно было оплатить, и бедственное положение даже держав-победителей, состояние всеобщей военной задолженности дают тому подтверждение. Та же мысль напрашивается и при рассмотрении состояния техники вообще. Какими бы способами и в какой бы мере мы ни улучшали и ни умножали технический арсенал, это непременно приведет к подорожанию хлеба.

Мы вступили в процесс мобилизации, который отличается ненасытным характером, который пожирает людей и средства, — и это не изменится до тех пор, пока идет развертывание этого процесса. Лишь по его завершении может идти речь как о порядке вообще, так и об упорядоченной экономике, то есть о контролируемом соотношении расходов и доходов. Лишь безусловное постоянство средств, какую бы форму они не принимали, способно свести необузданную конкуренцию к конкуренции естественной, как она наблюдается в царствах природы или в пределах ушедших в историю состояний общества.

Здесь вновь обнаруживается единство органического и механического мира; техника становится органом и отступает как самостоятельная власть в той мере, в какой возрастает ее завершенность и тем самым ее самоочевидность.

Лишь постоянство средств создает возможность для закономерного регулирования конкуренции, как оно осуществлялось по регламентам гильдий и торговым уставам, и как оно уже сегодня предусматривается концернами и государственными монополиями, правда, безуспешно, так как изменчивы и подвержены непредсказуемым атакам именно сами средства. При постоянстве же средств прежние расходы обернутся сбережениями, которые сегодня поглощаются необходимостью все большего ускорения.

Становится также очевидно, что лишь после этого может зайти речь о мастерстве, а именно тогда, когда искусство будет состоять уже не в переходе от одного предмета обучения к другому, а в доведении умения до совершенства. Наконец, вместе с изменчивостью средств исчезнет и мастеровой характер технического пространства, и это приведет к тому, что сооружения станут структурированными, устойчивыми и поддающимися расчету.

### 53

Здесь мы затронем область конструктивной деятельности, в которой влияние устойчивости средств, какую бы оно ни принимало форму, становится гораздо более отчетливым. Мы уже касались понятия органической конструкции, которая в отношении

типа предстает как тесное и лишенное противоречий слияние человека с находящимися в его распоряжении инструментами. В отношении самих этих инструментов об органической конструкции можно говорить тогда, когда техника достигает той высшей степени самоочевидности, какая свойственна анатомическому строению животных или растений. Даже в том эмбриональном состоянии техники, в котором мы находимся, нельзя упускать из виду стремление не только к повышенной рентабельности, но и к эффективности, связанной со смелой простотой линий. Мы по опыту знаем, что ход этого процесса доставляет наивысшее удовлетворение не только рассудку, но и зрению, — причем происходит это с той непреднамеренностью, которая характерна для органического роста.

Высшая ступень конструкции предполагает завершение динамически взрывного отрезка технического процесса, который находится в одинаковом противоречии, правда, лишь мнимом, как с естественной, так и с исторической формой. Поэтому в нашем ландшафте есть фрагменты, которые оставались для глаза чужеродными на протяжении сотни лет. Вид железной дороги хороший тому пример, в противоположность, скажем, воздухоплавательным средствам. То, насколько сокращается разница между органическими и техническими средствами, можно, впрочем, и не без основания, уловить с помощью одних только чувств по мере того как на них обращает внимание искусство. Так, даже натуралистический роман лишь спустя десятилетия начинает считаться с фактом существования железных дорог, тогда как не видно такой причины, которая заставила бы эпос или даже

лирическое стихотворение отказаться от созерцания полета. Вполне можно помыслить такой род языка, на котором о боевых самолетах говорили бы так же, как о запряженных колесницах Гомера; и планирующий полет может послужить сюжетом менее пространной оды, чем та, в которой воспевается бег на коньках. Правда, этому должен быть предпослан и иной человеческий род; мы затронем это подробнее, когда будем рассматривать отношение, в котором тип находится к искусству.

Вступление в органическую конструкцию ознаменовано тем, что форма некоторым образом воспринимается как уже знакомая, а взор постигает, что она обязательно должна иметь именно такой, а не какой-либо иной вид. В этом отношении остатки акведуков в Кампанье соответствуют такому состоянию технической завершенности, которое у нас еще не наблюдается, — не независимо от того, являются ли наши сегодняшние сооружения более эффективными, или нет. В присущем нашему ландшафту мастеровом характере заключена причина того, что мы не можем отважиться возводить постройки на тысячу лет. Поэтому даже самые внушительные строения, порожденные нашим временем, лишены того монументального характера, который является символом вечности. Это можно было бы показать вплоть до мельчайших деталей, вплоть до подбора строительных материалов, — между тем для подтверждения достаточно окинуть взглядом любое здание.

Причину этого явления следует искать не в том, что наша строительная техника находится в противоречии со строительным искусством. Отношение между ними, скорее, таково, что строительное искус-



ство, как любой род мастерства, требует завершенной в себе техники, причем как в отношении средств, используемых им самим, так и в связи с ее состоянием в целом.

Невозможно построить такой вокзал, которому уже не был бы свойствен мастерской характер, до тех пор пока сама железная дорога принадлежит к числу проблематичных средств. Поэтому абсурдно было бы помышлять об укреплении железнодорожной насыпи фундаментом, который соответствовал бы фундаменту *Via Appia*.\* И наоборот, сегодня нелепо возводить церкви как символы вечности. Время, которое довольствовалось копированием великих образцов прошлого в стиле детских кубиков, сменяется другим временем, которое выказывает полное отсутствие инстинкта, пытаясь строить христианские церкви средствами современной техники, то есть типично антихристианскими средствами. Эти старания лживы, так сказать, до последнего кирпича. Наиболее грандиозная попытка такого рода, строительство *Sagrada Familia*\*\* в Барселоне, порождает романтическое чудовище, а примером подобных усилий в сегодняшней Германии может служить художественное ремесло, то есть та особая форма бессилия, которая прячет свою негодность под маской предметности. Эти здания производят такое впечатление, будто они с самого начала возводились в целях секуляризации. В частности, знаменитый железобетон — это типичный материал мастерских, который как бы олицетворяет полное исчезновение камня в строительном растворе, — ма-

---

\* Аппиева дорога (*лат.*).

\*\* Собор Святого Семейства (*исп.*).

териал, который предназначен главным образом для постройки окопов, но не церквей.

В этой связи хотелось бы выразить надежду, что Германия еще дождется того поколения, у которого достанет благочестия и почтения перед героями, чтобы снести памятники воинам, воздвигнутые в наше время. Однако мы пока еще живем не в ту эпоху, которой будет предоставлено право провести грандиозную ревизию всех памятников. Это ясно уже по тому, в какой мере утрачено сознание высокого ранга, подобающего культу мертвых, и огромной ответственности за него. Из всех поставляемых бюргером зрелищ наиболее зловещим оказывается тот способ, которым он осуществляет свои погребения, и довольно одной прогулки по какому-нибудь из этих кладбищ, чтобы обрела наглядность поговорка об окрестностях, в которых никто не желает не только жить, но даже умереть. Между тем война и здесь отмечает поворотный пункт: кое-где мы вновь видели подлинные могилы.

Таким образом, неумение по-настоящему что-нибудь построить, равно как и неспособность к подлинной экономике, связано с изменчивостью средств. И все-таки нужно отдавать себе отчет в том, что эта изменчивость существует не сама по себе, что она представляет собой всего лишь знак того, что техника не стала еще со всей определенностью в служебное отношение, — или, иными словами, что господство еще не осуществилось. Но это осуществление мы обозначили как последнюю задачу, лежащую в основании технического процесса.

Когда эта задача будет выполнена, тогда и изменчивость средств сменится их постоянством, и это

означает, что революционные средства станут легитимными. Техника есть мобилизация мира гештальтом рабочего; первый этап этой мобилизации по природе своей обязательно разрушителен. По завершении этого процесса гештальт рабочего в плане созидательной деятельности выступает как распорядитель застройки. Естественно, тогда вновь появится возможность строить в монументальном стиле — и притом в той мере, в какой чисто количественная производительность находящихся в нашем распоряжении средств будет превосходить любые исторические мерки.

Чего не хватает нашим постройкам, — так это именно гештальта, метафизики, той подлинной величины, которую нельзя получить никаким усилием: ни через волю к власти, ни через волю к вере. Мы живем в одну из тех странных эпох, когда господство в одно и то же время и уже ушло, и еще не наступило. Тем не менее можно сказать, что нулевая точка уже пройдена. Об этом свидетельствует то, что мы вступили во второй этап технического процесса, где техника предоставляет себя в распоряжение обширным и смелым планам. Конечно, эти планы по-прежнему изменчивы сами по себе и втянуты в широкую конкуренцию, — так и мы пока далеки от вступления в последнюю, решающую фазу. Однако важно, что план представляется человеческому сознанию не как решающая форма, а как средство для достижения цели. В нем находит свое выражение процесс, соразмерный мастеровому характеру нашего мира. Соответственно надменный язык прогресса сменяется новой скромностью — скромностью поколения, отказавшегося от иллюзии обладания неоспоримыми ценностями.

## 54

Завершенность и вместе с тем постоянство средств не порождает господство, а осуществляет его. Еще отчетливее, чем в области экономики и строительства, это заметно там, где техника выступает источником непосредственных властных средств, — отчетливее не только потому, что здесь с наибольшей ясностью открывается связь между техникой и господством, но и потому, что каждое техническое средство либо тайно, либо явно заключает в себе военную ценность.

Тот способ, каким этот факт в наше время выступает на свет, а также те возможности, которые начинают обозначаться помимо него, вселяют в человека вполне оправданные опасения.

Однако что есть забота без ответственности, без воли к овладению окружающей нас опасной стихией? Ужасающее усиление средств пробудило наивное доверие, стремящееся отвести взгляд от фактов как от видений страшного сна. Корни этой доверчивости залегают в вере, считающей технику инструментом прогресса, то есть разумно-нравственного мирового порядка. С этим связано мнение, будто существуют средства столь разрушительные, что человеческий дух держит их под замком как в аптечных шкафах, где хранятся яды.

Однако, как мы видели, техника является никоим образом не инструментом прогресса, но средством мобилизации мира гештальтом рабочего, и пока этот процесс не закончен, можно с уверенностью предсказать, что ни одно из ее разрушительных свойств не будет устранено. Впрочем, даже предельное на-

пряжение технических средств не способно привести ни к чему иному, кроме смерти, равно печальной во все времена. Поэтому то воззрение, согласно которому техника в качестве оружия будто бы производит между людьми вражду, так же ложно, как и перекликающееся с ним воззрение, будто там, где техника выступает в качестве средств сообщения, она имеет своим следствием укрепление мира. Ее задача состоит совсем в другом, а именно в том, чтобы быть пригодной к службе у власти, которая в своей высшей инстанции выносит решение о войне и мире и тем самым — о нравственности или справедливости этих состояний.

Тот, кто понял это, немедленно оказывается в решающей точке обширной полемики, разгоревшейся в наше время вокруг войны и мира. Вопрос о том, можно ли и каким способом можно с разумной или моральной точки зрения оправдать применение технических средств в борьбе, и даже о том, можно ли и каким способом можно оправдать сам факт войны, — является второстепенным, и можно сказать, что все книги, обсуждающие эти темы, по крайней мере в практическом плане, были написаны напрасно. Независимо от того, желаем ли мы войны или мира, вопрос, в котором только и заключается здесь все дело, состоит в том, существует ли точка, в которой власть и право тождественны, — причем акцент с равной силой должен ставиться на *обоих* этих словах. Ибо только тогда можно уже не вести разговоры о войне и мире, а выносить о них авторитетное решение. Поскольку в том состоянии, которого мы достигли, всякое действительно серьезное столкновение приобретает характер мировой войны, необходимо,

чтобы эта точка имела планетарное значение. Мы сразу оказываемся в контексте, который связывает этот вопрос с завершенностью технических средств, то есть, в данном случае, средств борьбы, — только прежде нужно кратко отметить, что каждая из двух великих опор государства XIX века, а именно, как нация, так и общество, уже внутренне ориентированы на такой высший форум.

Применительно к нации это выражается в стремлении вывести государство за пределы национальных границ и наделить его имперским рангом, применительно к обществу — в заключении общественных договоров планетарной значимости. Оба пути, однако, показывают, что принципы XIX века для такого регулирования не пригодны.

Грандиозные усилия национальных государств сводятся в результате к сомнительному факту присоединения провинций; а там, где можно наблюдать имперский подход к делу, речь идет о колониальном империализме, испытывающем необходимость в вымысле, согласно которому будто бы существуют народы, которые, как, например, германский народ, еще нуждаются в воспитании. Нация находит свои границы в себе самой, и каждый шаг, выводящий ее за эти границы, в высшей степени сомнителен. Приобретение какой-нибудь узкой полоски пограничной земли на основании национального принципа намного менее легитимно, нежели приобретение целой империи посредством женитьбы в системе династических сил. Поэтому в случае войн за наследство речь идет лишь о двух интерпретациях одного и того же права, признанного обоими соперниками, в случае же национальных войн — о двух разновидностях права

вообще. Поэтому национальные войны и приводят, скорее, к естественному состоянию.

Причина всех этих явлений заключается в том, что XIX век представлял себе нации по образцу индивидов; это гигантские индивиды, руководствующиеся «моральным законом в них», и потому они лишены возможности образовывать настоящие империи. Высшего суда права или власти, который бы ограничивал или согласовывал их претензии, не существует, — эту задачу, скорее, берет на себя механическая сила природы, а именно, естественное равновесие. Усилия наций, претендующих на легитимность за пределами своих границ, обречены на провал потому, что они становятся на путь чистого развертывания власти. То, что почва здесь с каждым шагом становится все более непроходимой, объясняется тем, что власть нарушает границы отведенной для нее правовой сферы и тем самым проявляется как насилие, вследствие чего, в сущности, уже не воспринимается как легитимная.

Усилия общества, претендующего на то же самое, следуют обратным путем; они пытаются расширить сферу права, для которой не отведена никакая властная сфера. Так возникают объединения типа Лиги Наций — объединения, чей иллюзорный контроль над огромными правовыми пространствами находится в странной диспропорции с объемом их исполнительной власти.

Эта диспропорция породила в наше время ряд новых явлений, в которых следует усматривать признаки гуманистического дальтонизма. Благодаря ему получила развитие процедура, которую с необходимостью должно было повлечь за собой теоретическое

конструирование таких правовых пространств, а именно, процедура последующей юридической санкции уже совершенных актов насилия.

Так сегодня появилась возможность вести войны, о которых никому ничего не известно, потому что сильнейший любит изображать их как мирное вторжение или как полицейскую акцию против разбойничьих банд, — войны, которые хотя и ведутся в действительности, но ни коим образом не в теории. Та же слепота наблюдается и в связи с разоружением Германии, которое как акт силовой политики столь же понятно, сколь подло оно в том обосновании, которое подводится под этот акт. Эту подлость может превзойти только подлость немецкого бюргерства, пожелавшего участвовать в Лиге Наций. Но довольно, — для нас важно лишь показать, что тождество власти и права не может быть достигнуто путем расширения принципов XIX века. Позднее мы увидим, не открываются ли для этого возможности иного рода.

## 55

В отношении средств, — а о них мы здесь и говорим, — устремления империалистического характера выступают как попытки добиться монопольного управления техническим аппаратом власти. В этом смысле мероприятия по разоружению, о которых только что шла речь, вполне закономерны; закономерно, в частности, то, что они стремятся не только сократить конкретный арсенал, но и парализовать потенциальную энергию, которая производит такие арсеналы. Эти посягательства направлены уже не про-



тив специального, а против тотального характера работы.

На основании предшествующих размышлений нам будет несложно выявить источник заблуждения, порождающий эти усилия. Этот источник заблуждения имеет, с одной стороны, принципиальную, с другой — практическую природу.

В принципиальном плане нужно заметить, что монополизация средств, причем даже там, где она выступает как чисто торговый процесс, идет вразрез с сущностью либерального национального государства. Национальное государство не может обходиться без конкуренции, и этим объясняется тот факт, что Германию разоружили не полностью, а оставили ей как раз столько солдат, кораблей и пушек, сколько требовалось для поддержания по крайней мере иллюзорной конкуренции. Идеалом либералистского пространства является не открытое, а завуалированное превосходство и, соответственно, завуалированное рабство; гарантом универсального состояния выступает именно более слабый конкурент, — тот, кто занимает подчиненное положение в экономике, обеспечивает его благодаря владению небольшим садовым участком, тот, кто более слаб в политическом плане — благодаря подаче избирательных бюллетеней. Это бросает свет на тот совершенно несоизмеримый интерес, который мир проявляет к строительству даже самого малого немецкого линкора, — все объясняется потребностью в стимулирующих средствах. Это бросает свет также и на важную систематическую погрешность, которая заключается в том, что эту страну лишили *всех* колоний; небольшая уступка в южной части Тихого океана, в Китае или в Африке намного

лучше гарантировала бы ситуацию, и очень вероятно, что подарок данайцев вскоре попытается исправить эту ошибку.

Сюда относится и одна из парадоксальных возможностей, порожденных нашим временем, а именно та возможность, что в результате разоружения будет нарушено монопольное владение средствами власти. Этот процесс подобен выпадам против золотого стандарта или отказу от участия в парламентской системе; в эту особую форму власти и в ее существенное значение уже не верят и — выходят из игры. Правда, такая процедура доступна лишь революционным властям, да и то лишь в совершенно определенные моменты. Одним из признаков такого рода властей является то, что у них есть время и что оно играет им на руку. Канаода в Вальми, мир в Брест-Литовске в той же мере являются определениями сформировавшейся исторической власти, в какой выпадают из сферы потенциальной революционной энергии, которая под покровом договоров и поражений только и начинает развертывать свои подлинные средства. Сигнатура революции имеет столь же сомнительную силу, сколь мало легитимно ее прошлое.

Тут мы затронули самую суть монополизации техники, в той мере, в какой она выступает как ничем не прикрытое средство власти. Эта суть заключается в том, что либеральное национальное государство вообще не способно на такую монополизацию. В этой сфере владение техническим арсеналом обманчиво, и это происходит оттого, что техника по своей сущности не есть средство, отведенное для нации и приспособленное к ее нуждам. Скорее, техника есть тот способ,

каким гештальт рабочего мобилизует мир и совершает в нем революцию. Получается, что, с одной стороны, мобилизация нации приводит в движение более разнообразные и многочисленные силы, чем входило в ее намерения, в то время как, с другой стороны, разоруженная ее часть необходимым образом отгесняется в те опасные и непредсказуемые пространства, где в хаотичном нагромождении спрятано оружие революции. Однако сегодня есть лишь *одно* революционное пространство, и оно определяется гештальтом рабочего.

Вследствие этого в Германии, положение которой рассматривается тут лишь в качестве примера, возникла следующая ситуация: монополия на средства власти, установленная державами, вышедшими с победой из мировой войны, признается представителями либерального национального государства, причем в той мере, в какой дозволенные властные уступки, то есть армия и полиция, выступают как исполнительные органы, действующие по поручению этих иностранных монополий. В случае задержки с выплатой дани или вооружения определенных частей народа или страны, это немедленно стало бы очевидно, и уже не кажется удивительным после того пережитого нами спектакля, когда так называемые немецкие военные преступники были в окопах приведены немецкой полицией к высшему суду этой страны. Этот наглядный пример лучше всего демонстрирует, насколько либеральное национальное государство стало для нас иностранным и даже всегда было таковым. Это говорит о том, что средства этого государства стали совершенно недостаточными и что ни в чем нельзя полагаться ни на них, ни на то шовинистическое и

национал-либеральное мелкое бюргерство, которое после войны появилось также и в Германии.

Ныне существуют вещи, обладающие большей взрывной силой, чем динамит. То, в чем мы увидели задачу единичного человека, составляет сегодня и одну из задач нации; она состоит в том, чтобы отказаться от индивидуального образца и постичь себя как представителя гештальта рабочего. Как именно осуществляется этот переход, подлежит детальному рассмотрению в другом месте. Он знаменует уничтожение поверхностного либерального слоя, которое, в сущности, лишь ускоряет его самоуничтожение. Он знаменует также и превращение национальной сферы в стихийное пространство, в котором только и можно обрести новое сознание власти и свободы и в котором говорят на ином языке, нежели язык XIX века, — на языке, который уже сегодня понимают во многих уголках земли и который, стоит только ему зазвучать в этом пространстве, будет понят как сигнал к восстанию.

Лишь перед лицом такого пространства станет ясно, насколько легитимна существующая монополия на средства власти. Станет ясно, что технический арсенал гарантирует либеральному государству лишь частичную безопасность, что уже было доказано в том числе и исходом мировой войны. Не существует оружия самого по себе, форма любого оружия определяется как тем, кто его носит, так и объектом, противником, которого оно должно поразить. Меч может пробить доспехи, но проходит сквозь воздух, не оставляя в нем следа. Порядок Фридриха был непревзойденным средством против линейного сопротивления, однако в лице санкюлотов он встретил против-

ника, который пренебрег правилами искусства. Подобное иногда случается в истории, — и это означает, что началась новая партия, где козырной становится другая карта.

## 56

Итак, в принципиальном отношении можно сказать, что обладание техническими средствами власти обнаруживает предательский фон всюду, где оно предоставлено не соответствующему с ним господству. Господства в этом смысле, то есть такого господства, которое превращало бы монополистское притязание в прерогативу, не существует ни в одном уголке мира.

Где бы ни шел процесс вооружения, он идет ради иной цели, которая не подчиняется усилиям планирующего рассудка, а сама подчиняет их себе.

В практическом же плане, в отношении конкретного своеобразия средств, монополия на оружие ставится под угрозу в силу изменчивости техники, выступающей здесь как изменчивость властных средств.

Именно эта изменчивость полагает границы накоплению уже оформленной энергии. Дух еще не располагает средствами, в которых находит неоспоримое выражение тотальный характер боя и ввиду которых возникает связь между техникой и табу. Чем быстрее растет специализация арсенала, тем сильнее сокращается тот промежуток времени, в течение которого его можно использовать эффективно. Мастерской характер, присущий техническому ландшафту, в военном ландшафте проявляется как ускоренная смена тактических методов. На этом отрезке разруше-

ние самих средств разрушения превосходит по темпу создание этих средств. Этот факт придает расширению процесса вооружения спекулятивный оттенок, который приводит к возрастанию ответственности и сам усиливается в той мере, в какой практический опыт бездействует.

Сегодня мы находимся во второй фазе применения технических средств власти, после того как в первой фазе осуществилось уничтожение последних остатков сословной касты воинов. Эта вторая фаза характеризуется разработкой и проведением в жизнь обширных планов. Само собой разумеется, эти планы нельзя сравнивать со строительством пирамид и соборов, напротив, им все еще присущ мастеровой характер. Соответственно мы наблюдаем, как подлинно исторические державы участвуют в лихорадочном процессе вооружения, который пытается подчинить себе всю совокупность проявлений жизни и придать им военный ранг. Вопреки всем социальным и национальным различиям между жизненными единствами, озадачивает, ужасает и пробуждает надежду именно сухое однообразие этого процесса.

Мастеровой характер этой второй фазы является причиной того, что она не воплощает никаких окончательных состояний, если таковые вообще возможны на земле, хотя, пожалуй, и подготавливает возникновение таких состояний. В тоске по миру, противостоящей изготавившимся к бою огромным военным лагерям, кроется притязание на неосуществимое счастье. Состояние, которое можно было бы рассматривать как символ вечного мира, никогда не будет гарантировано мирным договором между госу-

дарствами, — но только одним государством, обладающим неоспоримым имперским рангом и соединяющим в себе «*Imperium et libertas*».\*

Завершение грандиозного процесса вооружения, который со все большей отчетливостью низводит национальные государства старого стиля до ранга рабочих величин и ставит перед ними задачи, требующие, в сущности, более широких рамок, чем рамки нации, — такое завершение будет возможно лишь тогда, когда достигнут завершенности и те средства, на которые опирается вооружение. Завершенность технических средств власти выражается в предельном состоянии, которое сопровождается ужасом и возможностью тотального уничтожения.

С правомерной озабоченностью следит человеческий дух за появлением средств, благодаря которым начинает вырисовываться эта возможность. Уже в последней войне существовали зоны уничтожения, описать которые можно, лишь сравнив их с природными катастрофами. За короткий отрезок времени, отделяющий нас от тех пространств, мощь находящихся в нашем распоряжении энергий увеличилась во много раз. Вместе с тем возрастает ответственность, вытекающая уже лишь из того, что мы обладаем и управляем такими энергиями. Мысль о том, что их раскрепощение и применение в борьбе не на жизнь, а на смерть, можно обуздать с помощью общественного договора, отдает романтизмом. Ее предпосылка состоит в том, что человек будто бы является добрым, — однако это не так, человек является добрым и злым одновременно. Любой расчет,

---

\* «Империю и свободу» (лат.).

если он хочет устоять перед действительностью, должен учитывать, что нет ничего, на что человек не был бы способен. Действительность определяют не моральные предписания, ее определяют законы. Поэтому решающий вопрос, который должен быть поставлен, гласит: существует ли такая точка, исходя из которой можно принять авторитетное решение, следует ли тут применять имеющиеся средства или нет? Отсутствие подобной точки есть знак того, что мировая война не создала мировой порядок, и этот факт достаточно четко запечатлелся в сознании народов.

Предельное развитие средств власти и связанное с ним постоянство этих средств само по себе, естественно, не имеет никакого значения. Ведь техника впервые получает свое значение лишь благодаря тому, что она есть тот способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир. Конечно, это обстоятельство придает ей символический ранг, и постоянство ее средств означает, что революционная фаза мобилизации завершена. Вооружение и контрвооружение народов — это революционное предприятие, которое осуществляется в более обширном контексте, откуда можно увидеть его единство, хотя оно и разрушает облик тех, кто участвует в нем. Единство, а с ним и порядок мира представляет собой то решение конфликтных вопросов, которое уже содержится в самой их постановке, и это единство слишком глубоко, чтобы его можно было достичь примитивными средствами — сделками и договорами.

Тем не менее уже сегодня существует возможность обзора, которая позволяет приветствовать всякое крупномасштабное развертывание сил, в какой



бы точке земного шара оно не происходило. Ведь именно здесь выражается стремление предоставить новому гешталту, давно уже заявившему о себе в страдательном плане, также и активных представителей. Дело не в том, что мы живем, а в том, что в мире вновь стало возможно вести жизнь в великолепном стиле и с большим размахом. Мы содействуем этому в той мере, в какой заостряем собственные притязания.

Господство, то есть преодоление анархических пространств посредством нового порядка, возможно сегодня только как репрезентация гешталта рабочего, выдвигающего притязание на планетарную значимость. Намечается много путей, которые ведут к этой репрезентации. И все они отличаются своим революционным характером.

Революционным оказывается новое человечество, выступающее как тип, революционным оказывается устойчивый рост средств, который ни один из традиционных социальных и национальных порядков не может вобрать в себя, не впадая при этом в противоречие. Эти средства полностью меняются и обнаруживают свой скрытый смысл в тот момент, когда их подчиняет себе действительное, неоспоримое господство. В этот момент революционные средства становятся легитимными.

## 57

Резюмируя, следует сказать, что основная ошибка, делающая бесплодным любое размышление, состоит в том, что техника рассматривается как замкнутая в себе самой каузальная система. Эта ошибка приводит

к тем фантазиям по поводу бесконечности, в которых выдает себя ограниченность чистого рассудка. Заниматься техникой стоит лишь в том случае, если видеть в ней символ превосходящей власти.

Существовало уже множество видов техники, и везде, где может идти речь о подлинном господстве, мы наблюдаем совершенное проникновение в смысл находящихся в распоряжении человека средств и их употребление сообразно их природе. Мост из лиан, который негритянское племя протягивает над потоком в окружении первобытного леса, в пространстве этого племени обладает непревзойденной завершенностью. Клешни рака, хобот слона, раковину моллюска не заменит никакой инструмент, как бы он ни был устроен. Наши средства тоже соразмерны нам, причем в каждый момент, а не только в ближайшем или отдаленном будущем. Они будут послушными орудиями разрушения, пока дух помышляет о разрушении, и они будут созидать тогда, когда дух решится возводить великие строения. Однако нужно понять, что дело тут не в духе и не в средствах. Мы находимся на поле боя, который не может быть прекращен по чьему-либо желанию, но имеет свои четко очерченные цели.

Если же теперь мы пытаемся представить себе ситуацию, отличающуюся безопасностью и постоянством жизни, ситуацию, которая хотя и была бы теоретически возможна в любой момент и ее хотело бы уже сегодня достичь всякое плоское устремление, но которая, конечно же, для нас еще не доступна, то это делается не ради того, чтобы увеличить число утопий, в которых нет недостатка. Скорее, мы делаем это потому, что нам нужны строгие руководящие

указания. Жертвы, которые требуются от нас, хотим мы того или не хотим, велики, — необходимо еще, чтобы мы согласились пойти на такие жертвы. Среди нас оживает склонность презирать «разум и науку» — это ложное возвращение к природе. Дело состоит не в том, чтобы презирать рассудок, а в том, чтобы подчинить его себе. Техника и природа не противоположны друг другу, если они так воспринимаются, то это первый признак того, что с жизнью происходит что-то неладное. Человек, который стремится извинить собственную несостоятельность, ссылаясь на неодушевленность своих средств, уподобляется той сороконожке из басни, которая обречена на неподвижность, занявшись пересчетом своих ножек.

На земле еще есть далекие долины и красочные рифы, где не раздаются гудки фабрик и пароходов, еще есть потаенные уголки, ждущие романтических бездельников. Еще существуют островки духа и вкуса, окруженные изысканными ценностями, еще существуют молы и волнорезы веры, к которым человек «может причалить с миром». Нам ведомы нежные наслаждения и приключения сердца, нам ведом и обещающий счастье звук колоколов. Все это пространства, ценность и даже возможность которых подтверждается нашим опытом. Но мы пребываем в рамках эксперимента; мы совершаем вещи, не основанные ни на каком опыте. Сыны, внуки и правнуки безбожников, для которых подозрительным стало даже сомнение, мы проходим маршем посреди ландшафтов, угрожающих жизни слишком высокими и слишком низкими температурами. Чем больше усталость единичных людей и масс, тем выше ответствен-

ность, данная лишь немногим. Выхода нет, нет пути ни вперед, ни назад; остается увеличивать мощь и скорость процессов, которыми мы захвачены. И как отрадно предчувствовать, что за динамическими излишествами эпохи скрывается некий неподвижный центр.

## ИСКУССТВО КАК ОФОРМЛЕНИЕ МИРА РАБОТЫ

58

Два последних поколения сделали предметом своего пристального внимания наше отношение к ценности. Если верить многообразным и тщательным описям нашего состояния, выполненным за это время, то вряд ли можно высоко ставить наш исторический ранг. Критика времени стала более острой и едкой, и нельзя утверждать, что мы воспитаны в духе завышенной оценки наших достижений.

Скорее, мы склонны приписывать критике ранг, который вызывает сомнения. У нее тоже существуют границы, и нет такой критики, которая была бы способна выделиться из общей картины своего времени и выносить суждения словно из высшей инстанции. Там, где это все-таки имеет место, можно определить, на основании каких достоверностей, каких критериев формируется само суждение.

Естественно предположить, что эти критерии пытаются получить в результате сравнения. Действительно, используемый метод таков, что историческая критика пытается соорудить себе фундамент из результатов каких-нибудь исторических событий и, опираясь на него, приступить к настоящему. Этот метод кажется очевидным; и все-таки он исходит из предпосылки, что существует непрерывное единство времен, то есть связь того определенного прошлого с этим определенным настоящим, ибо иначе немислимо и единство критерия.

Однако нужно знать, что те безжалостные оценки, которым подвергается это время и которые подтвер-

ждаются множеством деталей, являются правильными и неправильными одновременно. Зависит это от того, что единое подразделение времени на прошлое, настоящее и будущее применимо, пожалуй, только к астрономическому времени, но никак не ко времени жизни или судьбы. Существует *одно* астрономическое время, а наряду с ним — многообразие времен жизни, ритм которых подобен колебаниям маятников бесчисленного множества расположенных друг подле друга часов.

Подобно этому существует не *одно* время, а множество времен, затребующих себе человека. Этим можно объяснить тот факт, что какое-либо поколение в одно и то же время бывает и старше, и моложе поколения своих отцов, то есть, что оно принадлежит двум разным временам. Очень большую роль играет взгляд, которым люди способны посмотреть на время. Мы стоим на нем как на ковре и видим, что старые узоры покрывают его до самых краев. Или же мы видим, что нити складываются на ткани в совсем новые и совсем иные фигуры. И то и другое верно, поэтому может случиться, что одно и то же явление символизирует как конец, так и начало. В сфере смерти все становится символом смерти, а с другой стороны, смерть — это пища, которой живет жизнь.

Поэтому если критика времени констатирует совершенный упадок, иллюстрируя его символами, то не стоит оспаривать у нее эту констатацию. Однако это суждение может претендовать на значимость лишь для того времени, которому принадлежит сама критика. Ее задача — изобразить ужасный процесс умирания, свидетелями которого мы являемся. Эта

смерть затрагивает бюргерский мир и ценности, которыми он распоряжался. Она выходит за пределы бюргерского мира постольку, поскольку сам бюргер есть не что иное, как наследие и только наследие, так что после его гибели обнаруживается исчезновение одной очень старой доли наследства. Глубокий надрез, ставший в наше время угрозой для жизни, не только отделяет два поколения, два века, но и предвещает конец тысячелетней системы отношений.

Нет сомнения в том, что настоящее не может быть продуктивным в духе старых символов. Но можно усомниться, стоит ли вообще этого желать. Старые символы суть отражения силы, прообраз, гештальт которой иссяк. Они суть не что иное, как критерии, определяющие ранг, которого в принципе способна достичь жизнь. Тем не менее во всех областях жизни нам встречаются такие усилия, которые, руководствуясь не рангом, а качеством, ориентируются на отображения и остаются непричастны к прообразу. Эта музейная деятельность знаменательна для нашего времени; великие и таинственные изменения покрываются ею, словно вуалью. Она отягощает свинцовым грузом всякое достижение, и маска поддельной свободы все меньше способна утаить тот факт, что здесь отсутствует предпосылка всякой свободы, а именно, подлинные, первичные узы и, следовательно, ответственность. Критика, пробующая тут свою остроту, выбрала для себя слишком легкую игру, однако можно спросить, позволительно ли на этой игре замыкаться.

Более, чем сравнение с образами исчезнувших времен и пространств, важен для нас вопрос, не

находимся ли мы в новом, особом первичном отношении, действительность которого еще не отразилась на уровне явлений. Вопрос в том, не владеем ли мы той свободой, употреблению которой еще только предстоит научиться и которая при всем том, так сказать, просто лежит у нас под ногами. Здесь критика умолкает, ибо полагаться приходится на интуиции иного рода.

## 59

Мы живем в мире, который, с одной стороны, во всем подобен мастерской, а с другой — музею. Разница между притязаниями, которые предъявляются в обоих этих ландшафтах, состоит в том, что никто не принуждает видеть в мастерской больше, чем мастерскую, тогда как в ландшафте музея господствует назидательная атмосфера, принимающая гротескные формы. Мы пришли к своего рода историческому фетишизму, который находится в непосредственной связи с недостатком производительной силы. Поэтому утешительно думать, что вследствие какого-то тайного соответствия развитие грандиозных средств разрушения идет в ногу с накоплением и сохранением так называемых культурных богатств.

Желание приобщиться к этим богатствам, отличающееся сочувствующим и эпигонским отношением к ним, то есть все ведомство искусства, культуры и образования, приобрело такой размах, что стала очевидной необходимость освободиться от лишнего груза, хотя это и едва ли может быть выполнено с достаточной тщательностью и в достаточном объеме. Происходит еще не самое худшее, когда возле каждой



сброшенной раковины улитки, которую на своей спине прежде носила жизнь, собирается круг знатоков, коллекционеров, хранителей и просто любопытствующих людей. В конце концов, так было всегда, хотя и в более скромных масштабах.

Гораздо большее беспокойство вселяет то, что эта суэта породила целый набор стереотипных оценок, за которыми скрывается полное омертвление. Здесь ведется игра с тенями вещей и рекламируется понятие культуры, чуждое какой бы то ни было первоизданной силе. Происходит это в то время, когда стихийное вновь мощно вторгается в жизненное пространство и предъявляет человеку свои недвусмысленные требования. Предпринимаются усилия привлечь новые поколения администраторов и чиновников министерства культуры, воспитать странное чувство «истинного величия» народа, тогда как государству предстоит решать более истонные и насущные задачи, чем когда бы то ни было раньше. Как бы далеко мы ни уходили в прошлое, едва ли можно будет встретить столь неприятную смесь пошлости и надменности, как та, что стала обычной в официальных обращениях с их неизбежной апелляцией к немецкой культуре. По сравнению с этим то, что наши отцы говорили о прогрессе, кажется подлинным золотом.

Возникает вопрос, каким образом в то время, когда происходят и еще предстоят события столь небывалой важности, вообще стала возможна подобная смесь из жиденького идеализма и густо заваренной романтики. Тот ответ, что нам не остается ничего лучшего, хотя и будет наивным, но попадет в самую точку. Музейная деятельность представляет собой не что иное, как один из последних оазисов бюргерской

безопасности. Она обеспечивает якобы самую доступную лазейку, в которую можно ускользнуть от принятия политических решений. Эта деятельность очень хорошо характеризует немца в глазах остального мира. Когда стало известно, что в 1919 году в Веймаре «рабочие представители» носили с собой в ранцах своего «Фауста», можно было предсказать, что бюргерский мир на какое-то время окажется спасен. Прimitивная культурная пропаганда, развернутая Германией в ходе войны, после ее окончания приняла систематическую форму, и едва ли можно найти почтовую марку или банкноту, на которой нам не встретилось бы что-нибудь в этом роде. Все эти вещи послужили поводом для упрека в коварстве, который нам предъявили, к сожалению, незаслуженно. Однако речь здесь идет не о коварстве, а об отсутствии у бюргера инстинкта в его отношении к ценностям.

Речь идет о своего рода опиуме, который приглушает чувство опасности и вызывает обманчивое ощущение порядка. Но эта роскошь нетерпима в ситуации, когда важно не говорить о традиции, а творить ее. Мы живем в тот период истории, когда все зависит от предельной мобилизации и концентрации находящихся в нашем распоряжении сил. У наших отцов, наверное, еще было время заниматься идеалами объективной науки и искусства, существующего ради себя самого. Мы же, напротив, занимаем вполне однозначное положение, когда дело состоит не в той или иной частности, а в тотальности нашей жизни.

В силу этого возникает потребность в тотальной мобилизации, которая перед каждым явлением личного и материального порядка должна со всей грубостью ставить вопрос о его необходимости. Государ-

ство же в течение этих послевоенных лет, напротив, занималось вещами, не только излишними, но и вредными для жизни, испытывающей постоянную угрозу, и пренебрегало всем тем, что является для существования первостепенным. Образ государства, который сегодня складывается у нас, должен быть ближе не к пассажирскому или торговому пароходу, а, скорее, к военному кораблю, где господствует простота и экономия, и где каждое движение совершается с инстинктивной уверенностью.

Что должно внушить уважение иностранцу, посетившему Германию, — так это отнюдь не сохранившиеся фасады прошедших эпох, не торжественные речи на столетних юбилеях классиков и не те заботы, которые становятся темой романов и театральных пьес; напротив, это будут добродетели бедности, работы и храбрости, в которых сегодня виден знак намного более глубокой образованности, чем та, о которой позволяет мечтать ее бюргерский идеал.

Разве не известно, что вся наша так называемая культура не в силах даже самому крошечному пограничному государству воспрепятствовать в нарушении своей территориальной целостности — и что, напротив, крайне важно, чтобы мир знал, что в обороне страны будут участвовать даже дети, женщины и старики, и что так же как единичный человек отказался бы от прелестей своего частного существования, так и правительство, если того потребует оборона, не замедлит в тот же час продать с молотка все сокровища художественных музеев тому, кто предложит наибольшую сумму?

Правда, подобные проявления высшей, а именно, *живой* формы традиции предполагают также и чувство

высшей ответственности, чувство, для которого ясно, что теперь приходится держать ответ не перед какими-то отображениями, а непосредственно перед той первобытной силой, которая эти отображения порождает. Впрочем, для этого требуется подлинное величие иного рода. Но будем уверены в одном: если среди нас сегодня обретается еще подлинное величие, если где-то скрывается поэт, художник или человек веры, то мы распознаем его по тому, что он ощущает здесь свою ответственность и стремится исполнить свою службу.

Не нужно обладать пророческим даром, чтобы предсказать, что мы стоим не в начале Золотого века, а накануне больших и нелегких перемен. Никакой оптимизм не может обмануть нас в том, что масштабные столкновения никогда еще не были столь частыми и серьезными. Важно быть на высоте этих конфликтов, сплываясь в неколебимые порядки.

Но наше состояние — это состояние анархии, которая скрывается за завесой утративших свое значение ценностей. Состояние это необходимо, поскольку оно обеспечивает распад старых порядков, ударная сила которых оказалась недостаточной. Зато глубинная сила народа, эта готовая к зачатию материнская почва государства, непредвиденным образом оправдала себя.

Уже сегодня мы вправе сказать, что истощение сил, в сущности, преодолено, — что у нас есть юношество, которому известна его ответственность и ядро которого осталось для анархии неприступным. Невозможно помыслить, чтобы Германия когда-либо испытывала недостаток в добротной дружине. Как благодарно это юношество за каждую жертву, на которую

его считают способным. Но дело состоит в том, чтобы придать этому столь податливому и восприимчивому природному материалу форму, которая соответствовала бы его существу. Такова задача, которая предъявляет самые высокие, самые серьезные требования к продуктивной силе.

И на что годятся умы, которые даже не знают еще, что никакой дух не может превзойти по глубине и мудрости дух любого солдата, павшего где-то на Сомме или во Фландрии?

Таков тот критерий, в котором мы нуждаемся.

## 60

Если мы поняли, что именно сегодня необходимо — стремиться к торжеству и утверждению, а если потребуется, то и приготовиться к решительной гибели среди этого крайне опасного мира, то нам становятся ясны те задачи, которым должно быть подчинено всякое производство, как самое высокое, так и самое простое. В остальном, чем более киническим, более спартанским, прусским или большевистским окажется наш образ жизни, тем будет лучше. Масштабом служит образ жизни рабочего. Важно не улучшить этот образ жизни, а придать ему высший, решающий смысл.

Столь же отрадной картиной, как и вид вольных кочевых племен, чья одежда состоит из лохмотьев и чье единственное богатство составляют лошади и драгоценное оружие, было бы и зрелище того, как мощный и дорогостоящий арсенал цивилизации обслуживается и контролируется персоналом, живущим в мо-

нашеской или солдатской бедности. Такое зрелище радует глаз мужчины и повторяется всякий раз, когда для достижения великих целей предстоит приложить немалые усилия. Явления, подобные немецкому рыцарскому ордену, прусской армии, Societas Jesu,\* являются образцами, и следует помнить, что солдатам, священникам, ученым и художникам от природы свойственно иметь отношение к бедности. Это отношение не только возможно, но даже вполне естественно посреди мастерового ландшафта, в котором гештальт рабочего мобилизует мир. Нам очень хорошо знакомо счастье, состоящее в том, чтобы быть включенным в состав организаций, применяющих технику, которая проникает каждому в его плоть и кровь.

Перед нами раскрывается новый порядок обширных жизненных образований, охватывающий не только культуру, но и предпосылку самой культуры. Этот новый порядок требует интеграции всех отдельных областей, которые абстрактный дух все сильнее изолировал друг от друга и лишал взаимосвязи. Нас окружают состояния, обусловленные специализацией, однако дело даже не в том, чтобы устранить эту специализацию. Дело, скорее, в том, чтобы во всяком специальном усилии увидеть момент тотального усилия, чтобы постичь обманчивый характер всякого стремления, пытающегося ускользнуть от этого процесса. Это тотальное усилие есть не что иное, как работа в высшем смысле, то есть репрезентация гештальта рабочего. Только когда этот взгляд получит признание, только когда работа будет возведена в

---

\* Общество Иисуса (т. е. Орден иезуитов) (лат.).

универсальный метафизический ранг и это обстоятельство отразится в государственной действительности, можно будет вести речь об эпохе рабочего. Только при этом условии будет определен и тот ранг, который может быть отведен музейным занятиям, то есть деятельности, которую ныне бюргер подводит под рубрику искусства.

Репрезентация гештальта рабочего с необходимостью ведет к принятию решений планетарно-имперского размаха. Здесь, как в случае любого подлинного господства, может идти речь не только об управлении пространством, но и об управлении временем. В тот самый миг, когда мы придем к осознанию нашей собственной, черпающей из новых источников продуктивной силы, станет возможен полный переворот во взгляде на историю, а также в оценке и использовании исторических достижений.

Сюда относится чувство превосходства и сознание собственной оригинальности, разумеется, недоступное бюргеру, который лишен даже уверенности в себе и только стремится к ней, а потому оказывается неуверенным и в своих суждениях. Такова та причина, по которой он, будучи беспомощным и не умея занять собственную позицию, отступает перед демонией всякого исторического явления, и в силу которой он склонен уступать власть над собой всякой исторической величине, служащей в данный момент предметом его рассмотрения. Поэтому его и можно сломить первой попавшейся цитатой. Надлежит, однако, знать, что историю пишет победитель и он же определяет свою родословную. Поскольку, как мы видели, рабочий как тип обладает качеством расы, от него следует ожидать той однозначности взгляда, которая

принадлежит к признакам расы и является предпосылкой всякой верной оценки — наперекор скопищу гурманов, наслаждающихся калейдоскопической множественностью культур.

Мы должны понять, что там, где мы сильны, нам требуется не столько критика времени, сколько критика времен, строгое и раздельное упорядочение исторического фона. Во все времена этот порядок составляет естественное право живого человека. В наше время его осуществление представляет собой одну из задач специального характера работы, который призван не намечать решающие перспективы, а реализовать их.

## 61

Только сильное самосознание, воплощенное в молодом и беспощадном руководстве, способно с необходимой точностью произвести надрез, достаточно глубокий для того, чтобы освободить нас от старой пуповины. Чем менее образован в привычном смысле слова этот слой вождей, тем лучше. К сожалению, эпоха всеобщего образования лишила нас могучего резерва безграмотных, — точно так же сегодня можно без труда слышать, как тысячи сведущих людей рассуждают о церкви, тогда как поиски прежних святых, удалявшихся в пещеры и леса, оказываются напрасными.

Мы возлагаем нашу надежду на новое отношение к стихийным силам, которое свойственно рабочему. Время позаботится о том, чтобы он все больше и больше познавал это отношение и видел в нем подлинный источник своей силы. Подобно тому как он



должен опасаться давать своим участием новую подпитку политическим системам либерализма, в его интересах не принимать участия и в том, что сегодня понимается под искусством. Правда, опасность окажется не такой уж большой, если проанализировать те усилия, которые были ему адресованы. По существу, они сводятся к стараниям особого слоя художников перенести старые рецепты на своеобразное мировоззренческое искусство, признак которого состоит в том, что субстанция заменяется тем или иным настроением. Это обычная уловка любой бездарности, подкрепляемая широко распространенным предрассудком, будто о всяком более или менее значительном перевороте должно быть объявлено в искусстве и, в первую очередь, в литературе.

Однако такое оглашение было бы столь же бессмысленно накануне изменений первостепенной важности, одно из которых нам предстоит испытать, как, например, и накануне великого переселения народов. Ведь оно как раз предполагало бы известную преемственность артистической среды и тем самым пространство взаимопонимания, наличие которого мы вынуждены отрицать. Конечно, такая преемственность существует там, где появляется всего лишь новое сословие и где движение происходит в рамках социальной постановки вопросов, — но не там, где готовится извержение стихийной силы. Здесь выступают на сцену иные способы разрушения и иные возможности роста. Искусство здесь — не средство, а объект изменения. Подобно тому как победитель пишет историю, то есть творит для себя свой миф, он определяет и то, что должно считаться искусством. Однако все это заботы, которые можно отложить на более

позднее время. В любом случае можно предвидеть, что не только целые категории художественного производства утратят свое значение, но и, с другой стороны, что это производство подчинит себе области, о которых сегодня не отваживаются даже мечтать.

Речь здесь идет уже не о смене стиля, а о проявлении иного гештальта. Пессимизм в отношении культуры, конечно же, прав в том, что возможности определенного жизненного пространства исчерпаны до предела. Это необходимо сознавать, поскольку то, становление чего уже завершилось, должно быть как бы объективировано, отделено разделительной чертой, за которой его можно рассматривать холодным взглядом. Как уже было сказано, в этом состоит задача управления, причем такого управления, которое находится под надзором. Напротив, то, что сегодня еще остается текучим, предназначено для вмешательства со стороны других форм.

Чтобы получить теперь представление о возможности таких форм, необходимо окинуть взглядом положение дел в целом.

В соответствии с последовательной сменой универсальных состояний абсолютным государством и бюргерской демократией, что исторически представлено появлением личности, а затем индивида, можно проследить, как абсолютизируется и обобщается искусство, — обобщается в той мере, в какой существует непосредственная связь между индивидуальным и всеобщим, как находящейся в его распоряжении средой.

В ходе этого процесса производство обретает большую свободу, если, конечно, мы признаём, что свобода тождественна автономии. На языке христианства

это были бы ступени прогрессирующей секуляризации, — между тем этот язык для нас не имеет значения, так как свою задачу мы усматриваем именно в дистанцировании от общего положения вещей, независимо от того, секуляризировано оно или нет. Вера рабочего не является более слабой, она является иной, и потому здесь это различие представляет собой исключительно музейную ценность. Оно указывает на соотношения величин, а не на степень родства. Бюргер, разумеется, еще находится в рамках процесса, который и завершается им; в то же время закат индивида возвещает о последнем всплохе христианской души. Именно это придает завершению процесса его подлинный смысл. Мы же должны понять, что между гешталтом рабочего и христианской душой общего не больше, чем между этой душой и античными изображениями богов.

Растущее расслоение искусства по необходимости должно было породить воззрение, согласно которому художественная манифестация существенным образом принадлежит к свидетельствам индивида. Это воззрение достигло своего пика в культе гения, собственном XIX веку. История искусства выступает здесь прежде всего как история личности, а само творение — как автобиографический документ.

Соответственно на передний план выступают те роды искусства, в которых особое внимание уделяется индивидуальному вкладу, и все эти роды, какому бы органу чувств они не адресовались, все больше погружаются в специфически литературную стихию, в своеобразную оживленность острого ума, родственную, скорее, темпераменту, нежели характеру. Этим объясняется, почему скульптура, которая сильнее

всего сопротивляется оживленной работе духа, вынуждена отступить на задний план. Самоочевидность, логика материала здесь настолько сильны, что какой-либо изъян субстанции невозможно скрыть никакими духовными средствами, к примеру, средствами перспективы, но, напротив, он с неумолимой отчетливостью сразу же станет заметен даже наивному глазу. Точно так же обстоит дело и с архитектурой, которая, в общем-то, едва ли даже числится еще среди родов искусства, хотя в иные времена, как, например, во времена строительства кафедральных соборов, она была госпожой и матерью всех прочих искусств и определяла их статус. Конечно, в составленном из индивидов обществе скульптура и зодчество оказываются не на своем месте; напротив, среди изобразительных искусств они находятся в столь же строгом и внутреннем отношении к государству, как драма — среди словесных искусств.

По мере того как творческий индивид обретает большую суверенность, то есть становится носителем действительности, с математической непреклонностью сужается пространство, в котором может развертываться и получать объективное подтверждение его продуктивность. В той степени, в какой прекращается господство над пространством, становится необходимым ускорение движения.

От зачарованных блужданий еще только пробуждающегося сознания по кругам ада и рая до «спокойной стремнины», влекущей с небес через весь мир к аду — какова же мера этого ускорения! Но мы пережили крушение «Пьяного корабля», который мчится «вдоль луча света череды светил» словно вдоль некой стены. Мы на себе испытали, что одной только сво-

боды недостаточно и что страх есть та тайна, которая скрывается в скорости. Мы видели движения искусства, подобные движениям медведя, которого заставляют танцевать на листах раскаленного железа, — короче говоря, мы видели упадок индивида и наследуемых им ценностей не только на полях сражений, не только в политике, но и в искусстве. Та бесконечность, которая будто бы находилась в распоряжении у индивида, оказалась по своей природе бесконечностью калейдоскопа. Мы знаем, что его доля наследства истрачена и что не только вступать в сношения с ним, но и оглядываться на него стало бессмысленным.

Однако такое знание бесполезно, если не извлечь из него выводов. Вместо того чтобы в тысячный раз и по необходимости все более негодными способами складывать из атомов старые фигуры, стоит посмотреть, не скрывает ли в себе новые силы и средства какое-то иное пространство. Нет ничего более естественного, ибо нигде, ни в механическом, ни в органическом мире, ни в природе, ни в истории не наблюдается такой силы, которая рассеивалась бы, не получив замены.

На самом деле такое пространство существует; оно определяется гешталтом рабочего. Этот гештальт имеет то же происхождение, что и все великие явления, и к нему человека отсылает тот факт, что этот гештальт как раз готовится вступить в историю. Помимо того, что от него можно ожидать свидетельств такого же ранга, что и все великие исторические достижения, нет никакого другого пространства, с которым можно было бы связать нашу надежду, кроме его собственного. Как для всех прочих достижений,

это имеет силу и для достижений искусства. Искусство есть один из способов, каким гештальт постигается как великий творческий принцип. То обстоятельство, что это невозможно сделать средствами современной индивидуалистической артистичности, — повод не к утрате надежды, а напротив, — к удвоенному вниманию.

## 62

Очевидно, что искусство, которое должно репрезентировать гештальт рабочего, нам следует искать в тесной связи с работой. Занятость и досуг, серьезность и веселье, будни и праздники не могут, таким образом, быть здесь противоположностями, или же, по крайней мере, они являются противоположностями второго ранга, охватываемыми единым чувством жизни. Это, конечно же, предполагает, что слово «работа» вводится в высшую сферу, где оно не вступает в противоречие ни с ценностями героизма, ни с ценностями веры. Доказать, что это возможно и что, следовательно, значение рабочего намного превосходит значение какой-нибудь экономической или социальной величины, — в этом состоит задача, которую ставит перед собой наше исследование.

Теперь возникает вопрос, как можно представить себе переход к значимым творческим свершениям, которые бы удовлетворяли самым строгим традиционным требованиям. Можно ответить, что решающий момент для этого еще не наступил, хотя, даже если отвлечься от пророчеств, уже можно заметить некоторые тенденции. В первую очередь нужно констатировать, что предпосылки для разрушения имеются в

изобилии, с одной стороны, благодаря распаду индивида и его ценностей, а с другой — благодаря проникновению техники как в традиционное, так и в романтическое пространство, и продолжают каждый день довершать нивелировку, кажущуюся ужасной лишь тому сознанию, которое усматривает в ней свой конец.

Кроме того, мы вступили в мастерской ландшафт, требующий жертвенности и скромности от того поколения, которое расходует в нем свои силы. Стало быть, нужно видеть, что возникающим здесь формам не присуща и не может быть присуща никакая твердая и стабильная мера, ибо работа ведется пока лишь над созданием средств и инструментов, но не форм. Мы находимся в центре сражения и должны принимать меры, направленные на достижение господства, то есть на создание иерархии, законы которой еще только должны быть разработаны. Это состояние предполагает простые и ограниченные действия, в ходе которых ценность средств должна соответствовать той мере, в какой они годятся для борьбы в самом широком смысле этого слова.

При ускоренном совершенствовании средств ход этого процесса требует все более плотного слияния органических и механических сил, — слияния, определенного нами как органическая конструкция. Это слияние придает новые очертания образу жизни единичного человека, а равно и определяет природу тех перемен, которыми охвачены государства. В современном состоянии оно пока еще встречает сопротивление, которое подлежит устранению и возникает оттого, что единичный человек все еще понимает себя как индивида, а государство — как национальное

государство, образованное по образцу индивидуальности. Однако, поскольку единичный человек есть человек рабочий и действует в пространстве рабочих величин, ни о каком противоречии между ним и его средствами не может быть и речи. Революционные средства становятся здесь легитимными, и одной из характеристик новых порядков является то, что эти средства удается однозначным образом поставить себе на службу. Это, конечно же, предполагает, что как с человеком, так и с его средствами произошли определенные изменения, которые мы уже рассматривали в деталях и которые непрерывно продолжают происходить. Их общий источник — гештальт рабочего.

Одним из признаков вхождения в органическую конструкцию является то обстоятельство, что одновременно с крушением старых порядков начинает открываться как необходимость, так и возможность выдвижения масштабных планов. Их зарождение и исполнение характеризуют ту фазу, в которую мы уже готовы вступить. Пока эти планы ограничены еще рамками старых национальных государств, хотя о последних уже можно говорить как о рабочих величинах, в которых требуется создавать предпосылки для более широких взаимосвязей. Пока еще эти планы относятся к транспортным средствам, экономике, средствам производства и войне, то есть к тем областям, которые подчинены вооружению. И все-таки тут уже совершается один очень значительный шаг; становится очевидной воля к оформлению, которая пытается схватить жизнь в ее тотальности и наделить какой-то формой. Под прикрытием самых разнообразных идеологий жизненные единства готовятся к смелому, централизованному и развернутому наступ-



лению, в рамках которого может вновь обрести свой смысл необходимость и потребность в жертве. В ходе этих мероприятий, за которыми скрывается гештальт рабочего и которые, пусть еще неосознанно, сообразуются с этим гешталтом, обнаружится, что подобающее им пространство обладает планетарным размахом. После того как решен вопрос о господстве, — а это решение готовится в различных измерениях и во многих областях мира, — речь заходит о том способе, каким должно быть оформлено это пространство. Мы не знаем, на каком эмпирическом пути будет найдено решение, поскольку охвачены конкуренцией, — однако каким бы образом и чьими бы усилиями оно ни было найдено, оно станет осуществлением гештальта рабочего.

В этой связи уже вырисовывается естественная задача, с которой должно справиться искусство, репрезентирующее гештальт рабочего. Она заключается в оформлении вполне ограниченного пространства, а именно пространства Земли, сообразно смыслу той самой жизненной власти, которая призвана овладеть этим пространством. Планы, которые будут возникать в ходе этого процесса, существенно отличаются от тех, которыми заняты мы. Ведь в мастеровом ландшафте, которым мы окружены, планирование происходит в рамках тотальной мобилизации, направленной на достижение господства, в то время как оформление уже опирается на это господство и становится возможным благодаря ему. Задача тотальной мобилизации состоит в том, чтобы превратить жизнь в энергию, как она обнаруживается в жужжании колес в хозяйственной деятельности, технике и транспортных средствах или в огне и оживленном движении на поле битвы. Таким

образом, она опирается на жизненную мощь, тогда как оформление дает выражение бытию и, следовательно, должно пользоваться не языком движения, а языком форм.

Очевидно, что воля, которая в качестве своего стихийного материала рассматривает земной шар, не может ощущать недостатка в задачах. Это задачи, которые должны сделать явной тесную связь, существующую между искусством как таковым и искусством государственного управления там, где жизнь упорядочена. Ибо та же самая власть, которую искусство государственного управления репрезентирует посредством господства, искусством как таковым обнаруживается посредством оформления. Искусство должно показать, что в высоком смысле жизнь понимается как тотальность. Поэтому оно не представляет собой некую изолированную сферу, которая обладала бы значимостью сама по себе, но, напротив, нет такой области жизни, которую нельзя было бы рассматривать в том числе и как материал для искусства.

Это становится ясно, если в качестве наиболее масштабного задания, которое стоит перед художественной волей, понимать оформление ландшафта. Планомерное оформление ландшафта принадлежит к характерным признакам всех эпох, которым было присуще несомненное и неоспоримое господство. Наиболее значительными примерами служат великие сакральные ландшафты, посвященные культу богов и культу мертвых, расположенные близ священных потоков и гор. Дошедшие до нас сказания об Атлантиде, окрестности Нила и Ганга, отвесные скалы Тибета и благословенные острова Эгейского моря закрепляют в памяти тот размах оформляющей силы, которого

была способна достигать жизнь. Город Мехико до своего разрушения был подобен жемчужине посреди озера, с берегами которого его связывали радиусы дамб, на которых располагались селения. От этих берегов вверх наподобие амфитеатра поднимались удивительные садовые ландшафты, достигавшие самой ледовой границы. Столь же удивительны были и парковые ландшафты, в которые китайские императоры превращали целые провинции. Последние и еще почти современные нам усилия подобного рода состоят в преобразовании ландшафта сообразно воле абсолютной личности, как оно дошло до нас в виде княжеских резиденций и увеселительных садов.

Если изучить описания путешественников, которые могли во всем блеске жизни созерцать Багдад, мавританские сады Гренады, Тадж-Махал, замки и озера Палермо эпохи Гогенштауфенов или императорские парки Пекина с его пятьюдесятью дворцами, то нам будет вновь и вновь встречаться то чувство, которое выражено в знаменитом «Vedere Napoli...»\* и которое наполняет человека почти мучительным ощущением радости перед лицом совершенства. Это свидетельства воли, мечтающей о создании земного рая. Поскольку такая воля исходит в своих действиях из глубокого единства всех технических, общественных и метафизических сил, постольку она и затребует для себя все чувства, так что даже сам воздух оказывается словно пронизан ее излучением. Здесь нет ничего изолированного, ничего, что могло бы рассматриваться само по себе, ничего, что было бы слишком большим или слишком

---

\* «Увидеть Неаполь (и умереть)» (ит.).

малым для того, чтобы его можно было поставить на службу.

От того, кто имеет хоть какое-то представление об этом единстве, об этом тождестве искусства и высшей, целиком заполняющей пространство жизненной мощи, не сможет ускользнуть абсурдность наших музейных занятий, выражающихся в отвлеченном созерцании картин и культурных памятников.

### 63

Великие свидетельства, чудеса света, знаки того, что земля — это место обитания высших существ, сопоставимы лишь по их рангу, но не по их своеобразию. Как для любой эпохи высокого ранга, это имеет силу и для эпохи рабочего. Чтобы составить себе представление о специфических переменах, которых следует ожидать, необходимо прежде всего увидеть, что эти перемены уже идут полным ходом, хотя безусловно нуждаются еще в новой расстановке знаков.

В самом деле, мастерской ландшафт, характеризующий наше время и обычно называемый индустриальным, уже весьма равномерно покрыл земной шар своими строениями и сооружениями, своими городами и промышленными районами. Нет уже такого региона, который не был бы оплетен сетью улиц и рельсов, кабелей и проводов, воздушных и судоходных линий. Становится все труднее решить, в какой стране и даже в какой части света возникали те картины, которые зафиксировал объектив фотоаппарата. Не может быть никакого сомнения в том, что это изменение в своей первой и только сейчас завершившейся фазе обладает разрушительным

характером также и в том смысле, что оно подрывает своеобразие природных и культурных ландшафтов и наполняет их чужеродными телами; и до нас дошло немало свидетельств, из которых явствует, что сознающие свою ответственность умы с тревогой поняли это уже в самом начале процесса. На картине этого ландшафта мы вновь обнаруживаем тот самый распад, который применительно к человеческой общности затрагивает сословия, а позднее — формы бюргерского общества, однако нам известно, что такого рода разрушения слишком глубоки и слишком основательны, чтобы их можно было остановить, и что к новым гармониям невозможно пробиться, не пройдя через это разрушение.

Между тем увеличивается число знаков, свидетельствующих о попытках погасить этот первый революционный толчок. Именно наши годы ознаменованы странным соседством разрушения и нового упорядочения технического ландшафта. Причины этого события многообразны. Несомненно, самая важная из них заключается в том, что процесс индустриализации и технизации в качестве самого первого своего орудия застал бюргерского индивида и что начальные стадии его организации были опосредованы бюргерским понятием свободы.

В силу этого на картине ландшафта должны были остаться глубокие следы той анархии, которая всюду связана с этим понятием свободы. Неизбежная конкурентная борьба за районы, богатые природными ресурсами, и скопление индивидов, образующих атомизированное общество больших городов, за невероятно короткий срок произвели перемены, результатом которых стало отравление атмосферы и

загрязнение рек. Этот процесс должен был неизбежно повлечь за собой понимание того, что изолированное экономическое существование, абстрактное мышление в рамках экономических ценностей и теорий в конечном счете не в состоянии сохранить в силе даже экономические порядки. Убежденность в этом иллюстрируют развалины сооружений во всех странах мира, в коих видны не последствия кратковременного кризиса, а завершение целого периода в истории духа.

Тот факт, что великие процессы тем не менее продолжают разворачиваться, доказывает, что речь тут идет о событии, которое выходит за рамки бюргерского мира и его ценностей. Число больших и малых катастроф определенно говорит о том, что частная сфера уже не в состоянии справиться с задачами, которые она взяла на себя. Это по необходимости должно привести к принятию мер, которые невозможно согласовать со старым понятием свободы и которые мы не можем разбирать здесь в деталях. Так, предоставление субсидий должно повлечь за собой случаи вмешательства в самостоятельность экономики и в ведение конкурентной борьбы, а пособия по безработице своим естественным результатом имеют пагубное ограничение основных прав индивида, таких, как право свободного передвижения и свободного расторжения договора.

Действительно, мы словно в силу совершенно неизбежных обстоятельств являемся свидетелями постоянно обостряющихся посягательств на индивида и его общественные формы со стороны государства. Но хотя эти посягательства пока еще исходят со стороны национального государства, образованного

по образцу индивидуальности, мы все же являемся свидетелями решительной борьбы за власть, последствия которой необозримы. Впрочем, это прогрессирующее подчинение обширных самостоятельных областей тем более удивительно, что оно происходит согласно чистой логике вещей, — что становится особенно ясно видно в государствах, где у руля стоит еще относительно невредимый слой либеральных вождей. Эта логика приводит к тому, что даже в ситуации, когда весь мир настроен пацифистски, может разразиться война. Таковы примеры революции *sans phrase*, и сеть принимаемых индивидом мер предосторожности не может ослабить целеустремленность ее затрагивающих самую суть дела начинаний.

Что для нас важно в этой связи и в этом месте, так это роль распорядителя застройки, которая все отчетливее начинает связываться с государством. Она составляет одну из предпосылок крупномасштабного оформления ландшафта, которое немислимо без вмешательства господства. Уже сегодня мы наблюдаем, как во многих местах и по разным причинам стирается различие между частными и общественными постройками. Поэтому жилищное строительство и обустройство населенных пунктов вошли в число задач, имеющих характер государственной программы. Поэтому постановка индустрии на службу тотальной мобилизации предполагает авторитарные действия по распределению, выбору и упорядочению сооружений и средств сообщения между ними, и потому же защита и музейный надзор за природными и культурными ландшафтами также относятся к тем мерам, которые надлежит принимать только в самых широких рамках.

Необходимость самого разного рода все более настоятельно требует тотальных по своему характеру решений, на которые способно лишь государство, причем, как мы увидим, государство, устроенное совершенно особым образом. Во всяком случае, можно ожидать, что картина индивидуальной и социальной анархии, которая наблюдается нами в первой фазе мастерского ландшафта, — картина, на которой конкуренция, прибыль любой ценой и беспорядочное скопление масс покрывают своими язвами всю землю, — очень скоро станет достоянием истории.

И все-таки нужно отдавать себе отчет, что следующая фаза зарождения и исполнения обширных планов в не меньшей мере имеет все тот же мастерской характер и способна только подготовить окончательные формы, но не произвести их. Но чего мы вправе от нее ожидать, так это отважного и уверенного овладения созидательной стихией. В самом деле, уже сегодня можно наблюдать, что здесь происходят важные изменения. Рассматривая аэрофотоснимки, мы вполне в состоянии определить, где новая и по-иному организованная воля начинает прочерчивать в ландшафте свои линии. В них невозможно не заметить высокую степень холодного математического расчета и определенности. Этому процессу соответствует растущее совершенство средств, — так, очевидно, что электричество более тесно связано с ним, а тем самым и с государством, нежели энергия пара.

Рамки национального государства и использование динамических по своему существу средств накладывают свои ограничения, в пределах которых формы должны быть поняты как ростки, каркасы или скелеты. Это ограничение необходимо потому, что формы



направлены на достижение господства, то есть имеют характер вооружения, но еще не являются выражением господства. Тем не менее и в этой фазе уже заметно, что под влиянием гештальта осуществляется не частичное, а тотальное изменение.

Например, это ясно обнаруживается при рассмотрении градостроительства — одной из самых значительных областей оформления ландшафта. Начинаясь рассредоточение больших масс, характерных для XIX века, позволяет предвидеть, что и места их обитания, большие города, тоже не будут безгранично разрастаться в прежнем направлении. Скорее, уже намечается новый тип поселений, где находит выражение такое чувство пространства, для которого различие между городом и деревней в той же мере утратило свое значение, в какой территориальные различия становятся все менее важными для современной стратегии и ее средств.

Если бы какому-нибудь будущему историку пришлось исследовать этот процесс, то он обнаружил бы перед собой обилие движущих мотивов. В техническом плане здесь, возможно, обнаружилась бы большая дальность действия средств сообщения и связи, в плане гигиены — растущая потребность в солнце и воздухе, а в плане стратегии — намерение вывести сосредоточенные в одном месте сооружения и стесненное население из-под концентрированного огня дальнобойных орудий. Однако в целом все эти частности суть не что иное, как причинно-следственные сцепления некоего обширного жизненного процесса или, говоря на нашем языке, специальные характеристики работы, взаимопроникновение которых «имеет место» потому, что за ними скрывается тоталь-

ный характер работы. Чем больше оформляющая воля обращается к этому целому и, стало быть, чем больше тип выступает в своей предельной возможности, а именно, как несущий непосредственную ответственность перед тотальным характером работы, тем большего единства следует ожидать в очертаниях предстоящих событий.

В тесной связи с этим находится переход от чистой конструкции к органической, от духовно-динамического планирования к постоянной форме, в которой гештальт обнаруживает себя мощнее, чем в любом движении. Органическая конструкция возможна только тогда, когда человек выступает в высшем единстве со своими средствами и когда устранен мучительный разлад, из-за которого они, по уже исследованным нами причинам, воспринимаются сегодня как революционные средства. Только в этом случае исчезнет напряжение между природой и цивилизацией, между органическим и механическим миром, и только тогда можно будет говорить об окончательном оформлении, отличающемся своеобразием и в то же время соответствующем любой исторической мерке.

Естественное пространство, с которым соотносены господство рабочего и его гештальт, обладает планетарным размахом. Это земной шар, который нарождающееся ощущение земли, — ощущение, достаточно смелое для масштабного созидания и достаточно глубокое для того, чтобы охватить всю напряженность своих органических проявлений, — постигает как некое единство. Наступление уже началось, и хотя его революционные фазы еще не завершены, нельзя все же и здесь не заметить его планетарного замысла. Техника обладает всемирно-революцион-

ным значением как средство, которым гештальт рабочего мобилизует мир; такое же значение имеет и тип, из которого этот гештальт создает для себя расу господ. Скрытое устройство всевозможных средств, вооружений и наук нацелено на овладение пространством от одного полюса до другого, и столкновения между обширными жизненными единствами все более приобретают характер мировой войны.

Нет такого пространства, такой жизни, которые могли бы быть обойдены этим процессом, который в разнообразных формах колонизации, заселения континентов, освоения пустынь и первобытных лесов, истребления коренного населения, уничтожения жизненных порядков и культов, тайного или явного разрушения социальных или национальных слоев, революционных и военных действий издавна несет на себе печать переселения варварских народов. В этом пространстве число жертв ужасающе, а ответственность велика. Но независимо от того, кто празднует триумф, а кто гибнет, и гибель, и триумф возвещают о господстве рабочего. Столкновения имеют множество значений, в то время как постановка вопроса однозначна. Хаотичная мощь восстания уже содержит в себе строгий критерий будущей легитимности.

Облик мира отмечен следами революции, он опустошен пожарами и распрями разнообразных интересов. Нам уже с давних пор неведомо единство господства, которое держало бы ответ перед высшими силами, — неведом меч власти и справедливости, который только и служит ручательством за покой деревень, великолепие дворцов и сплоченность народов. И все же тоска по нему каким-то образом жива повсюду — в грезах космополитов и в учении о сверхчеловеке, в

вере в волшебную силу экономики и в смерти, навстречу которой устремляется солдат на поле сражения.

Только в силу такого единства впервые становятся возможны те формы и символы, в которых жертва наполняется смыслом и получает законное оправдание, — аллегории вечности в гармоническом законе пространств и в монументах, которые достойно отражают натиск времени.

## 64

Единообразное оформление пространства принадлежит к характерным признакам любой империи, любого неоспоримого и несомненного господства, которое простирается до границ изведенного мира. Это утверждение имеет количественную, размерную природу, однако оно важно в той мере, в какой взгляд должен быть направлен на целое.

Искусство не есть нечто особенное, что может быть представлено по частям и воспроизведено в отдельных сферах. Как выражение мощного жизненного чувства оно подобно языку, на котором говорят, не сознавая его глубины. Удивительное мы встречаем или везде или нигде. Иными словами, оно есть свойство гештальта.

Для наблюдателя, который видит, что наше время уже содержит условия для великого господства и тем самым возможность подлинного оформления, возникает вопрос о его носителях, средствах и законах, короче, о своеобразии, о почерке, по которому узнается дух эпохи.

Чувствам, привыкшим к восприятию индивидуальных свершений и их уникального характера, труд-

но представить себе тип в той зоне, где сознание подчинено творческой силе. Его близкое отношение к числу, строгая однозначность его жизненной позиции и учреждений, похоже, далеко отделяют его мир от того мусического мира, в котором человек приобщается к «высшей знати природы». Металлические черты его физиономии, его пристрастие к математическим структурам, нехватка душевной дифференциации и, наконец, его здоровье очень мало соответствуют представлениям, которые люди составили себе о носителях творческой силы. Типичное считается формой цивилизаторских устремлений, которая отличается от природных форм тем же, чем и от форм культуры, а именно, характерной лишенностью ценностного значения.

Все это расхожие оценки критики времени в пределах полярного отношения между массой и индивидуальностью. Однако мы видели, что масса и индивидуальность суть две стороны одной и той же медали, и ни одна критика не извлечет из этого отношения больше, чем в нем содержится. В частности, эти оценки никоим образом не затрагивают тип, ибо там, где он проявляется как общность, его форма не есть форма массы, а там, где он выступает как единичный человек, — не есть форма индивида.

Отказ от индивидуальности представляется как процесс обеднения только индивиду, который узнает в нем свою смерть. Типу он дает ключ к иному миру, который превосходит традиционные мерила критики. Вообще, ошибочно думать, что типичное по своему рангу ниже, чем индивидуальное. Тот, кому захотелось бы во что бы то ни стало сравнить их между собой, всюду найдет лишь подтверждения обратному,

все равно, углубится ли он в природные или в культурные ландшафты.

Не вдаваясь в неуместные здесь подробности, мы можем констатировать, что там, где природа занята оформлением, она с гораздо большей тщательностью относится к порождению и сохранению типичных форм, нежели к различению отдельных их представителей. Все, что отдельное творение производит и потребляет в своей жизни, приходится на его долю не в силу какой-то уникальной индивидуальной предрасположенности, а в силу типической формы, которой оно наделено.

При всем невероятном многообразии форм, населяющих мир, существует строгий закон, который стремится сохранить отчетливую чеканку и нерушимое постоянство каждой из этих форм, и устойчивость его правил гораздо удивительнее тех исключений, на которые, как мы скоро увидим, не без основания направляется наше внимание.

Нет ничего более регулярного, чем расположение осей кристалла или архитектурные пропорции тех маленьких произведений искусства из известняка, рога или кремня, которыми усыпано дно морей, и не случайно было предложено использовать диаметр пчелиных сот в качестве эталонной единицы длины. Даже там, где мы рассматриваем человека как природное явление, как расу, нас ошеломляет высокая степень единообразия, неукоснительной повторяемости, которая обнаруживается как в его внешнем облике, так и в его мыслях и поступках.

Этот способ рассмотрения, конечно, находится в противоречии с тем все еще бытующим воззрением, которое стремится увидеть формообразующую спо-

способность природы не в ее устойчивых проявлениях, а как раз в ее колебаниях, вариациях и отклонениях.

Тем не менее здесь нет надобности вступать в дискуссию, ибо это воззрение, подчиняющее формообразование динамическим принципам, принадлежит истории индивида: в нем выражается тот способ, каким индивид находит в природе подтверждение самому себе и своему понятию свободы. Оно соответствует учению об экономической конкуренции, об историческом прогрессе и о суверенности творческого индивида. В учении о естественном отборе естествознание идет по следам открытия любовных переживаний индивида в бюргерском романе.

Такие перспективы обладают неопровержимой значимостью внутри индивидуалистической иерархии, однако они теряют свое значение, если мы покидаем ее точку зрения. При попытке подвести творения природы под механическое понятие эволюции мы сталкиваемся с той же самой ужасной деградацией, которую в историческом пространстве человек претерпевает благодаря наделению его абстрактным понятием свободы. Всюду в этой системе жизнь выступает как цель и намерение и нигде — как спокойное выражение самой себя. И все-таки достаточно с неведомой анатому любовью бросить один-единственный взгляд на какой-нибудь камень, зверя или растение, чтобы постичь, что каждому из этих созданий присуще непревзойденное совершенство.

Здесь угадывается основание могучих усилий природы, направленных на то, чтобы сохранить в формах пропорции и законы, угадывается ее отвращение к любого рода смещениям и нерегулярностям. Тот, кому когда-либо посчастливится встретить большое

скопление каких-либо животных, ощутит мощную демонстрацию воли к тысячекратному подтверждению одного определенного образа на «примере», носителе его признаков. Всюду в природе мы встречаем отношение между печатью и оттиском, которое в той же мере превосходит отношение между причиной и следствием, в какой, к примеру, «астрологический» характер человека несравненно значительнее, чем его чисто моральное качество.

Это ранговое соотношение обнаруживается в том, что причину и следствие можно понять только на примере запечатленной формы, тогда как эти формы существуют сами по себе, какое бы объяснение им не давали, и в какой бы перспективе их не рассматривали. Несомненно, тот взгляд, над которым думало возвыситься естественнонаучное чванство, а именно взгляд, согласно которому каждая форма обязана своим происхождением особому акту творения,<sup>1</sup> гораздо более соответствует природной действительности, чем те механические эволюционные теории, которые на целое столетие вытеснили знание о «живом развитии», понимавшее под развитием проекцию прообразов в доступное восприятию пространство.

## 65

Подобно тому как тип и законы его образования нельзя противопоставлять природному ландшафту, это очевидно и в случае культурного ландшафта.

---

<sup>1</sup> Впрочем, за учением о мутациях скрывается одно из повторных открытий чудесного, случающихся в современной науке.



Правда, необходимо видеть, насколько понятие культуры находится под влиянием представлений, свойственных индивиду; оно пропитано потом индивидуального усилия, чувством уникального переживания, значением авторства. Творческое свершение располагается на границе между «идеей» и «материей»; в титанических битвах оно отвоевывает у материи формы и производит уникальные, невоспроизводимые образы. Оно осуществляется в особом, исключительном пространстве, будь то в высоких регионах идеализма, в романтической удаленности от повседневного или в избранных зонах абстрактной художественной деятельности.<sup>1</sup>

Соответственно автор этого свершения оказывается обладателем уникальных, исключительных, часто в болезненном смысле отклоняющихся от нормы способностей, которые непосредственно придают ему высокий ранг. Этот ранг возрастает в той же мере, в какой повышается значение массы. Связано это с тем, что оба полюса индивидуального мира, полюс массы и полюс индивида, согласуются друг с другом; на одном полюсе не может произойти ничего, что не имело бы значения для другого. Чем больше становится масса, тем сильнее ощущается голод по великому одиночке, в существовании которого находит свое подтверждение и существование мельчайшей частицы массы.

Эта потребность в конечном счете вызвала к жизни одно странное явление, свидетелями которого мы являемся — изобретение искусственного гения, которому приходится при поддержке рекламных

---

<sup>1</sup> Которой, впрочем, может заниматься и «народное искусство».

средств играть роль этого значительного одиночки, как это происходит в Германии по образцам Потсдама или Веймара. Сами эти образцы также становятся предметом особого культа, смысл которого можно определить как помещение личности в индивидуальную перспективу. Этим объясняется тот потрясающий успех, которого достигла современная биографическая литература, в сущности, занимающаяся доказательством того, что не существует никаких героев, а есть всего лишь люди, то есть индивиды. Здесь обнаруживается та самая досадная смесь безмерного преувеличения и фамильярности, тот самый недостаток дистанции, какой и вообще свойствен музейному ведомству.

В противоположность этому можно констатировать, что в настоящем культурном ландшафте жизнь и оформление слишком глубоко связаны друг с другом, чтобы обладание творческой силой могло восприниматься в этом смысле как уникальное, исключительное или удивительное. Удивительное имеется здесь повсюду, а исключительное составляет часть порядка. Поэтому нет и никакого чувства культуры в ставшем для нас привычным смысле этого слова.

Подобно тому, как современное чувство природы является признаком разлада, существующего между людьми и природой, в чувстве культуры обозначается отдаление человека от творческого свершения — отдаление, которое выражается в дистанции между посетителем музея и экспонируемыми объектами. Для нас стала очень чуждой мысль, что существуют образцы, которые создаются без всякого усилия, потому что любое движение уже оказывается выражением и репрезентацией образца, — и соответственно существ-

вует такое творчество, из которого творения произрастают как травы из почвы или осаждаются по законам кристаллизации.

Однако нет ничего более самоочевидного, симметричного и — с индивидуальной точки зрения — однообразного, чем ландшафты гробниц и храмов, где простые и постоянные пропорции повторяются в торжественной монотонности монументов, ордеров, орнаментов и символов и где жизнь окружает себя определенными и однозначными образами. Такого рода места характеризуются своим замкнутым единством и компактностью, наилучшее представление о которых нам сегодня, пожалуй, еще может дать сакральная поэма.

Недостаток индивидуального своеобразия, накладывающий отпечаток на оформление ландшафта, воспроизводится в единичном человеке. Лица греческих статуй ускользают от физиогномики, подобно тому как античная драма ускользает от психологической мотивации; если сравнить их, допустим, с готической пластикой, то проясняется различие между душой и гешталтом. Это иной мир, в котором актеры появляются в масках, а боги — со звериными головами, и в котором один из признаков формообразующей силы состоит в том, чтобы в бесконечном повторении, напоминающем природные процессы, обращать символы в камень, как это происходит с листом аканта, фаллосом, лингамом, скарабеем, коброй, солнечным диском или сидящим Буддой. В таком мире чужестранец испытывает не удивление, а страх, и даже сегодня нельзя без содрогания созерцать ночной вид больших пирамид или вид одинокого храма Сегесты в сиянии сицилийского солнца.

Такому миру, замкнутому словно волшебное кольцо, явно близок также и тот тип, которым репрезентирован гештальт рабочего, и он становится ему ближе в той мере, в какой единичный человек все отчетливее выступает как тип. Несомненно, творения, автором которых выступает тип, не имеют ничего общего с традиционным понятием культуры; но, пожалуй, им присуще то несравненное единство, которое дает понять, что здесь действует нечто большее, нежели одно только сознание. Эта замкнутость подразумевает, что движения совершаются со все большей неизбежностью, под влиянием некой жестокой логики. Они также характеризуются тем, что труднее всего схватить как раз существенные изменения, и именно потому, что они происходят как нечто разумеющееся само собой. И все-таки великая борьба ведется за каждого и в каждом единичном человеке; она отражается в каждой волнующей его проблеме.

Таким образом, тип вполне может быть носителем творческого свершения. Совершенно особый ранг этого свершения состоит в том, что оно не имеет ничего общего с индивидуальными ценностями. В отказе от индивидуальности лежит ключ к пространствам, знание о которых утрачено уже с давних пор.

В этом месте следует еще раз коснуться одного возможного заблуждения, которое, впрочем, вполне должно было устранить ход предшествующего изложения: речь здесь идет не о каком-то ценностном противопоставлении единичного человека и общности, которая в консервативной диалектике выступает сегодня под видом народной, трудовой или культурной общности, а в социальной диалектике — под видом коллектива. В существенном смысле противо-

поставляются не единичный человек и общность, а тип и индивид.

Тип репрезентирует иной человеческий род, в сфере которого видоизменяется даже неизбежное напряжение, во все времена существующее между единичным человеком и общностью. Однако изменение, претерпеваемое как человеком, так и общностями людей, есть лишь выражение того высшего факта, что мир, в котором господствуют общие понятия, сменяется миром гештальта. На этом основании, а не усилиями какой-либо общности, гарантируется единство оформления, носителем которого является тип.

## 66

Наряду с другими странными ходами мысли наша эпоха породила мнение, будто подлинное свершение вполне возможно, если только ему не будут препятствовать специфические средства данной эпохи. Это особая разновидность возвращения к природе, и удивительно, что оно не происходит чаще, ведь возможность такого возвращения у индивида есть в любую секунду, при том условии, что он отказывается дискутировать о нем при электрическом свете или оповещать при помощи ротационной печатной машины.

Однако насколько святые пустыnnики убедительны уже в силу одного лишь факта своего существования, настолько же это не свойственно вымученному превосходству над своей эпохой, похожему на превосходство тех генералов, что выигрывали бы каждое свое сражение при условии, что в них применялось бы фитильное ружье.

Средства эпохи — это не препятствия, а пробные камни силы, и размах господства характеризуется степенью, в какой удается достичь единства в применении средств. Не стоит ожидать, что такая возможность придет оттуда, где еще присутствует ощущение решительной противоположности между механическим и органическим миром, в которой можно разглядеть предельно опошленную старую противоположность между телом и душой. Это ощущение есть не что иное, как выражение слабости, растерянности перед лицом крайне последовательного натиска со стороны иной, но никоим образом не чисто механической закономерности, которую и индивид, и масса должны ощущать как лишенную смысла. Кроме того, ни индивид, ни масса вообще не способны на подобающее овладение этими средствами; господство над ними пристало, скорее, жизни, которая репрезентирована в типе и его общностях. Оно является одним из признаков того, что человек стоит на высоте притязаний своего пространства и своего времени, и осуществляется в органической конструкции, в тесном и непротиворечивом слиянии жизни со средствами, которые находятся в ее распоряжении.

Бесспорно, средства отказываются служить везде, где речь идет о свершениях, которые носят индивидуальный характер и должны измеряться мерками музейных ценностей. Но заставляет задуматься тот факт, что, несмотря на это, таких свершений ныне не наблюдается, поскольку человек ведь, как и прежде, обладает инструментом всех инструментов, а именно рукой. Причина этого заключается в том, что такого рода свершения не соразмерны тем состояниям, в которые мы вступаем, и что рука, как и вообще всякий

инструмент, отказывается служить там, где ей назначено прочерчивать линии, утратившие свое значение. В наше время огромные усилия расточаются на то, чтобы производить вещи, которые нельзя произвести одним только усилием. Соответственно мы сталкиваемся с недопустимым требованием видеть некое свершение уже в самом усилии, за которым, в конце концов, скрывается стремление к обретению своеобразия любой ценой.

Напротив, мы должны увидеть, что сегодня все события имеют большее своеобразие, нежели в индивидуальном мире. Следует добавить, что нужно зорко следить за той художественной средой, которая уже непричастна старым ценностям, а лишь паразитирует на них, поскольку именно о ней идет здесь речь. За будто бы безобидным донкихотством в отношении средств скрывается стремление отвлечь дух от того более сурового и чистого пространства, где должны приниматься великие решения.

Вот почему в Германии этих художников с полной уверенностью можно встретить в тесных связях со всеми теми силами, в облике которых в завуалированном или явном виде проступает их предательский характер. К счастью, у нашего юношества возрастает чутье к подобного рода связям; начинают догадываться, что в этом пространстве уже само обращение к абстрактному духу имеет ранг государственной измены. У этой новой разновидности доминиканского рвения хватает наглости жаловаться на то, что преследования еретиков прекратились, — но немного терпения, такие преследования уже подготавливаются, и ничто не стоит у них на пути, коль скоро стало понятно, что быть еретиком у нас означает верить в

дуализм мира и его систем. Это главная ересь, которую станут выслеживать даже в наиболее материалистических и наиболее спиритуалистических, враждебных друг другу системах и по которой можно без исключения узнать все те очень различающиеся между собой силы, чей заветный идеал, окрыляемый исходом мировой войны, заключается в закате рейха. Из этого высшего конфликта проистекают все те отвращающие жизнь противоположности — власти и права, крови и духа, идеи и материи, любви и пола, человека и природы, тела и души, мирской и духовной кары, — язык которых должен быть признан иностранным. Такими противоположностями, после того как они утратили свою первоначальную прозорливость, питается сегодня бесконечный диалектический разговор, который, вырождаясь в пустую болтовню, приводит, в конце концов, к нигилизму.

Эти противоположности теряют всякое значение перед лицом гештальта; сформированное им мышление отличается тем, что умеет усматривать *universalia in re*.<sup>\*</sup> Правда, необходимо знать, что вступление в мир гештальта изменяет всю жизнь целиком, а не только ее части; и что, скажем, в случае единства власти и права речь идет не о диалектическом синтезе, а о процессе тотального характера. То же самое справедливо и для отношения, которое существует между человеком и его средствами, — уже один тот факт, что это отношение понимается как отношение противоположности, враждебности, свидетельствует о недостаточной тотальности. Это ценностное различие механического и органического мира есть один из

---

<sup>\*</sup> Общие понятия — эта сама сущность вещей (*лат.*).



признаков слабости существования, которое будет сломлено натиском жизни, ощущающей неразрывную сращенность со своими средствами с той же наивной уверенностью, с какой зверь пользуется своими органами.

А это как раз имеет место в случае типа, то есть того человеческого рода, в котором репрезентирован гештальт рабочего. Для него естественны те средства, которыми этот гештальт революционизирует мир, и тот факт, что он не противопоставляет себя им, служит одним из его отличительных свойств. Поэтому их наличие не мешает его свершениям, какой бы характер они не носили.

Эти свершения осуществляются в закрытом, таящем в себе свою собственную закономерность пространстве, и его оформление, какой бы облик оно ни принимало, нельзя мерить индивидуальными мерками. И если бы оказалось, что цель этого оформления состоит в разделении земной поверхности на шестиугольники сот или в застройке ее термитниками, — то суждение, раздающееся из другой жизненной сферы, все же не могло бы повлиять на этот процесс, подобно тому, как для зверя остается совершенно безразличным, представляется ли он человеческому взору прекрасным или безобразным. Чем отчетливее тип осознает в себе качество расы, тем увереннее он будет создавать свои формы и тем сильнее средства будут менять свой смысл, — или, скорее, тем яснее смысл их устройства будет проступать в суете мастерового ландшафта.

Пока можно констатировать, что средства вторглись во все области жизни, мобилизуя и вместе с тем разрушая их, — в том числе и в такие древние занятия,

как земледелие, путешествия по воде и суше или война. Такую же двойную роль играют они в преобразовании ландшафта, в архитектуре и в подготовке странных и грандиозных космических игр, чей истинный смысл откроется лишь тогда, когда будет исчерпана роль индивида, который не способен этот смысл выразить. Само наличие этих средств вынуждает считаться с ними, то есть им присущ высший революционный ранг, и характерные для массы и для индивида формы не в состоянии сопротивляться их наступлению ни на полях сражений, ни в экономике, ни там, где речь идет об оформлении. Однако дело не в том, чтобы сопротивляться им, а в том, чтобы пользоваться ими как естественными инструментами, данными нам для овладения миром и для его оформления. Способность к этому доказывает, что жизнь связана с единственной властью, которая сегодня может обеспечить господство, а именно с гештальтом рабочего.

Вероятно, следует еще раз указать на то, что присущий средствам революционный ранг заключается в их репрезентативном характере, а не в объеме их динамической энергии. Не существует средств самих по себе, и ни с чем не связанная механика представляет собой один из предрассудков, изобретенных абстрактным мышлением. Одновременное появление определенных средств и определенного человеческого рода зависит не от случая, а вписано в пределы высшей необходимости. Поэтому единство человека и его средств есть выражение более высокого единства.

Чтобы представить это отношение наглядно, коснемся еще раз только что упомянутой роли руки как инструмента инструментов: можно предвидеть, что

там, где человек выступит как господин, в непротиворечивой связи со своими средствами, там и рука уже не будет отказываться ему служить, как это происходит сегодня.

Правда, в таком состоянии она будет органом уже не индивидуальных, а типических форм.

## 67

В наши намерения не входит обустройство нашей позиции таким образом, чтобы оградить ее от упреков народившейся когорты адвокатов, под которыми мы понимаем особую разновидность индивида, стремящуюся обратить против форм либеральной демократии воспоминания об абсолютном государстве. На этом поле деятельности пышным цветом разрастаются парадоксы, лучшие из которых, правда, были сформулированы уже полторы сотни лет назад. Либерализм издавна содержит у себя своеобразную категорию придворных шутов, задача которых — говорить ему истины, ставшие вполне безопасными. Выработался особый церемониал, когда современный индивид, вырядившись псевдоаристократом или псевдоаббатом, под единодушные аплодисменты демонстрирует публике испытанные смертоносные выпады, исполненные по всем правилам искусства. Это игра, в ходе которой экзистенциальные величины превратились в обоюдоострые понятия. Для нас важнее движение руки, которым водитель трамвая дотрагивается до своего звонка.

Поэтому, если в нашем изложении захотят увидеть описание некоего состояния, в котором искусство

творяют машины, а мир является ареной нового вида насекомых, — то мы согласимся с этим недоразумением и воспользуемся им для того, чтобы после того как новый человеческий род уже описан нами как создатель типических творений, а иное, органически-конструктивное применение средств — как их среда, перейти к описанию закономерности, которой эти творения подчинены.

Для начала следует увидеть, что появление типических творений не имеет ничего общего с тем состоянием, в котором уже до предела стерлось мнимое различие между массой и индивидом и в котором любая продукция, которую способен произвести индивид в той или иной области, непосредственно соотносится с массой и, стало быть, выступает в качестве фабrikата.

Фабrikат не имеет ничего общего с типическими творениями, кроме свойственного ему однообразия, да и это сходство — только кажущееся. Существует большая разница между однообразием морского прибоя и однозначностью кристаллических образований. Разница между механической величиной и органической конструкцией такая же, как и разница между атомом XIX и атомом XX века. Фабrikат, который в экономической сфере может выступать, например, в качестве товара, а в сфере искусства — в качестве рисунка или языка, имеет не типическую, а всеобщую природу.

Различие между поздней ситуацией бюргерски-индивидуального мира и ситуацией мира работы заключается в том, что в первом случае творения нужно рассматривать в свете влияния общих понятий и соответственно абстрактной механики, а во втором —

как выражение тотальных отношений. Поэтому типическое творение не знает целесообразного самого по себе, прекрасного самого по себе или очевидного самого по себе. Типические творения непонятны, немыслимы и неосуществимы без точной связи с гешталтом, к которому они состоят в отношении печати и оттиска, — тогда как абстрактно-гуманистическая позиция усыпляет себя верой в то, что ее язык будто бы понятен во все времена и во всех пространствах.

Типическое творение может быть совершенно однообразным и при этом многочисленным, подобно раковинам на побережье, скарабеем в гробницах и храмовым колоннам древних городов. Тот факт, что они обладают репрезентативным характером, воплощают гештальт, четко отличает их от той бессмысленности, которая свойственна абстрактной массе. Мы уже говорили о различии между абстрактным числом и предельно точной, предельно однозначной цифрой, которую можно наблюдать в связи с появлением органической конструкции. Типическое творение может также иметь планетарную значимость, — однако это вытекает вовсе не из того, что оно опирается на космополитическое общество, рожденное грезами разума, а из того, что в нем репрезентирован весьма определенный, весьма однозначный гештальт, который располагает мощью планетарного размаха.

Его значимость обнаруживается, правда, как мы видели, с отрицательным знаком, уже в мастерском ландшафте, который следует рассматривать как переходный. Все без исключения силы обнаруживают себя вовлеченными в процесс, который подчиняет их тре-

бованиям конкурентной борьбы и повышения скорости. Сообразно этому, все великие теории имеют динамический характер, а обладание властью зависит от запасов двигательной энергии, — для легитимации, в конце концов, достаточно уже одной только воли к власти. Равным образом язык движения выражается и в повторяющихся миллионы раз символах, таких, как крыло, волны, винт или колесо. Этот процесс выливается в чистое движение обретших самостоятельность частей, то есть в анархию, или же подхватывается и расчленяется началами, имеющими статическую природу.

В плановом ландшафте, который приходит на смену чисто мастеровому и в котором действуют уже не индивиды и не те величины, что подчинены схеме индивидуального понятия свободы, черты типического творения проступают уже более отчетливо. Более обширному явлению государства, которому предстоит справиться с новыми задачами, соответствует человечество, у которого начинают формироваться расовые признаки и которое в большей мере способно к беспрекословному, однозначному и решительному служению. Этому процессу соответствует новый стиль, наделяющий творения более простым и более чистым смыслом, который высшая власть может придать им уже в силу одного лишь факта своего существования. Правда, следует отметить, что и здесь в оформлении никоим образом не выражается совершенное господство. Рабочее государство ограничено в своих притязаниях наличием единообразных форм. Угроза его существованию и усилия, с помощью которых оно может отвратить эту угрозу, являются более значительными, чем в системе национального госу-

дарства. Это связано с тем, что гештальт рабочего, начинающий вырисовываться в рабочем государстве, обладает планетарным значением и что имперский поворот происходит одновременно во многих частях мира. Это состояние отличается тем, что господство гештальта в нем еще не осуществлено, хотя уже различимо в качестве цели. С одной стороны, конкуренция здесь сдерживается плановыми порядками, тогда как, с другой стороны, она перекидывается на более значительные жизненные единства и навязывает им свой темп. Экономическая и технически-целесообразная структура сооружений в одно и то же время усугубляется высшим характером вооружения и подчиняется более важному смыслу. Этот процесс порождает образы высшего единства, которые по необходимости все же лишены полноты и узнаются по строгим, аскетическим контурам.

Вступления в мир надежных и завершенных форм нельзя ожидать раньше, чем в том или ином смысле будут приняты великие решения, а на смену однопорядковым характеристикам вооружения придет величественный характер высшего порядка. Мы вновь должны привыкнуть к мысли, что в таком мире форма является вовсе не целью усилий, а самоочевидным впечатком, который изначально присущ любому усилию.

Действительная форма не есть нечто исключительное, — в том его понимании, которое свойственно музейному мышлению, — и соответственно ставящее обращение к форме, будь то в искусстве или в политике, в зависимость от внезапного появления исключительного индивида. Напротив, она обнаруживается в повседневности и не может выступать изолирован-

но, даже если она не присуща той обиходной утвари, которая служит простолюдинам для пропитания и ведения хозяйства. Но неизменные средства, отмеченные очевидной завершенностью, должны появиться на той наиболее широкой ступени типической иерархии, которая получает свое пассивное запечатление в гештальте. От этого в большей степени зависит постоянство учреждений, обычаев и нравов, надежность экономики, понимание приказного языка и порядка, короче говоря — жизнь по закону.

На второй, активной ступени, где репрезентирован специальный характер работы, вступление в мир завершенных форм представляется как переход из планового ландшафта в такой ландшафт, где находит свое выражение более глубокая надежность, нежели та, которую способен дать один лишь процесс вооружения. Это тот самый переход, что ведет от эксперимента к опыту и, стало быть, к некоей инстинктивной методике. Подобно тому как раса представляет собой завершенный оттиск, так и инстинкт есть свойство такой жизни, которая пришла к однозначному осознанию своих возможностей. В этом пространстве следует ожидать наивысшей определенности для отдельных учреждений, наук и видов деятельности. Это тиснение, это ограничение и подчинение своим целям целесообразного самого по себе станет возможным лишь тогда, когда мы увидим производящую его печать в тотальном характере работы. Типические творения выступают здесь в виде системы отшлифованных, точных и целесообразных характеристик, благодаря которым гештальт отражается в подвижном и многообразном. Нет такой частной взаимосвязи, такой умственной или ремесленной деятельности, ко-



торая не ограничивалась и в то же время не усиливалась бы за счет того, что ее ставят себе на службу.

В рамках мира работы тип призван к высшей форме творчества, и в его действиях находит непосредственное выражение тотальный характер работы. Языку самодостаточных символов, на котором чистое существование обращается к созерцанию, принадлежит право свидетельствовать о том, что гештальт рабочего таит в себе нечто большее, чем только подвижность, что он обладает культовым значением. Рост числа таких свидетельств находится в тесной связи с искусством государственного управления, с неоспоримым и несомненным овладением временем и пространством.

Только здесь облик земли приобретает ту совершенную полноту и то богатство, в котором открывается единство господства и гештальта и которого невозможно достичь никакими намерениями.

## ПЕРЕХОД ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ К РАБОЧЕМУ ГОСУДАРСТВУ

68

Многие признаки свидетельствуют о том, что мы стоим на пороге эпохи, в которую вновь можно вести речь о действительном господстве, о порядке и подчинении, о приказе и послушании. Ни один из этих признаков не говорит более красноречиво, чем добровольная дисциплина, к которой начинает приучаться юношество, его презрение к удовольствиям, его воинственный настрой и пробуждающееся понимание безусловных мужских ценностей.

В каком бы из лагерей мы ни искали это юношество, везде будет возникать ощущение какого-то заговора, вызываемое уже одним только наличием и собранием людей определенного склада. Также повсюду, будь то в программах или в образе жизни, становится очевидным отказ от бюргерской традиции и обращение к рабочему. Этот заговор необходимым образом направлен против государства, причем не в том смысле, что предпринимается попытка провести границу между свободой и государством, а таким образом, что государство должно впитать в себя как важнейшее и всеобъемлющее средство преобразования иное понятие свободы, которая равнозначна господству и служению.

Нет недостатка в попытках обуздать этот новый смысл, свидетельствующий о том, что человек, в сущности, не может быть испорчен никаким воспитанием, и подчинить его старым системам бюргерского общества. Важнейшая из этих попыток состоит в том, чтобы постичь нарождающуюся силу в качестве партнера по переговорам и включить ее в структуру,

работающую посредством переговоров. Степень сопротивления, которое может быть оказано этим усилиям, есть доказательство того, что имеется способность и к порядкам иного рода. Подобно тому как мы не можем принять подарка от мошенника, не сделавшись его сообщниками, мы не можем принять и признание легальности со стороны некоторых властей. Это относится и к бюргерскому обществу, которое наловчилось извлекать выгоду из государства. Лик поздней демократии, на который наложили свой отпечаток предательство и бессилие, известен слишком хорошо. В этом состоянии расцвели пышным цветом все силы разложения, все отжившие, чуждые и враждебные стихии; увековечить его любой ценой является их тайной целью.

Поэтому очень важно, каким образом происходит смена мнимого бюргерского господства господством рабочего и тем самым переход от одного образа государства к другому, совершенно от него отличному. Чем более стихийным путем осуществляется эта смена, тем в большей мере она затрагивает ту сферу, где рабочий особенно силен. Чем тверже рабочий отказывается использовать в своей борьбе изобретенные бюргером понятия, порядки, правила игры и конституции, тем скорее он сможет осуществить свой собственный закон, и тем меньше будут ждать от него терпимости. Первое условие органической конструкции государства заключается в том, чтобы выжечь все те закоулки, откуда в тот момент, когда требуется наивысшая самоотдача, измена выпускает свои отряды словно из чрева троянского коня.

Было бы неверно предполагать, что борьба за господство уже вступила в свою последнюю стадию.

Скорее, можно с уверенностью предсказать, что после того как мы уже наблюдали бюргера извлекающим свою выгоду из так называемой революции, мы обнаружим его уже в роли глашатая реставрации, за которой скрывается все то же стремление к безопасности.

В то время как на общественных трибунах, уже готовых обрушиться, какие-то марионетки раскатывают либеральную фразеологию до толщины папиросной бумаги, позади них более тонкие и опытные умы готовят смену декораций. Среди новых, ошеломляюще «революционных» формулировок мы обнаружим в качестве целей внутренней политики легитимную монархию и «органическое» расчленение, равно как и достижение взаимопонимания со всеми властями, поддержание которых обеспечивает дальнейшее существование христианства и Европы, а вместе с тем и бюргерского мира. Бюргер достиг отчаяния, которое вселяет в него готовность смириться со всем, что до сих пор было предметом его неисчерпаемой иронии, — лишь бы только оставалась гарантия безопасности.

Успех подобных попыток реставрации мог бы только ускорить наступление перемен. Он создал бы себе стойкого противника и выявил бы тех, на ком лежит ответственность, в такой степени, которая сильно отличается от анонимных состояний поздней демократии, где государственная власть приписывается смутному понятию народа. А во-вторых, все лагеря, в которых остается жив новый образ государства, стремящийся сегодня выразить себя, с одной стороны, в программах революционного национализма, а с другой — революционного социализма, пришли бы к очень наглядному осознанию своего единства.

Разумеется, здесь должно исчезнуть все, что уступает романтическому или традиционалистскому влиянию, и должна быть выработана позиция, на которую не подействуют пустые слова. Скоро не останется ни одной активной политической величины, которая в своих действиях не пыталась бы обратиться к социализму или национализму,<sup>1</sup> и нужно понимать, что эта фразеология доступна всякому, кто владеет двадцатью четырьмя буквами алфавита. Этот факт приглашает к раздумьям, он указывает на то, что здесь речь идет не о принципах, которые следует «осуществить», но что за этими устремлениями скрывается динамически-нивелирующий характер, свойственный переходному ландшафту.

Свобода, которая может быть создана по принципам национализма и социализма, не субстанциальна по своей природе; это всего лишь некая предпосылка, некая мобилизующая величина, но не цель. Это обстоятельство позволяет предположить, что здесь каким-то образом замешано бюргерское понятие свободы и что речь идет об усилиях, к которым еще в значительной мере причастны и индивид, и масса.

Практика показывает, что это действительно так. Дробление общества на атомы во внутреннем плане и национальное ограничение государственного тела во внешнем относятся к само собой разумеющимся компонентам всякого либерального мировоззрения; нет такого общественного или государственного договора XIX века вплоть до Веймарской конституции или

---

<sup>1</sup> Бюргер, который после войны вовсе не хотел становиться националистом, за истекшее время с большой ловкостью примирил это слово со смыслом бюргерского понятия свободы.

Версальского мира, в котором они не занимали бы решающего положения. Эти явления принадлежат к уровню, принимаемому за рабочую основу, в той же степени, что, к примеру, и тот факт, что каждый умеет читать и писать; и нет такого порядка, идет ли речь о реставрации или о революции, в котором бы им не нашлось применения. Однако нужно видеть, что дело тут не в государственных целях, а в предпосылках для конструкции государства.

В мире работы эти принципы выступают как рабочие и мобилизационные величины, воздействие которых тем разрушительнее, чем яснее либеральная демократия осознает, что ее атакуют по ее же собственной методике. То, что в ходе этого процесса происходит нечто более важное, чем самоуничтожение демократии, доказывается тем, что в этих словах проступает новое и иное значение, в котором дают о себе знать усилия людей того склада, которые призваны к господству. Мы захвачены процессом, который задает направление всеобщим принципам и в котором «свобода от» обращается в «свободу для».

В этом контексте социализм является предпосылкой более строгого авторитарного членения, а национализм — предпосылкой постановки задач имперского ранга.

## 69

Будучи всеобщими принципами, социализм и национализм обладают, как было сказано, одновременно и довершающим, и подготовительным характером. Там, где человеческий дух считает их осуществленными, усматривается завершение эпохи, однако тут же

становится ясно, что это завершение приносит с собой новые задачи, новые опасности, новые возможности для дальнейшего марша. Все великие события нашего времени заключают в себе как конечную точку развития, так и отправную точку становления новых порядков. Это применимо и к мировой войне как наиболее крупному и определяющему из этих событий.

Мировая война, подводящая итоговую черту под XIX веком, явилась мощным подтверждением принципов, актуальных для этого столетия. После нее на земном шаре не осталось ни одной другой формы государства, кроме завуалированной или неприкрытой национальной демократии.

Результат уже потому не мог оказаться иным, что для успеха в войне было важно, в какой степени могли быть мобилизованы средства национальной демократии — парламенты, либеральная пресса, общественное мнение, гуманистический идеал. Поэтому Россия ни при каких обстоятельствах не могла выиграть войну, хотя, с внешнеполитической точки зрения, она стояла на стороне держав-победителей. Так же, как Австро-Венгрия или Турция, эта страна не имела той особой формы правления и конституции, которая была необходима в таком столкновении. Здесь имела место напряженность иного рода, которая и помешала единодушному развороту во внешнем направлении. Демократическая же совесть Франции, напротив, была чиста, о чем, наверное, лучше всего говорит тот факт, что даже в момент величайшей внешней ослабленности она смогла справиться с очень опасным военным мятежом.

В этих условиях кажется вполне логичным, что непосредственно вслед за военным конфликтом ряд

народов, и в особенности побежденных народов, предпринял попытку обрести ту свободу движения, которая свойственна национальной демократии.

Прежде всего, эти попытки сделали результат войны еще более однозначным; они приняли форму революции, найдя благоприятную почву в том чрезвычайно ослабленном состоянии, в котором оказались старые порядки после напряженной борьбы. Можно рассматривать эти революции как некое продолжение войны, равно как и война может быть истолкована как очевидное начало великой революции. Один и тот же процесс разворачивается и в международных, и во внутренних столкновениях и приводит он к одному и тому же результату. Война порождает революции, а измененное в ходе революций соотношение сил, в свою очередь, ускоряет развитие военных событий.

Даже если результат столкновения национальных государств обладает общезначимым характером, то все же он никоим образом не может закрепиться надолго. Речь здесь идет о запоздалом установлении порядка, о реализации, собственно, уже перезревшего идеала, что вытекает хотя бы из того, что этот порядок лишен не только статической устойчивости, но даже и преходящих черт устойчивого равновесия.

Хотя состояния национальной демократии достигают везде, оно в каждом отдельном случае тотчас же раскрывается как переходное состояние, которое, как, например, в России, может закончиться уже через несколько недель. Однако даже там, где это состояние кажется более долговечным, оно вызывает такие изменения, которые все отчетливее обнаруживают свой грозный смысл. Здесь выясняется, что



национальной демократии присущ чисто динамический характер, который лишен гештальта и тем самым подлинного порядка, а в отношениях между государствами проявляется анархически-индивидуалистическая стихия, свойственная всем установлениям либерализма. Здесь ощущается сильный недостаток в величинах высшего порядка, и надуманная идея сообщества государств не в силах связать между собой государства-индивиды, которые все более четко отделяются друг от друга, — а о них-то и идет здесь речь. В сущности, это сообщество государств является лишь органом тех властей, которые вполне удовлетворены формами национальной демократии, которым их уже хватило для насыщения.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы взялись описывать ту массу поводов для столкновений, которая возникла за одну ночь вследствие повсеместного распространения формы национальной демократии. Наверное, ничто так не проясняет сложившееся положение, как тот факт, что даже державы-победители пытаются приглушить логические последствия этого состояния с помощью совершенно иных принципов, нежели те, которые обеспечили им победу, — что они, стало быть, вынуждены покинуть то поле, на котором исторически были наиболее сильны.

Так, благодаря распространению национального принципа у Германии появилась возможность не только оказывать растущее влияние на те многочисленные германские меньшинства, которые до сего дня остаются в оковах устаревших государственных систем, но и вполне легально включить немецкую Австрию в немецкое государство в силу права народов на самоопределение. Теперь, и в особенности для Фран-

ции, выясняется, что разделение старой австрийской монархии в духе основных принципов Версальского мира было роковой ошибкой и что оно дало повод к мобилизации весьма нежелательных сил. В связи с этим мы наблюдаем противоречащее тенденциям времени и поддерживаемое всеми реакционными властями стремление восстановить искусственное дунайское государство, то есть связать этим часть энергии немцев. Таков характерный переход от применения всеобщих принципов — к тактической операции, обусловленной единичным случаем.

Эта роковая ошибка не является единственной, — признаки того, что исход мировой войны не был способен дать миру действительное господство, многообразны по своей природе. Экзистенциальный факт продолжительности немецкого сопротивления вынудил мир принять ряд мер, имеющих обоюдоострый характер. Так, предельное распространение принципов национальной демократии, практическое наделение всеобщими правами человека каждого, кто участвовал в великом крестовом походе гуманности против варварства, необходимо должно было привести к тому, что в сферу действия этих принципов были вовлечены также и силы, которые поначалу едва ли принимались во внимание. Будучи однажды приведены в движение, они не ограничились целью, которая была указана им, а обнаружили растущую самостоятельность.

Тут вновь можно упомянуть Россию, которой в результате превращения в национальную демократию предстояло подвергнуться более обширной мобилизации и быть призванной к более ожесточенной военной работе, но которая очень скоро дала отвод своим

адвокатам, чтобы заняться другими, малоприятными задачами. Впрочем, одним из самых крупных достижений бюргерской дипломатии навсегда останется то, что ей удалось втянуть эту империю, которая на Дальнем Востоке располагала поистине целым континентом для того, чтобы беспрепятственно и плодотворно развертывать свои силы, в игру совершенно чуждых ей интересов.

Кроме того, распространение принципов национальной демократии познакомило с новыми, действенными средствами эмансипации цветные народы. Кровь и рабочая сила, взятая взаймы у этих народов во время войны, сегодня должна быть оплачена, причем в силу тех же самых принципов, на которые ссылались раньше.

Есть большая разница, противостоим ли мы мятежным князьям, воинским кастам, горным народам и бандам разбойников или получившим образование в европейских университетах адвокатам, членам парламента, журналистам, нобелевским лауреатам и населению, у которого пробудился вкус к гуманистическим фразам и абстрактной справедливости. Кроме того, гораздо менее рискованно обмениваться выстрелами в горных долинах индийских провинций или в египетских пустынях, нежели делать ко многому обязывающие заявления на конгрессах, которые, благодаря средствам современной информационной техники, получают мировой резонанс.

То, что происходит сегодня среди цветных народов, дает повод к беспокойству, от которого избавили Германию; и это одна из тех непреднамеренных услуг, которую оказали побежденному. Движение цветных народов приняло гораздо более неприятные формы,

чем была способна вызвать какая-нибудь цепочка вооруженных восстаний. Методы «мирного проникновения» возвращаются с измененной направленностью, например, как «no-violence».\* Притязания покоренных опираются на признанные и заимствованные ими принципы; это не притязания людоедов или сжигателей вдов, а требования, совершенно привычные и понятные человеку с улицы каждого большого европейского города. Притязание на господство оказывается поэтому гораздо менее связано с боевыми кораблями и пушками, чем с переговорными методами. Но это означает, что господство в ближайшее время будет утрачено.

В этой связи следует еще сказать несколько слов о тех новых образованиях, которые, собственно, впервые возникли в силу абстрактного принципа права народов на самоопределение и которым свойственно соответствующее самосознание, по своему характеру зачастую напоминающее период несовершеннолетия. Подобно тому как можно было бы себе представить, что, если бы вновь был открыт принцип легитимности, каждому, кто находится в непосредственном имперском подчинении, была бы отведена своя территория, так же и здесь новые государства были созданы на основе народностей, о которых до сих пор было известно в лучшем случае из учебников по этнографии, но никак не по истории государств. Отсюда естественным образом вытекает, что в историческое пространство врываются чисто стихийные течения. Эта балканизация обширных областей на основании так называемых мирных договоров не только значи-

---

\* «Ненасильственные методы» (англ.).

тельно умножила число критических точек по сравнению с состоянием на 1914 год, но и приблизила их на опасное расстояние. Она породила методы повстанческого стиля, которые свидетельствуют о том, что здесь, как и в Южной Америке, на свободу вырвались не столько исторические, сколько естественноисторические величины.

Эту картину дополняет процесс занятия людьми мелкобуржуазного склада даже тех политических позиций, для которых еще совсем недавно определяющей была консервативная субстанция, обеспечивающая известное превосходство над течениями времени. В людях этого склада на уровне индивидуального темперамента отражается стремительное и зачастую взрывное изменение в настроении масс. На них отчетливо запечатлены следы их карьеры, их образования, в меньшей степени стоящего под знаком государственных, нежели общественных учреждений — партии, либеральной прессы, парламента. Это происхождение способствует прежде всего роковому перенесению методов внутренней политики на внешнюю политику — тенденции ориентироваться на мировоззрения и мнения, вместо того чтобы следовать государственному интересу. Здесь недостает имморализма, тщательного различения цели и средств, — поэтому нечего возразить на то, что в Германии проводят западную или восточную политику, но есть возражения против того, что это будто бы невозможно без примешивания каких-либо симпатий или антипатий. Страны света принадлежат к функциональным, а не к принципиальным политическим величинам, и один из признаков свободы состоит в том, что на компас можно смотреть беспристрастно.

Недостаток дистанции, свойственный этому складу людей, готовит еще некоторые сюрпризы. За рутинной их деловых регламентов скрывается как неприятная фамильярность, так и возможность принятия свирепых решений. Мы познакомились с этой породой, когда массы были утомлены и сильно нуждались в покое, и мы удивимся тому изменению, которое происходит с ней, когда те же самые массы голодны и агрессивны. Та мера, в какой сегодня ссылаются на взаимопонимание, проистекает из смутного сознания смешения языков, из анархии, которая завершает индивидуалистическую эпоху. Потребность собирать подписи по любому поводу и после каждого внутриполитического колебания есть признак приближающегося конца бюргерской политики. Это признак того, что заключены были не мирные договоры, а перемирия и что исход мировой войны не оставил за собой надежного и неуязвимого мирового порядка. Здесь становится видно, что решение носило не стратегический, а тактический характер, причем тактическим был и тот способ, которым это решение использовалось.

Таково состояние, в котором мы находимся, и ему соответствует язык, который принят теперь в общении между национальными демократиями, — язык, игровые правила которого необходимо знать, хотя, в сущности, никто в них уже не верит. Его нужно изучать по той смеси рутины, скепсиса и цинизма, которая определяет тон конференций по репарациям и разоружению.

Это атмосфера болота, очистить которую можно лишь с помощью взрыва.

## 70

Опасный и непредсказуемый разворот вовне, характерный для демократического национализма, становится более действенным благодаря нивелировке общества, достигаемой в силу другого великого принципа, к которому приходит либерализм, а именно, принципа социализма.

Социализм, по крайней мере до недавних пор, охотно ссылался на свой интернациональный характер; однако этот характер существует только в теории, как это показало весьма единообразное, совершенно недогматичное поведение масс в момент начала войны. Дальнейшее течение событий говорит о том, что это поведение не может рассматриваться как исключительный случай; оно будет, скорее, повторяться всякий раз, когда общественное мнение достигнет соответствующего состояния. Совершенно ясно, что существуют власти, которые в гораздо большей мере могут претендовать на интернациональный характер, нежели те массы, с которыми связан социализм, например, власть династии, крупного дворянства, духовенства или даже капитала.

Наши деды немало гордились тем, что кабинетные войны стали невозможны. Они не могли еще видеть оборотной стороны такого прогресса. Без сомнения, кабинетные войны отличаются от народных войн сферой большей ответственности и меньшей враждебности. Однородность структуры масс создает однородность интересов, которая не уменьшает, а увеличивает возможность конфликта. Война находит себе больше пищи, если одно из условий ее объявления составляет решение, принимаемое народом. В этом

смысле социализм выполняет мобилизационную работу, о которой не могла даже мечтать никакая диктатура и которая потому является особенно эффективной, что ведется при всеобщем согласии, при непрерывной эксплуатации бюргерского понятия свободы. Та готовность, с какой массы отдают себя в чье-либо распоряжение и позволяют маневрировать собой, останется непонятной всякому, кто за нивелирующим автоматизмом всеобщих принципов не угадывает закономерность иного рода.

С точки зрения одной лишь способности к маневрам, можно было бы представить себе приблизительную такую социальную утопию:

Единичный человек — это атом, который получает свое направление от непосредственных воздействий. Нет более никаких субстанциальных структур, которые бы на него претендовали. Последние остатки этих уз ограничиваются характером объединений, настроений и договоров. Различие между партиями фиктивно. Как человеческий материал, так и средства всех партий в сущности своей однородны; результат, к которому должно сводиться всякое столкновение между партиями, является одним и тем же. Мнимое различие между ними служит для того, чтобы сделать для единичного человека возможными смену перспективы и чувство согласия. Согласие наступает благодаря всего лишь участию, скажем, участию в голосовании, какая бы партия ни выиграла в результате. Альтернативы здесь не предоставляют возможность иного выбора, скорее, они принадлежат к способу функционирования системы.

Собственность и рабочая сила находятся под покровительством; поэтому они ограничены в своем



движении. Мораториям, субсидиям, пролонгациям, мероприятиям по выплате пособий и социальному обеспечению, с одной стороны, соответствует надзор за движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав свободного передвижения людей и товаров, контроль за наймом на работу и увольнением, с другой.

Система образования схематизируется. Школы и высшие школы выпускают людей с очень стандартным образованием. Пресса, мощные развлекательные и информационные средства, спорт и техника продолжают это образование. Существуют средства, благодаря которым миллионам глаз, миллионам ушей в один и тот же час становится доступно одно и то же событие. Здесь воспитание может даже отважиться на критику в той мере, в какой она способна выявить различие мнений, но не субстанций. Все, что является мнением, не вызывает опасений, и в то время когда каждый любит подчеркивать свою революционность, свобода действительных изменений ограничена как никогда. С каждым революционным движением все однозначнее вырисовывается лицо времени, и, в сущности, не имеет большого значения, кто именно из партнеров берется в настоящий момент за дело. В этом состоянии совершенно немыслима та степень независимости, которая находит свое выражение в грандиозных сожжениях книг, к которым прибегают азиатские деспоты. Никто из наших современных революционеров не отказывается от техники или науки и даже от кино или мельчайшего винтика, — и на это есть свои веские причины.

Все решительные приказы о мобилизации не приходят сверху, а, что намного более действенно, высту-

пают как революционная цель. Женщины отстаивают свое участие в процессе производства. Юношество требует трудовой повинности и солдатской дисциплины. Владение оружием и военная организация составляют один из признаков нового заговорщического стиля, которому причастны даже пацифисты. Занятия спортом, походы, строевая подготовка, образование в стиле народных университетов суть ответвления революционной дисциплины. Обладать автомобилем, мотоциклом, фотоаппаратом, планером — вот что наполняет мечты подрастающего поколения. Свободное время и рабочее время суть две модификации вовлеченности в одну и ту же техническую деятельность. Диковинный результат современных революций состоит в том, что число фабрик умножается и делается упор на то, чтобы работать больше, лучше и за более низкую плату. Из социалистических теоретиков и литераторов развилась особая и, впрочем, не менее скучная порода чиновников, счетоводов и государственных инженеров, и какой-нибудь социалист поколения 1900 года заметил бы к своему удивлению, что решающие аргументы оперируют уже не цифрами заработной платы, а цифрами производственных показателей. Существуют страны, где можно быть расстрелянным за производственный саботаж, как подлежит расстрелу солдат, покинувший свой пост, и где уже пятнадцать лет назад, как в осажденном городе, были введены продовольственные карточки, — и это страны, в которых социализм уже наиболее однозначным образом воплощен в жизнь.

Ввиду таких наблюдений, число которых может быть при желании увеличено, следует лишь заметить, что речь тут идет о вещах, которые в 1914 году еще

могли бы носить утопический характер, но сегодня привычны для каждого современника.

Любому взгляду, который проник в неразбериху, возникшую вследствие крушения старых порядков, должно стать очевидно, что в этом состоянии имеются все предпосылки господства. Нивелирующие принципы XIX века подготовили поле, которое должно быть возделано.

## 71

Лишь в состоянии претворенной в действительность демократии со всей отчетливостью проявляется разрушительная сила движущих принципов. Лишь здесь становится ясно, насколько бюргерский мир жил за счет зеркальных чувств и насколько сильна была его зависимость от оборонительной жестикуляции. Принципы этого мира меняют свой смысл, если у них не обнаруживается противника. Разрушение достигает своих пределов, когда оно повсюду видит перед собой уже не остатки авторитета, а только свое собственное отражение.

Тем принципом, в своем полном превосходстве над которым мог удостовериться национализм, был принцип легитимности. Это то превосходство, которое впервые нашло свое выражение в перевесе народных масс над швейцарцами, защищавшими Бастилию или Тюильри, и которое вновь и вновь обнаруживается на всех полях европейских сражений. Еще во время мировой войны недостаточная степень мобилизации была уделом всех тех держав, которые, очевидно, имели какое-то, пусть даже отдаленное, отношение к легитимизму.

Этот вид превосходства необходимым образом должен будет исчезнуть в тот самый момент, когда национальная демократия окажется единственной и универсальной формой организации народов. Этот факт проясняется по мере того, как напряжение становится все более ужасающим и исчерпывается сила народов. Возникают до сих пор неведомые формы репрессий, под которые попадает побежденный. Разрушительные действия, с которыми национализм в час своего рождения обратился против старых порядков, отныне обращаются против нации, причем против ее существования в целом, таким образом, что каждый единственный человек начинает нести ответственность за свою национальную принадлежность.

Весьма сходным образом отливающий многообразными оттенками принцип социализма обращается против общества, особым образом структурированного будь то по классовому или по сословному образцу. Так называемое классовое государство относится к сословному членению так же, как конституционная монархия относится к абсолютной. Повсюду, где социализм еще встречает этого противника, он обладает революционным преимуществом, которым и пользуется, применяя испытанные средства обороны. Он проявляет тем большую активность, чем менее противник склонен к уступкам. Так, показательно, что те немногие одаренные государственные мужи, которых дала немецкая социал-демократия, появились на сцене именно в Пруссии, в стране с цензовым избирательным правом. Также и там, где столкновение приняло чисто экономическую окраску, вполне можно было бы утверждать, что социализм процветает прежде всего по соседству с сильным капитализмом.

Ведь речь тут идет о двух ветвях одного и того же дерева.

В этом случае картина тоже значительно меняется, когда с ее поверхности исчезает противник. В чрезвычайно атомизированном обществе, где действует только один принцип, согласно которому масса равна сумме составляющих ее индивидов, социализм неизбежно занимает оставленные противником позиции, и тем самым вместо роли адвоката страждущих ему выпадает неблагодарная роль их покровителя.

Между тем мы присутствовали на странном спектакле, когда представители социализма, заступившие на государственные посты, стремились в то же время по-прежнему сплести социальную фразеологию, чтобы таким образом соединить преимущества государственного функционера с преимуществами функционера партийного. Это означает, однако, пытаться достичь невозможного, ведь *одно* преимущество — быть у власти, а совсем другое — быть подавленным ею. Есть одна позиция, где можно говорить, что следовало бы сделать, и есть другая позиция, где можно и соответствующим образом распорядиться. Нужно было достичь состояния претворенной демократии, чтобы увидеть, что эта вторая позиция является менее приятной.

Подобно тому как победоносный национализм очень скоро оказывается в окружении национальных демократов, которые противодействуют ему своими собственными методами, победоносный социализм пребывает в общественной среде, где любое притязание прибегает к социальным формулировкам. Тем самым за короткое время сглаживается действенность

и революционное преимущество социальных аргументов.

Массы становятся равнодушны, недоверчивы или впадают в своего рода досадную подвижность, ускользая тем самым от действия демократических конституций. Между партиями и, в особенности, между флангами партий, происходит оживленный обмен их представителями. В тех странах, где, как в Германии, существовали сильно разветвленные и отчасти еще связанные с корнями узы и где люди обладают надежным инстинктом в отношении приказа и послушания, где, далее, налицо был относительно высокий уровень благосостояния, дробление общества на атомы приводит к мобилизации сил, чье проникновение в политическое пространство нельзя было предусмотреть.

В движение оказываются вовлечены целые слои, которые очень трудно определить как по их происхождению, так и по их составу. Это некая смесь из сообразительных, ожесточенных, вспыльчивых людей, которые пользуются свободой собраний, слова и печати тем способом, который свойствен только им. Различия между реакцией и революцией здесь странным образом переплавляются; возникают теории, которые в отчаянии отождествляют понятия «консервативный» и «революционный». Тюрьмы наполняются людьми нового склада: бывшими офицерами, экспропрированными землевладельцами, безработными выпускниками университетов. Очень скоро здесь осваивается методика социальной аргументации, умело слабриваемая теми циничными приправами, которые поставляет озлобленность. Образуется новый язык, который как отравленными кинжалами орудует таки-

ми словами, как «народная воля», «свобода», «конституция» и «легальность».

Размывание границ, прочерченных между порядком и анархией, выражается, далее, в том, что существующие или заново образующиеся организации пользуются исчезновением действительных уз в той мере, в какой они рассчитывают на рост своей самостоятельности. Организации не принадлежат к узам субстанционального характера; напротив, как мы убедились на опыте, именно в связи с ослаблением исконных уз организации возникают как грибы после дождя. Организаторский талант есть знак духовной подвижности, которая делит действительность по мнениям, убеждениям, мировоззрениям, целям и интересам. Но там, где, как в подлинном государстве, чеканятся и подвергаются отделке действительные, более чем всего лишь духовные власти, мы сталкиваемся с порядком, которому присущ иной ранг — ранг организационной конструкции.

Организации, ставшие самостоятельными, напротив, обнаруживают стремление видеть в государстве равный себе порядок, то есть такое же объединение, организованное ради достижения некой цели. Сообразно этому, экономические и профессиональные союзы, партии и иные величины не только начинают выступать как равные партнеры по переговорам, но возникает и возможность непосредственных и не подлежащих государственному контролю отношений с зарубежными странами.

Это свидетельствует о том, что авторитет оказывается разделен, разбит на атомы, в не меньшей степени, чем тот факт, что даже сами государственные органы — высшие суды, полиция, армия — начинают

пользоваться все большей автономией. Возникают ситуации, когда, с одной стороны, древние обеты человеческой верности, такие, как военная присяга, становятся предметом изошренных дебатов в области государственного права, в то время как, с другой стороны, разыгрывается, быть может, глубочайшая трагедия нашего времени, состоящая в том, что остатки старой военной и чиновной иерархии пытаются сохранить традиционное понятие долга в рамках ставшего иллюзорным и наполненного компромиссами государства.

Наконец, приватизируются даже наиболее ярко выраженные суверенные права. Наряду с полицией возникают гражданская самооборона и организации самозащиты. В то время как со стороны космополитического духа предпринимаются попытки канонизировать измену родине, кровавая сторона жизни порождает тайное правосудие, прибегающее к бойкотам, покушениям и самосудам. Государственные знаки отличия замещаются партийными знаками; дни выборов, голосований и начала парламентских заседаний походят на мобилизационные приготовления к гражданской войне. Партии выделяют из своей среды постоянные армии, между которыми идет скрытая война за передовые посты, а полиция соответственно осваивает вооружение и тактику, в которых можно увидеть признаки перманентного осадного положения. В заглавия газет проникает необузданная пропаганда крови, беспрецедентная в немецкой истории. Наиболее же важное место в этой связи занимает тот факт, что в той мере, в какой государство оказывается неспособным к сопротивлению, для отражения внешнеполитической атаки возникает частная оборона —



оборона, которая оказывается тем более отчаянной, если собственное государство не только не легализует ее, но и объявляет вне закона. Как во время фронды шла борьба за короля против короля, так в нашем случае пограничные корпуса, добровольческие подразделения и одинокие саботажники жертвовали собой ради государства вопреки государству. Именно тут стало очевидно, что Германия еще располагает людьми того склада, на который можно рассчитывать и который способен противостоять анархии. Чудесное воскрешение старых ландскнехтов в тех отрядах, которые после четырех лет войны отправились еще в добровольный поход на Восток, оборона Силезии, средневековое избиение сепаратистов дубинками и топорами, протест против санкций посредством взрывов и крови, а также прочие акты, в которых обнаруживается безошибочность и меткость скрытого инстинкта, — все это знаки, остающиеся пробными камнями для будущих историков.

Разделение авторитета должно, в конце концов, привести к тому, что свойственными этому столетию организационными средствами будут пользоваться стихийные и в историческом смысле полностью безответственные силы. В этом отношении мы на своем опыте пережили такие события, которые считались уже невозможными в старой, просвещенной Европе, — пожары церквей и монастырей, погромы и расовые конфликты, убийства заложников, разбойничьи вылазки в населенных промышленных областях, партизанские войны, бои контрабандистов на суше и на море. Справедливую оценку этим явлениям можно будет дать лишь тогда, когда мы увидим тесную связь, существующую между ними и осуществлением

бюргерского понятия свободы. Эти события показывают, каким образом утопия бюргерской безопасности сводится к абсурду.

Наглядным примером этого положения вещей служат поразительные результаты, наблюдаемые прежде всего в Америке в связи с запрещением торговли спиртными напитками. Попытка изгнать из жизни опьянение, на первый взгляд, представляет собой совершенно очевидную меру безопасности, принятия которой начинает требовать уже ранняя социально-утопическая литература. Однако очень скоро выясняется, что пренебрежение даже царством низших стихий противоречит задачам государства. Это силы, которые необходимо обуздать, но нельзя отрицать их существование. Если же это тем не менее происходит, то в результате мы получаем обманчивую безопасность, теоретическое пространство права, в узлы которого проникают организационные образования, порожденные болотной пучиной. Всякая попытка ограничить сферу государства моральной сферой должна потерпеть неудачу, ибо государство не относится к моральным величинам. Позиции, которые государство расчищает внутри стихийного мира, тут же занимают силы иного рода. Поэтому случаи людоедства стали известны в Германии именно в тот промежуток времени, когда нападки на смертную казнь со стороны морали достигли своей высшей точки. Исполнительная власть сохраняет свой постоянный объем; меняются лишь власти, которые заявляют на нее свое притязание.

В периоды позднего социализма тоже нельзя говорить о собственно государственном состоянии; речь, скорее, идет о разложении государства по вине

бюргерского общества, которое определяет себя категориями разумного и морального. Так как речь здесь идет не о первобытных законах, а о законах абстрактного духа, всякое господство, стремящееся опереться на эти категории, оказывается мнимым господством, в сфере которого вскоре обнаруживается утопичный характер бюргерской безопасности.

Никто не знает это по своему опыту лучше, чем те слои, что испытывают потребность в защите. Поэтому участие в разрушении старых порядков стало одной из роковых ошибок либерального еврейства.

## 72

Большая опасность, которую заключает в себе неограниченная подвижность и которая становится все более угрожающей в той степени, в какой бюргерская безопасность оказывается утопичной, повелительно требует иных мер, нежели те, что можно заимствовать из арсенала либеральной демократии.

Очевидно, что сначала выход видится в реставрации, и потому нет недостатка в стремлении восстановить сословное государство или конституционную монархию. Однако необходимо знать, что существуют связи, слишком тонкие для того, чтобы, если они были порваны однажды, их можно было впоследствии восстановить. Раздробленность на атомы бесспорна, и это неподходящая почва для того, чтобы оживить на ней воспоминания о формах, развившихся исторически. Здесь требуются столь грубые действия, какие можно исполнить только «именем народа», но никогда — именем короля. Владение ситуацией предпо-

лагают не что иное, как наличие сил, которые прошли через зону уничтожения и были заново легитимированы в ней.

Такого рода силы отличаются тем, что они применяют существовавшие прежде принципы в новом и неожиданном смысле, — они умеют использовать их как рабочие величины. В их неожиданном появлении становится заметен просчет, скрытый в самой конструкции бюргерского общества, — просчет, который сводится к непредвиденной возможности того, что народ когда-нибудь решится выступить против демократии.

Такое решение, которому благоприятствует то, что инструменты мнимого бюргерского господства пришли в негодность, представляет собой антидемократический акт, отлитый в демократическую формулировку, и означает, что привычные представления о легальности рассеялись сами собой. Независимо от того, признаем мы этот акт или не признаем, пытаюсь, скажем, вопреки желанию большинства править в духе демократической традиции, — результат будет по существу одним и тем же. Этот результат выражается в замене либеральной, или общественной демократии на рабочую, или государственную демократию.

Фактически этот переход устраняет разлад, который, как мы видели, состоит в том, что, с одной стороны, эпоха во всех своих проявлениях стремится к господству, тогда как, с другой стороны, поводов говорить о действительном господстве меньше, чем когда бы то ни было. Эта замена, которая в одном случае осуществляется с большой жесткостью, а в другом — в ряде почти незаметных шагов, уже потому

значительнее реставрации, что всякая реставрация заботится сегодня о том, как ей привязать себя к какой-нибудь общественной традиции, тогда как здесь возобновляется подлинно государственная традиция.

Рассмотренная под этим углом зрения рабочая демократия находится в более близком родстве с абсолютным государством, чем с либеральной демократией, от которой она, казалось бы, происходит. Но она отлична и от абсолютного государства, поскольку имеет в своем распоряжении силы, которые только и могут быть мобилизованы и освобождены благодаря содействию всеобщих принципов.

Абсолютное государство взрастало, окруженное миром весьма развитых форм, и этот мир продолжал жить в нем в форме привилегий. Рабочая демократия наталкивается на расшатанные порядки массы и индивида и не находит в них никаких подлинных уз, а лишь множество организаций. Существует большая разница между многообразными силами, которые собираются в определенный день, чтобы присягнуть на верность коронованной особе, и сотрудниками, которые видят перед собой современного главу государства на утро после решающего плебисцита или государственного переворота. В первом случае речь идет о стабильном мире в пределах собственных границ и порядков, во втором — о динамическом мире, в котором авторитет должен искать себе подтверждение в стихийных средствах. Но также здесь речь идет и об исторической закономерности, а не о какой-то скоротечной смене властей внутри чисто стихийного пространства, как это происходит в южноамериканских республиках.

Все бóльшая свобода распоряжаться, все большее пересечение законодательной и исполнительной власти не оставляют места формулам вроде «*Car tel est Notre plaisir*».\* Эта свобода, скорее, ограничена совершенно определенной задачей, каковой является органическая конструкция государства. Эта конструкция не произвольна; она не предназначена к осуществлению утопии, и ни одно лицо или круг лиц не способны наполнить ее несоразмерными ей содержаниями. Она определяется метафизикой мира работы, и решающую роль играет то, в какой степени гештальт рабочего находит свое выражение в силах, на которых лежит ответственность, и, стало быть, насколько последние связаны с тотальным характером работы. Так мы оказываемся свидетелями зрелища диктатур, которые народы будто сами навязывают себе, давая свершиться необходимому, — диктатур, в которых на поверхность пробивается строгий и трезвый рабочий стиль. В этих явлениях воплощается наступление типа на ценности массы и индивида — наступление, которое сразу же оказывается нацеленным на пришедшие в упадок инструменты бюргерского понятия свободы — партии, парламенты, либеральную прессу и свободный рынок.

В переходе от либеральной демократии к рабочей осуществляется прорыв от работы как способа жизни к работе как стилю жизни. В какие бы разнообразные оттенки ни был окрашен этот переход, за ними кроется один и тот же смысл, а именно — начало господства рабочего.

По существу, нет никакой разницы, проявляется ли вдруг тип в фигуре партийного вождя, министра,

---

\* «Ибо такова Наша воля» (фр.).

генерала, или же какая-либо партия, союз фронтовиков, община национал- или социал-революционеров, какая-либо армия или чиновнический корпус начинают формироваться сообразно новой закономерности — закономерности органической конструкции. Нет никакой разницы и в том, происходит ли «захват власти» на баррикадах или в форме спокойного введения какого-либо делового регламента. Наконец, неважно, происходит ли в этом событии провозглашение массы, если исходить из представления о победе коллективистского мировоззрения, или же провозглашение индивида, если в нем усматривать победу личности, триумф «сильного человека».

Симптомом неизбежности этого процесса является, скорее, то, что он происходит при одобрении даже страждущих слоев.

### 73

Можно склоняться к тому, чтобы считать рабочую демократию неким исключением из правила, одной из тех решительных мер по наведению порядка, для которых в республиканском Риме было особо предусмотрено учреждение временной диктатуры.

И в самом деле, речь здесь идет о некоем исключительном состоянии, однако ни в коем случае не о таком, которое может каким-либо образом вновь привести к либерализму. Устранение либеральной демократии является окончательным; каждый шаг, ведущий за пределы форм, в которых это устранение происходит, состоит лишь в дальнейшем углублении характера работы. Изменения, происходящие с людьми и вещами в силовом поле рабочей демократии,

столь серьезны, что повторное занятие исходного рубежа должно оказаться невозможным.

Обрисованный нами процесс разрушения сам по себе заслуживает гораздо меньшего внимания, нежели тот центр, из которого исходит разрушение. Мы видели, что динамические системы мысли, равно как и опустошающее воздействие техники следует понимать как оружие, которое гештальт рабочего использует в целях нивелировки, не будучи сам ей подвержен. Это обстоятельство отражается также в составе человеческого рода, находящегося в зоне уничтожения. Выясняется, что такие состояния, как война, безработица, развивающийся автоматизм, состояния, которые накладывают печать бессмысленности на существование индивида, взятого изолированно или en masse, для типа в то же самое время становятся источником сил для повышения его активности.

Тут нужно отметить, что для типа вовсе не существует состояния безработицы, поскольку работа носит для него не эмпирический, а интеллигибельный характер. В тот момент, когда тип исключается из процесса производства, тотальный характер работы в нем проявляется в измененной, специальной форме, например, в форме вооружения. Поэтому группа безработных, в которых репрезентирован тип и которых можно наблюдать, скажем, в лесном лагере, на спортивных состязаниях или в политической команде, ничем не напоминает ту картину, которую представляли собой бастующие массы старого стиля. Здесь проступает некий воинственный характер, и состояние безработицы, если на него правильно посмотреть, следует расценивать как образование резервной армии. Здесь таится иная форма богатства, открыть



которую бюргерская мысль была не способна. Миллионы мужчин, лишенных занятия — в одном лишь этом факте заключена власть, скрыт стихийный капитал, и рабочего можно узнать в том числе по тому, что только у него есть ключ к этому капиталу.

Таким образом, здесь наше внимание привлекает не сам по себе безнадежный упадок созданных массой порядков. Новые порядки создаются не в силу этого обстоятельства; оно дает всего лишь повод для их установления.

Решающий шаг в повороте к рабочей демократии заключается, скорее, в том, что активный тип уже осуществляет поворот к государству. Мы сталкиваемся здесь с вхождением партий, движений и учреждений в органическую конструкцию — в новую форму единства, которую мы также назвали орденом и которая характеризуется тем, что стоит в культовом отношении к гешталту рабочего.

Движение фронтовиков, армия, социал-революционная партия превращаются таким образом в новую аристократию, которая овладевает решающими духовными и техническими средствами. Различие между такими величинами и партией старого стиля очевидно. Тут речь идет о выучке и элитном отборе, в то время как партийные устремления направлены на формирование массы.

Для особого характера органической конструкции показателен тот всюду встречающийся факт, что в какой-то определенный момент происходит «закрытие списков» и повторяются чистки, на которые партия не способна уже по самой своей сути. Это влечет за собой надежность и однородность состава, обеспечить которую в том историческом положении, в ко-

тором мы находимся, может только тип, и именно потому, что он один располагает узами, сообразными этому положению.

## 74

Уже одно лишь наличие таких уз, гарантирующих функционирование рабочей демократии, представляет собой факт, который не может не оказывать формирующего влияния на человеческий состав в целом и оказывает его в той мере, в какой решающее воздействие осуществляется уже не путем формирования общественного мнения или численного большинства, а посредством определенного рода акций.

Здесь тоже видно, что предпосылки для таких акций создала эпоха либерализма. Тип отличается тем, что способен использовать эти предпосылки в чисто техническом смысле. Правда, нам вновь нужно вспомнить о выводе, сделанном нами при рассмотрении техники, а именно о том, что к такому использованию призван только тип, ибо ему одному свойственно метафизическое, соразмерное гештальту отношение к технике. Этим объясняется тот часто наблюдаемый сегодня факт, что мероприятия, которые не удаются бюргерскому уму, для типа не составляют никаких затруднений.

Поэтому, когда мы констатируем, что тип видит в формировании общественного мнения дело техники, нам необходимо полностью освободиться от макиавеллианских предрассудков. Метод, выводимый из такого утверждения, в нашем пространстве годится не для какой угодно величины, а для одного лишь типа, для которого всякий инструмент непременно высту-

пает как инструмент рабочий, то есть как орудие вполне определенного чувства жизни. Поэтому когда он превращает общественное мнение из инструмента бюргерского понятия свободы в чисто рабочую величину, тут происходит не только видовое изменение, но и изменение ранга. Это частное проявление того высшего факта, что техника есть способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир. И здесь скачок от деструктивного метода к позитивному можно заметить в тот самый момент, когда господство становится зримым.

Тут следует упомянуть о превращении парламентов из инструментов бюргерского понятия свободы и институтов формирования общественного мнения в рабочие величины, что по смыслу равнозначно превращению общественных органов в органы государственные. Следует упомянуть об овладении техникой плебисцита, происходящем в пространстве, в котором не только понятие народа, но и все затрагиваемые альтернативы наделены весьма однозначным характером. Далее, следует упомянуть замену социальной дискуссии технической аргументацией, соответствующую замене общественных функционеров государственными чиновниками.

Сюда относится и осушение того болота свободных мнений, в которое превратилась либеральная пресса. Здесь тоже можно видеть, что техническая сфера намного важнее индивида, продуцирующего свое мнение внутри этой сферы. Насколько чище рабочий такт машины, через которую прогоняется это мнение, и насколько значительнее та точность и скорость, с которой любая партийная газета попадает к своим читателям, чем все партийные различия, какие

только можно себе вообразить. Это воистину власть, — правда, такая власть, с которой не умеет обращаться бюргерский индивид и которую он из-за недостатка легитимности использует как *perpetuum mobile*\* свободного мнения.

Мы наконец начинаем понимать, что здесь за работу берется весьма единообразный человеческий род и что в борьбе мнений нужно видеть спектакль, в котором каждый бюргерский индивид играет отведенную ему роль. Все эти люди радикальны и, стало быть, скучны, и общий для всех них способ пропитания состоит в том, чтобы перековывать факты на мнения. Общий всем им стиль определяется как простодушное ликование по поводу какой-либо точки зрения, какой-либо перспективы, которая свойственна только им, — то есть как чувство уникального переживания в его примитивнейшей форме.

То, что было сказано о театре, справедливо и для газет; становится все труднее различать их элементы — текст и объявление, критику и новости, политический отдел и фельетоны. Все тут в высшей степени индивидуально и в то же время в высшей степени предназначено для массового использования.

Та независимость, на которую ссылается пресса, всюду имеет одну и ту же природу, где бы ни сталкивались мы с такими ссылками. Она заключается в независимости бюргерского индивида от государства. Все речи о прессе как о новой великой власти относятся к фразеологии XIX века; в связи с ними рождаются крупные аферы, в ходе которых журналисту ловко удастся привлечь государство к ответу перед

---

\* Вечный двигатель (*лат.*).

разумом и добродетелью, то есть, в данном случае, перед истиной и справедливостью. Здесь мы тоже сталкиваемся с нападением, искусно проводимым под видом обороны, и иллюзорное либеральное государство тем более подвержено этим нападкам, что они ведутся перед судом его основных принципов. Картина была бы неполной, если бы мы не усмотрели и то отношение, которое существует между свободным мнением и интересом. Нам прекрасно известна связь такого рода независимости с подкупом, которая приводит, в конце концов, к духовному и материальному субсидированию из заграницы.

Атака на независимость прессы — это особая форма атаки на бюргерского индивида. Поэтому ее не могут проводить партии, но только тот человеческий род, который лишен возможности пользоваться такого рода независимостью. Однако нужно сознавать, что цензура является недостаточным средством, что она способна даже вызвать изощренность и растущую озлобленность индивидуалистического стиля. Тем не менее тип располагает средствами гораздо большего размаха, чем те, с помощью которых намеревалось защищать себя абсолютное государство, когда его время уже истекло. Возможность завладеть мощными информационными средствами представляет для него меньший интерес, чем тот факт, что стиль, которым выражается индивидуальное мнение, начинает становится скучным и банальным. Если мы раскроем любой номер газеты, выходявшей в 1830 году, то изумимся тому, насколько более существенными окажутся публикуемые в нем ежедневные сообщения; в этих статьях еще сохранилось что-то от старого ремесленничества.

В этой связи нам открываются две поучительные вещи: с одной стороны, упадок редакционной статьи и отдела критики, с другой — растущий интерес ко всем рубрикам, где, как например в спортивном разделе, индивидуальное различие мнений играет гораздо меньшую роль, и еще к фотографическим репортажам. Этот интерес уже выходит навстречу тем средствам, которые в особенности свойственны типу.

Можно надеяться на применение точного, однозначного языка, на появление математического, опирающегося на факты стиля, соразмерного XX столетию. Журналист в этом пространстве выступает носителем специального характера работы, а его задачи определяет и ограничивает тотальный характер работы и, следовательно, государство как представитель последнего. В пределах этого однозначного пространства символы имеют предметную природу, а общественное мнение является уже не мнением массы, слагающейся из индивидов, а чувством жизни, характерным для очень замкнутого, очень однообразного мира. Важным здесь является не столько точка зрения наблюдателя, сколько само дело или событие, и потому сообщение должно передавать чувство непосредственного присутствия во времени и пространстве.

Журналистская совесть требует тут максимума дескриптивной точности; она должна быть удостоверена отточенностью стиля, которая свидетельствовала бы о том, что за притязанием на выполнение умственной работы стоит нечто большее, чем одни только фразы. Решающий процесс и здесь, как уже было сказано, заключается в том, что бюргерского индивида сменяет тип. Подобно тому как нам было совершенно безразлично, консервативно или революцион-

но поведет себя отдельно взятый индивид, уже в самом появлении типа заключено утверждение мира работы независимо от того, в какой именно области это появление происходит.

Появление типа совпадает по времени с особым состоянием технических средств, единственным, которое ему соответствует. Только для типа управление этими средствами осмысленно как акт осуществления господства. Как журналист перестает быть бюргерским индивидом и превращается в тип, так и пресса из органа свободного мнения превращается в орган однозначного и строгого мира работы.

Это сказывается уже в том изменившемся способе, каким ныне читают газету. У газеты нет больше круга читателей в старом смысле, и с ее публикой происходит то же самое изменение, о котором говорилось в связи с театром и кино. Само чтение тоже нельзя уже согласовать с понятием досуга; скорее, оно несет на себе признаки специального характера работы. Это весьма отчетливо видно там, где есть возможность наблюдать за читателем, то есть прежде всего в общественном транспорте, в одном лишь пользовании которым уже осуществляется акт работы. В ходе этого наблюдения можно констатировать наличие трезвой и в то же время инстинктивной атмосферы, которой соответствует высокая точность и скорость в передаче информации. Здесь создается впечатление, будто мир изменяется, когда мы читаем, но это изменение остается в то же время константным в смысле монотонной смены проносящихся мимо нас разнообразных сигналов. Эта информация передается в пространстве, где то или иное событие отличается такой степенью живого присутствия, что каждый атом приводится им в

колебание со скоростью электрического тока. Очевидно, что все индивидуальное должно здесь все более восприниматься как бессмысленное. Равным образом, следует предположить, что многообразие органов, по крайней мере в том, что касается различия между партиями или между городом и деревней, сливается в единое целое.

Здесь следует по меньшей мере указать еще на тот факт, что способность интеллектуального восприятия у людей пассивного склада, собственно составляющих читательский слой, очень быстро приближается к тому состоянию, когда совершенно исключается всякое воздействие либеральных идей. Все культурные, психологические и социальные проблемы наводят на людей этого склада чрезвычайную скуку; точно так же они совершенно перестают воспринимать и изошренные художественные средства. Насколько пронизательно и уверенно рассудок этих людей, появляющихся во всех слоях старого общества и с каждым днем встречающихся нам все чаще, схватывает даже самые тонкие технические детали, настолько безразличным он остается к любого рода развлечению, делающему жизнь приятной для индивида. Таково видоизменение рассудка, соответствующее измененному ландшафту, внутри которого бюргерский идеал образования не способен был уже ни на что, кроме небывалого усиления страданий. Поэтому иногда нас охватывает едва ли не чувство сострадания к тем представителям интеллигенции, для которых все труднее становится продуцировать уникальное переживание, если иметь в виду, что подобное достижение воспринимается в этом пространстве в лучшем случае как нечто вроде сентиментального соло на саксофоне.



Все эти обстоятельства проступают уже гораздо яснее в связи с типическими информационными средствами, которые следует рассматривать исключительно как средства XX века, — то есть в связи с радио и кино. Нет ничего более забавного, чем попытки известных умников подвести эти столь однозначные, столь конкретные средства, которые просто предназначены для других задач, под либералистское понятие культуры, — эти экземпляры, считающие себя критиками культуры, являются лишь косметологами цивилизации. Уже при поверхностном рассмотрении этих средств становится очевидно, что здесь не может идти и речи об инструментах передачи свободного мнения в старом смысле слова. Напротив, все, что выступает здесь как всего лишь мнение, оказывается в высшей степени несущественным. Эти средства поэтому точно так же не годятся на роль партийных инструментов, как не способны они и быть созвучными индивиду. Среда, в которой способен действовать индивид, разрушается уже самим фактом существования искусственного голоса и возможности фиксации изображения посредством светового луча. Здесь способен действовать лишь тип, поскольку он один имеет отношение к метафизике этих средств. Если чистая техничность все больше становится предметом оценки, то это, в сущности, говорит о том, в какой мере нам удалось уже овладеть иным языком. Суждение о «хорошем» или «плохом» фильме выносится не на основании моральных предпосылок и подкрепляется не ссылкой на мировоззрение или настроение. Идет ли речь о любовном приключении, криминальном деле или большевистской пропаганде, оценке подвергается, скорее, лишь то, в какой мере удалось освоить

типические средства. Но это освоение представляет собой революционный способ легитимации, то есть состоит в репрезентации гештальта рабочего теми средствами, которыми этот гештальт мобилизует мир.

Здесь речь идет об органах, которые начинает создавать для себя иная воля. В этом пространстве атомы не пребывают в том скрытом состоянии анархии, которая, являясь предпосылкой свободного мнения, в конце концов привела к ситуации, когда воздействие этого мнения устраняет самое себя, потому что всеобщее недоверие превысило способность к восприятию. Люди привыкли воспринимать всякую новость, уже имея в виду то опровержение, которое последует за ней. Мы достигли той степени инфляции свободного мнения, при которой мнение обесценивается прежде, чем появляется в печати. Таким образом, расположение атомов приобретает, скорее, ту однозначность, которая царит в электромагнитном силовом поле. Пространство представляет собой замкнутое единство, и вырабатывается более острый инстинкт в отношении того, что мы желаем и чего не желаем знать.

Впрочем, было бы неверно предполагать, что здесь говорится исключительно об усилении централизации, к примеру, в том смысле, в каком абсолютная личность умела занять центральное место. В этом смысле в тотальном пространстве не существует какого-либо центра, какой-либо резиденции, будь то резиденция государя или публичного мнения, подобно тому, как всякое значение утратило в нем и различие между городом и деревней. Скорее, каждая точка потенциально наделена здесь характером центра. Есть что-то устрашающее, что заставляет вспом-

нить монотонные вспышки сигнальных ламп в той ситуации, когда в центр внимания внезапно попадает какой-нибудь участок этого пространства, будь то находящаяся под угрозой провинция, громкое судебное дело, спортивное событие, природная катастрофа или кабина трансокеанского авиалайнера, и когда вокруг него плотно смыкается круг искусственных глаз и ушей. Этот процесс несет в себе нечто очень объективное, необходимое, и отличающие его движения похожи на те, которые исследователь фиксирует посредством телескопа или микроскопа. Поэтому не без основания мир содрогнулся от страха, когда в 1932 году стало известно, что маньчжурское радио организовало информационную службу прямо на поле боя. Обращая внимание на политический обзор, который входит в задачи кинохроники, мы отчетливо видим, что здесь начинает развиваться понимание и чтение иного рода. Спуск корабля со стапеля, несчастный случай на шахте, автогонки, дипломатическая конференция, детский праздник, гранаты, взлетающие и падающие на какой-нибудь опустошенный клочок земли, чередование ликующих, дружелюбных, возбужденных, отчаянных голосов — все это улавливается и отражается с неумолимой точностью, представляя собой некое поперечное сечение, позволяющее в новом свете увидеть всю совокупность человеческих отношений.

Само собой разумеется, что общественное мнение должно явиться здесь как полностью изменившаяся величина. Именно решающие области оказываются закрыты для общественного мнения в той мере, в какой они перестают быть объектами для свободного мнения. Изменения, происходящие в этом ландшаф-

те, скрывают то обстоятельство, что в распоряжении наблюдателя есть лишь *одно* окно, лишь один-единственный фрагмент действительности.

Не следует также упускать из виду, что, с одной стороны, индивид сегодня еще стремится использовать средства в том смысле, который не адекватен их сущности, и что, с другой стороны, их растущее совершенство все яснее обнаруживает эту сущность. Речь здесь идет не о средствах развлечения, — и даже там, где возникает такое впечатление, следует помнить, что развлечение, организация крупномасштабных игр все более четко обнаруживает признаки публичной задачи, то есть становится функцией тотального характера работы.

Смысл решающего процесса следует определить как превращение общественных инструментов в государственные, стоящие на службе у людей активного склада, являющихся опорой этого государства. В предельно замкнутом, предельно предсказуемом пространстве, где возрастает одновременность, однозначность и предметность переживания, как измененная величина выступает и общественное мнение, и решающий человеческий род, который не имеет никакого отношения к свободному мнению уже в силу того, что отмечен признаками расы. Его деятельность, как было сказано, должна отразиться и на всем человеческом составе.

Уже сегодня можно предугадать, что здесь проступает особый оттиск, произвести который никогда не смогло бы свободное мнение, оттиск, который ощущим даже в выражении лица и звучании голоса.

## СМЕНА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ РАБОЧИМ ПЛАНОМ

75

То, что было сказано о цензуре как о недостаточном средстве, применимо и к типическим методам как таковым. Тип превосходит породившие его порядки либеральной демократии не потому, что он «захватывает власть», а потому, что располагает новым стилем и, таким образом, репрезентирует власть.

По этой причине рабочую демократию нельзя смешивать с диктатурой даже там, где было решено отказаться от использования плебисцитарных средств. В качестве носителя чисто диктаторского насилия можно представить какую угодно власть, тогда как рабочая демократия может быть осуществлена только типом. Тип тоже не может прибегать к произвольным мерам, — он в равной мере не способен, к примеру, ни восстановить монархию, ни наладить аграрную экономику, ни опереться на военное господство какого-либо класса. Большая ударная сила, которая имеется в его распоряжении, ограничена средствами и задачами мира работы.

Если сравнить между собой то, как вступает в историческое пространство бюргер, с одной стороны, и рабочий — с другой, то в обоих случаях мы столкнемся с легитимацией средств разрушения, воздействие которых подготовило это вступление и способствовало ему. Для бюргера эти средства заключаются в играх абстрактного духа, оперирующего понятиями разума и добродетели. И хотя при королевских дворах и в аристократических салонах этот язык раздается не реже, чем в кофейнях, тем не

менее только бюргер умеет говорить на нем, не подвергая себя разрушению, и лишь бюргер возводит его до языка закона, кладя его в основу своих общественных договоров.

Было бы неверно предполагать, что подобающие рабочему средства разрушения следует искать в великих социальных и экономических теориях. Напротив, мы уже показали, что в последних нужно видеть исключительно продолжение работы бюргерского разума. Эти теории в гораздо меньшей мере можно уподобить новому открытию человека в XVIII столетии, нежели аристократическому рационализму, посредством которого тот слой, против которого было обращено это открытие, способствует в том же столетии своему собственному разложению.

Конечно, это разложение старого общества столь же выгодно для бюргера, как позднее для рабочего — разложение общества бюргерского. Если мы и тут захотим увидеть некое оружие, то это допустимо согласно принципу, гласящему, что хорошо все то, что может повредить противнику. Используемый метод не позволяет, однако, пробиться из зоны разрушения в зону господства. Лежащие в его основе принципы, например, принцип равенства или деления, имеют исключительно нивелирующий характер; они соотносены с данным общественным составом.

Революционные средства, которым придает легитимность рабочий, более значительны, чем абстрактно-духовные средства: они имеют предметный характер. Задача рабочего состоит в легитимации технических средств, которыми мир был мобилизован, то есть приведен в состояние безбрежного движения. Само наличие этих средств вступает во все большее проти-

воречие с бюргерским понятием свободы и соразмерными ему формами жизни; они нуждаются в обуздании силой, способной говорить на их языке. Мы имеем тут дело с одной из великих материальных революций, совпадающих с появлением рас, которым подвластны волшебные силы таких новых средств, как бронза, железо, лошадь или парус. Подобно тому как лошадь получает свое значение только благодаря рыцарю, железо — благодаря кузнецу, корабль — благодаря «трижды окованной медью груди», смысл, метафизика технического инструментария проступает только тогда, когда в качестве соразмерной ему величины появляется раса рабочего.

Различию в используемых средствах соответствует различие в обустройстве и овладении покоренным миром. Для бюргера этот процесс выражается в духовном создании конституций, где тот самый разум, что разрушил старое общество, выступает фундаментом и основным мерилom нового. Для рабочего соответствующая задача состоит в созидании органической конструкции из вовлеченных в безграничное движение масс и энергий, которые оставил после себя процесс разложения бюргерского общества. Тогда та рамка, в которую заключена свобода действия, — это уже не бюргерская конституция, а рабочий план. Как бюргер в качестве поля для своей деятельности обнаруживает сначала абсолютное государство, так и первые движения рабочего осуществляются в пределах национальной демократии, средства которой нужно вырвать из рук двух столпов бюргерского общества — индивида и массы.

Что касается положения вещей, с которым сталкивается человеческий род, решившийся на проведе-

ние обширных планов, то оно благоприятно постольку, поскольку ликвидация всех традиционных уз бюргерским понятием свободы выровняла ситуацию, позволяющую теперь наметить новые контуры в старых порядках. В результате ликвидации старых ценностей создалось положение, в котором смелое вмешательство встречает минимум сопротивления. Всюду, где мир испытывает страдания, он достиг того состояния, в котором скальпель врача ощущается как единственно возможное средство.

План, как он выступает в рамках рабочей демократии, то есть в некоем переходном состоянии, характеризуется завершенностью, гибкостью и осначенностью. Эти признаки, равно как и само слово «план», подтверждают, что речь тут не может идти об окончательных мерах. Тем не менее плановый ландшафт отличается от чисто мастерового ландшафта тем, что он имеет точно определенные цели. В нем отсутствует перспектива безграничного развития, а также свойства того политического *regretium mobile*, который снова и снова заводится противовесными силами оппозиции.

Такая оппозиция здесь столь же мало осмысленна, сколь мало она, к примеру, способна ускорить движение военного корабля. В политических движениях XIX века постоянно повторяется революция разума, пусть и легитимированная конституцией. В плановом ландшафте такое возвратно-поступательное движение представляется расточительством. Марш здесь осуществляется в ряде этапов, достичь которых нужно в сроки, рассчитанные генеральным штабом. Подобно тому, как средства, которые легитимирует рабочий, несут в себе не мировоззренческий, а предметный



характер, так и задачи, встающие в рамках плана, отличаются тем, что точно выражаются в цифрах. Эти задачи возникают уже не в результате обмена мнений, а в рамках проектного задания. Работа в целом, не принадлежащая ни массе, ни индивиду, с помощью плана приобретает наглядность, так что ее результаты видны как время на циферблате часов.

Следовательно, степень выполнения задания становится столь же легко проконтролировать, сколь не поддается контролю действительное основание тех либеральных фраз, с помощью которых адвокат завоевывает общественное мнение.

## 76

План считается завершенным постольку, поскольку рабочему в качестве поля его деятельности предлежат государственные структуры XIX века, а именно, национальная демократия и колониальная империя.

В рамках сообщества государств, образованного на основании либеральных понятий, новаявленная рабочая демократия играет примерно такую же роль, что и органическая конструкция типа в рамках либеральной демократии. Если тип вначале старается образовать государство в государстве, то рабочая демократия ищет возможность уклониться от правил игры, действующих в пространстве либеральной политики, — от свободной торговли, от решений съездовского большинства, от интернационального, покоящегося на устаревших ценностных масштабах определения курса страны, от гуманистической аргументации, а

также, естественно, и от оставленного либеральной демократией наследства, состоящего из договоров и обязательств.

Эти усилия приводят в результате к изоляции, которая, по всей видимости, не только противоречит тому положению, что гештальт рабочего обладает планетарной значимостью, но и может быть понята как регресс в сравнении с теми формами общения, которые приняты между либеральными демократиями.

В самом деле, пересекая сегодня какую-нибудь из границ, Агасфер вспомнил бы, скорее, о мерах абсолютного государства, а не о мерах либеральной демократии. Так, строгий надзор за людьми, материальными благами, контроль за информацией и платежными средствами напоминает практику меркантилистских систем или паспортный режим, который до мировой войны можно было еще встретить только в царской России.

Очевидно, что все эти запреты на импорт и иммиграцию, равно как и стремление получить независимость от иностранных валют, несовместимы с законами либерального мышления. Однако гораздо примечательнее тот факт, что эта растущая склонность к автаркии противоречит также и тому, как устроены средства, которыми располагает рабочий.

Это противоречие исчезает тогда, когда становится видно, что якобы имеющий здесь место регресс следует оценивать как такое попятное движение, которое обычно предшествует разбегу. Этим объясняются те меры, которые не соответствуют характеру работы самому по себе, как, например, искусственное возвращение некоторых отраслей торговли, промыш-

ленности и сельского хозяйства, нерентабельное строительство воздушного и морского флота, производство одних товаров, изготовление которых обходится дороже, чем закупка, и вывоз других в условиях устаревших и противоречащих сущности планирования конкурентных форм.

Эти попытки воплотить тотальную жизненную позицию в ограниченных сферах ведут к своего рода осадной экономике, которая выглядит не менее удивительно, чем многочисленные постоянные армии на небольших и тесно соприкасающихся друг с другом территориях, как их наблюдали путешественники XVIII века. Как в то время повсюду можно было наткнуться на резиденции, парковые ландшафты и сильные гарнизоны, так и сегодня мы обнаружим, что ни одно государство не хочет отказываться от какого-либо из особых признаков тотального характера работы. И точно так же, как в те времена люди в подражание великим образцам преступали меру своих сил, они преступают ее и сегодня. Самолеты, дирижабли, турбоходы, водохранилища, механические города, моторизованные войска, гигантские арены суть формы, в которых репрезентируется господство рабочего, и приглашение осмотреть эти устройства соответствует приглашению на итальянскую оперу, которое знатный чужеземец получает от абсолютного монарха.

Здесь следует заметить, что рабочий стоит выше тех удобств, которые он предлагает своему посетителю, чего нельзя было представить себе еще совсем недавно, а именно, в пространстве бургерского мышления. Это приблизительно то же превосходство, которое имеет летчик, награжденный орденом Pour le

mérite,\* по сравнению с пассажиром первого класса.<sup>1</sup> Здесь будет, наверное, уместно сказать пару слов по вопросу о частной собственности, который в контексте исследования о рабочем заслуживает гораздо меньшего внимания, чем может показаться при современном состоянии идеологии. То обстоятельство, что нападки на собственность, равно как ее оправдания, исходят из этических оснований, представляет собой один из признаков либерального стиля мысли. Однако в мире работы речь идет не о том, является ли факт собственности нравственным или безнравственным, а лишь о том, найдется ли ей место в рабочем плане. Собственность тут не вопрос морали, а вопрос работы, и может статься, что она будет встроена в плановый ландшафт, как, скажем, лес или река бывают встроены в ландшафт парка. Тот способ, каким государство регулирует и объемлет собственность как некое подчиненное явление, намного более важен, чем попытка любой ценой вернуться к общественно-теоретической догматике. Одним из признаков революции *sans phrase* является сохранение чувства собственности, особенно в отношении домовладения и землевладения, хотя общая ситуация, в которую встроена собственность, претерпела фундаментальные изменения. Степень достигнутого рабочим господства узнается не по тому, что «больше нет никакой собственности», а по тому, что и сама собственность раскрывается как одна из специальных характеристик работы. Это наилучший способ избавить ее от либеральной инициативы. Критерием оценки собствен-

---

\* За заслуги (*фр.*).

<sup>1</sup> Билет которого оплачивает государство.

ности является здесь та мера, в какой она способна внести свой вклад в осуществление тотальной мобилизации. В частности, сам собой разумеется тот факт, что единичный человек в состоянии приобрести средства сообщения и информации. Таков один из способов, какими он «добровольно» связывает себя с сетью работы. Впрочем, девять десятых всех вещей, которыми располагает современный человек, сразу же теряют свою ценность, как только их абстрагируют от государства. Прежде всего это относится к растущему числу тех вещей, которые нужно куда-нибудь подключить. Здесь, в частности, вскрывается тесное отношение, которое связывает электричество с государством и с новой государственной экономикой. Старый ландскнехт, принимавший участие в Sacco di Roma,\* изумился бы тому, что в наших больших городах грабить почти нечего.

Завершенность планового ландшафта порождает ряд моделей государства, которые, отличаясь между собой своим историческим происхождением и особым пространственным положением, все же обнаруживают родство в своих сущностных признаках.

Число этих моделей не произвольно; его ограничивают определенные факторы. Возможность распоряжаться источниками природного богатства — рудой, углем, нефтью или водной энергией — не менее важна, чем географические преимущества, к примеру, островное положение. Но решающее значение принадлежит указанию на то, достаточно ли сильно выражена активная раса, в которой репрезентирован гештальт рабочего.

---

\* Разграбление Рима (ит.).

Это указание приводит нас в мир фактов; мы находим его в способности к дальнему мореплаванию и воздухоплаванию, к производству средств производства, к предельному вооружению. Сюда же относится способность вооружать глаз точнейшей оптикой, делать видимым очень далекое и очень глубокое, различать звуки и цвета, измерять массу атома и скорость света, — всё это области, в которых начинает отчетливо проявляться свойственный технике характер табу. Достаточно пяти пальцев на руке, чтобы пересчитать государства, которым по силам масштабное кораблестроение, — наиболее убедительный символ государствообразующей способности, — или государства, в распоряжении которых в любой момент находится сотня тысяч человек — господ и мастеров технических средств, воплощающих наивысшую боевую мощь, которую до сих пор знала земля.

Становится все более ясно, что для государств второго и третьего порядка само наличие рабочей демократии и необходимости приспособливаться к формам тотальной мобилизации влечет за собой слишком большие тяготы. В самом деле, мы видим, как безнадежно сходят на нет не только островки определенного благополучия, но и свободы и культуры,<sup>1</sup> еще каким-то образом связанные с миром личности, и сегодня в Европе найдется много мест, напоминающих вид венецианских дворцов. Действительное завершение планового ландшафта становится здесь столь же затруднительным, что и сохранение нейтралитета во время мировой войны. Однако и

---

<sup>1</sup> А также, разумеется, островки самых захудалых бюргерских литераторов, политиков и профессоров.

здесь ведутся плановые работы высокого ранга, в которых в то же время распознается и их нейтральный характер; в качестве одного из самых значительных примеров нашего времени можно упомянуть об осушении Зейдерзее.

То же самое ограничение применимо и к ландшафтам, в которых была осознана необходимость «освоения машинной техники», хотя активный тип еще не обрел в них достаточной силы. Смысл разворачивающегося здесь революционного процесса состоит в добровольном подчинении гешталту рабочего. Пассивная ступень пока еще не преодолена, и это конкретно проявляется в необходимости импортировать не только крупные средства, но и сам активный тип, который взял бы их управление под свой контроль.

За войной остается право решающей проверки действительности автаркии, способной добиться власти; здесь очень скоро обнаруживается различие между тотальной мобилизацией и просто технизацией. Тем не менее, как уже было сказано, разного рода сюрпризы не исключены. Вообще, нужно остерегаться рассматривать этот процесс в зеркале одних только ценностей национального государства. Поскольку пространство, отведенное гешталту рабочего, обладает планетарным размахом, желательно, чтобы обширные области этого пространства играли направляющую роль всюду, где только возможно.

Атака, направленная в национальных пределах против классов и сословий, против масс и индивидов, ведется также и против самих наций в той мере, в какой они сформированы по индивидуальным, по «буржуазным», «французским» образцам. Подобную

неприступной крепости завершенность, которую план придает подлежащему пространству, и даже усиление самого национализма следует понимать как принятие мер, направленных на достижение концентрации, энергия которой превосходит потребности нации.

Поэтому и представление о *société des nations*\* как о верховной всемирной организации принадлежит той картине общества, которая сложилась в XIX веке. Упорядочение же и подчинение плановых ландшафтов подобает, скорее, государственному плану имперского ранга.

## 77

Дальнейшее требование, предъявляемое к плану, а именно, требование гибкости, становится еще более необходимым вследствие упадка либеральных порядков. В результате этого упадка, который с бюргерской точки зрения предстает как утрата безопасности и как невозможность сохранить старое понятие свободы, создалась ситуация, гораздо более опасная, нежели какой бы то ни было временный кризис.

Мировая война, которая провела итоговую черту под этими порядками, оставила после себя, прежде всего в Германии, иное положение вещей, чем, к примеру, Тридцатилетняя война, после которой все усилия были направлены на возвращение новой рабочей силы и заселение обширных местностей. Эпоха свободного передвижения и безоглядного использо-

---

\* Сообщество наций (фр.).



вания всевозможных благ весьма неорганично распределила массы людей, которые именно в качестве массы подвергаются особой опасности при любом изменении ситуации. Любое движение разрастается здесь, не встречая сопротивления, и кризис слишком легко принимает вид катастрофы. Сюда добавляется изменчивость средств, лишаящая надежности любые долгосрочные расчеты, как в силу того, что ситуация внутри стран меняется очень быстро, так и потому, что смещаются экономические и политические отношения между странами. Перед этими явлениями ничто не выглядит так беспомощно и бессильно, как прежняя масса, в которую они попадают наподобие незримых снарядов и которая, вырвавшись из сетей одной агитации, попадает в другие.

Надежда на то, что такие состояния проплывут над поверхностью ландшафта подобно зонам низкого давления, обманчива. Старым порядкам недостает способности к сопротивлению, и человека в них всегда можно застать только в страдании. Сами массы и те конституции, которыми они себя наделили, настолько беспомощны, что не способны двигаться с той скоростью и уверенностью, каких требует возникшая опасность. Масса — это уже не та величина, которая делает хорошую или плохую погоду, она сама оказывается первой, на кого обрушивается ненастье. Поэтому язык агитации с его натужными порывами лишается своего значения; он должен уступить место языку приказа, который раздается с капитанских мостиков кораблей. Это, разумеется, предполагает, что масса приводится в состояние, которому присуща функциональная гибкость, позволяющая выполнять такие движения, что она, таким образом, превраща-

ется в органическую конструкцию. Необходимые для этого меры приобретают свою весомость, с одной стороны, благодаря ужасающим средствам, которыми распоряжается действительный авторитет, то есть легитимная репрезентация гештальта рабочего, а с другой — и это гораздо важнее — благодаря новому представлению человека о счастье, которое видится уже не в развертывании индивидуального существования.

Это уменьшение внутреннего сопротивления, то есть, в сущности, бюргерской свободы, благодаря упаковке атомов в кристаллы высвободит такие силы, которые сегодня нельзя себе даже представить.

Подобно тому как здесь энергия добывается за счет устранения сопротивлений, решающим пробным камнем будет вопрос о том, сможет ли изменчивость средств, пока еще несущая в себе угрозу, превратиться в новый источник силы. Это можно будет узнать, если окажется, что изменчивость не в состоянии перечеркнуть план высшего порядка, но, напротив, органически включая ее в себя, он сам способен управлять ею. Мы видели, что в чисто мастеровом ландшафте человек был подчинен изменчивости средств в такой степени, что становились возможны теории, которые его самого рассматривали как некую разновидность промышленного продукта. Напротив, военный ландшафт уже предлагает картину, отличающуюся высокой степенью завершенности и производительностью, которую окрыляет необходимость. Если взглянуть на лихорадочное производство боевых машин или искусственных заменителей необходимого сырья, идущее в такой же спешке, в какой в мастерских Вулкана ковалось оружие Ахилла, то становится видно, до какой степени техническая воля

может выступать как особое выражение воли высшей расы.

Послевоенное состояние характеризует странная противоположность между положением человека и теми средствами, которыми он располагает. Мы привыкли видеть в безработице, в жилищном кризисе, в развале индустрии и экономики своего рода природное явление. Эти процессы, однако, суть не что иное, как симптомы упадка либеральных порядков. Вероятно, очень скоро люди станут считать удивительным недоразумением, что даже на таких малонаселенных континентах, как Австралия, вообще могла идти речь о безработице; тут вспоминаются испанцы — первооткрыватели Америки, которые страдали от голода посреди изобилия, когда задерживались родные корабли с провиантом. Работа — это естественный элемент, встроенный в рабочий план; в ней не может быть недостатка, как не может быть недостатка воды в океане. Поэтому и человек не может оказаться лишним, а составляет высший и ценнейший капитал.

По ходу дела можно заметить, что то же самое обнаружится и в отношении рождаемости. О том, что этот показатель нельзя так уж беспрекословно связывать с состояниями «цивилизованности», свидетельствует, с одной стороны, тот факт, что южноамериканские племена соотносят его с масштабом истребления лесов, тогда как, с другой стороны, в китайском ландшафте,<sup>1</sup> имеющем столь яркую выраженность,

<sup>1</sup> В Китае уже пережито многое из того, что нам еще только предстоит: гармоничное оформление городов с миллионным населением и целых ландшафтов, предельно эффективное использование земледелия и садоводства, типическая и высококачественная

не наблюдается ни малейшего сокращения огромного населения. Источником естественного богатства является человек, и любой государственный план будет несовершенным, если он не сможет включить в себя этот источник. Замене конституции рабочим планом соответствует такая гуманность, которая уже не ограничивается предоставлением человеку конституционных прав, а умеет изменять его жизнь авторитарно.

В частности, здесь следует назвать позитивную замену чисто юридических воспретительных мер заботой, являющейся обязанностью государства, прежде всего по отношению к внебрачным детям. В противоположность тем фантазиям об отборе и улучшении расы, которые играют роль уже в самых первых политических утопиях, здесь возможно своего рода воспитание, отвечающее положению о том, что раса есть не что иное, как предельное и однозначное запечатление гештальта. Ни у какой иной величины нет для этого такого призвания, как у государства — этой наиболее полной репрезентации гештальта.

Любовное и до мелочей продуманное воспитание людей определенного склада в особых поселениях, расположенных по берегам морей, в горах или в обширных лесных массивах, представляет собой высшую задачу для образовательной воли государства. Тут существует возможность создать на новом основании племя чиновников, офицеров, капитанов и

---

мануфактура, интенсивное и повсеместное использование малой экономики. Здесь можно провести аналогию с яркими и совершенными творениями, способными просуществовать долгое время. Отсюда проясняется связь рококо с китайским стилем, и вполне вероятно, что и у нас занятиям синологией в определенном аспекте будет отведено больше места, чем до сих пор.

прочих функционеров, которое несло бы на себе все приметы ордена, отличающегося таким единством и оформленностью, какие только можно себе представить. Именно в этом, а не в каком-нибудь переселении жителей крупных городов, состоит наиболее верный способ привлечь надежный резерв поселенцев и их спутниц ко всевозможным начинаниям внутри или вне страны.

Здесь следует вспомнить об особой роли кадетов в старой армии, где сын французского эмигранта и сын бранденбургского юнкера получали одно и то же образование; вспомним также о следах влияния духовных семинарий, прочитываемых уже по чертам лица, или о тех восточных гвардиях, в которых никто не знал ни отца, ни матери. Положение о том, что семья есть основа государства, принадлежит к числу тех, которые ввиду их древности уже не перепроверяют, — и все же достаточно пожить некоторое время в каком-нибудь сицилийском ландшафте, чтобы увидеть, что клановые узы способны полностью поглотить узы государства.

Марши и операции, в которых вводятся в действие люди и средства, несут на себе печать работы как стилиа жизни. Они целиком и полностью отличны от нерегулируемого притока людей к калифорнийскому золоту или от движений масс внутри раннего индустриального и колониального ландшафта.

Так, процессы колонизации и переселения, наблюдаемые в ходе оккупации Палестины сионистами, освоения новых районов Сибири или создания больших площадок для спорта и отдыха, с самого начала имеют характер конструктивного расчета. Подготовительные меры могут занять долгое время, зато потом

сами эти образования вырастают словно по взмаху волшебной палочки.

Как растущий объем устройств, так и нивелировка старых связей сами собой приводят ко все более сильной концентрации и гибкости инициативы. Остается все меньше мероприятий, которые могут мыслиться изолированно, пусть даже речь идет о постройке какого-то частного дома. Наряду с такими областями, как самолетостроение, где момент рентабельности должен отступить на задний план, существуют другие области, которые, как, например, радиовещание и электрификация, непосредственно пересекаются с политикой, так что эти предприятия все менее подходят для акционерных обществ, подобных тем, которые играли большую роль при строительстве железных дорог.

Здесь ведется подготовка к субстанциальным атакам на либеральное понятие собственности, намного более опасным, чем атаки диалектические. Жилищное и городское строительство, энергетика и транспорт, питание и игры, которые в свою очередь включены в грандиозный порядок оформления ландшафта, с одной стороны, предъявляют неотложные и изменчивые требования, а с другой, так сложно переплетены друг с другом, что необходимость цельного и планомерного регулирования возникает сама собой. Однако функциональная зависимость этих специальных областей от тотального характера работы отчетливо проступает только под влиянием государства. Это влияние не может сводиться к законодательству, которым взаимно ограничивается свобода партнеров. Скорее, оно вызывает потребность в действиях, которые отличались бы рвением и наступательной мощью.

Что касается отношения между государственной и частной инициативой, то в рамках отдельных плановых ландшафтов господствуют взгляды самого различного рода. Тогда как в первых мероприятиях, которые позволяют особо говорить о рабочем плане, таких, как, например, немецкая программа поставки оружия и боеприпасов от 1916 года, частной инициативе еще отводилась большая роль, уже в первой русской пятилетке едва ли найдется рабочий, который по собственному усмотрению мог бы выбрать себе рабочее место или уволиться с него. Неудовлетворительное исполнение и излишняя многословность закона о трудовой повинности явились, впрочем, одной из причин поражения немцев; этот закон оказался несостоятельным потому, что было еще живо бюргерское понятие свободы.

И все же там, где абстрактный радикализм и безусловное подчинение теории остаются неизвестны, можно предсказать, что полное устранение частной инициативы потребует таких затрат, которых не сможет окупить никакой успех. Здесь, скорее, сохраняет силу то, что было сказано относительно частной собственности.

Частная инициатива перестает вызывать сомнения в тот момент, когда она получает ранг специального характера работы, то есть, когда она ставится под контроль в рамках более широкого процесса. Этот метод подобен методу ведения лесного хозяйства, которое в своих заповедниках устраивает делянки, на которых рост деревьев предоставлен самому себе. Естественно эти делянки также составляют часть порядка — при условии, что под порядком понимается нечто большее, нежели новый род педантизма чинов-

ников и функционеров или образованной бюрократии, копающейся в картотеках. Возможность мобилизации является следствием фактической репрезентации государством тотального характера работы, благодаря которой этот род инициативы и собственности наделяется более или менее очевидным ленным характером.

В самом деле, сегодня во многих случаях дела обстоят так, что владелец какого-либо имущества, к примеру, домовладелец, оказывается экономически более слабым. Чтобы наглядно представить себе эту зависимость, нужно равным образом считаться с еще менее изученным различием между средствами производства высшего и низшего ранга, — решающий момент состоит не в том, чтобы распоряжаться электрической машиной или автомобилем,<sup>1</sup> а в том, чтобы распоряжаться системами водохранилищ и автодорог.

Наконец, остается упомянуть, что потребная в плановом ландшафте подвижность может достигать уровня, каким-то образом связывающего ее с анархией. Правда, преимущество остается здесь за теми талантливыми людьми, у которых беспощадность первых колонизаторов в сочетании со способностью пользоваться подручными средствами стала частью инстинкта.

Эта способность редко встречается у довоенных немцев, слишком привыкших к уже обработанной почве и штабу сведущих бригадиров и унтер-офице-

---

<sup>1</sup> Впрочем, роскошно сегодня живет тот, кто не связан обладанием автомобилем, радио и телефоном. Такова особая роскошь, которую люди все менее могут позволить себе в рамках рабочей демократии.



ров, то есть к наличию исполнительного центра. Здесь заключается загадка той беспощадной и неожиданной быстроты, с какой Америка после объявления войны из ничего создавала армии и боевые средства, и здесь же заключается объяснение того факта, что американский инженер очень скоро оказался особенно подходящим для российской плановой экономики, когда речь зашла о гигантском преобразовании нетронутых природных ресурсов.

## 78

То, что план представляет собой мероприятие, которое должно быть оснащено, вытекает уже из того, что в нашем пространстве власть должна быть понята как репрезентация гештальта рабочего.

Чем однозначнее будет осуществляться эта репрезентация, тем более широко будут вводиться в действие самые потаенные резервы жизни. Мощь этого процесса повышается благодаря гибкости и завершенности — характерным свойствам планового ландшафта. Среди всех поворотов, совершаемых в пространстве работы, поворот к оснащенности имеет наибольшую важность. Это объясняется тем, что самый сокровенный смысл типа и его средств направлен на господство. Здесь не существует такого специального средства, которое бы одновременно не являлось средством власти, то есть выражением тотального характера работы.

Это отношение становится очевидным в свойственном войне стремлении овладеть всеми, даже, казалось бы, самыми далекими от нее областями. Как и различие между городом и деревней, на второй план здесь отступают различия между фронтом и тылом,

между армией и населением, между мирной и военной промышленностью. Война как первостихия обнаруживает тут новое пространство, — она обнаруживает особое измерение тотальности, присутствующей в движениях рабочего.

Нам известны опасности, которые скрывает в себе этот процесс. Не стоит тратить время на разговоры о том, как предотвратить их с помощью либеральных средств, то есть за счет обращения к разумно-добродетельному человеку. Чтобы эффективно противостоять им, необходимы новые порядки.

То, в какой степени сознание освоило возможность таких порядков, позволяет увидеть схема, определяющая ход конференции по разоружению. Соглашение достигается на трех уровнях различной сложности.

Единодушие царит в том случае, когда речь идет о заверениях в миролюбии, за которыми остается право на вступительное и заключительное слово. На втором уровне разворачивается дискуссия о природе и объеме персонала и материальных средств власти, очевидным образом предназначенных для войны. Здесь следует различать между возможностью тотального и возможностью частичного вооружения, более или менее обширного, которое может относиться как к качеству, так и количеству средств. Задача ведения переговоров для отдельно взятого партнера заключается здесь в достижении как можно более благоприятного отношения к запасам оформленной энергии. Выбор точки зрения и используемой диалектики зависит от того, каким образом это наиболее благоприятное отношение достигается вернее всего: через увеличение или уменьшение, то есть через вооружение или разоружение.

Итак, следует обратить внимание на то, что здесь речь идет о разговоре по поводу средств власти, имеющих признаки специального характера работы. Поэтому напрасно было бы полагать, будто так называемое тотальное разоружение способно как-то уменьшить военную опасность. Наоборот, есть большая вероятность того, что оно увеличит эту опасность, поскольку энергии, списанные со счетов специального характера работы, не исчезают бесследно, а вливаются в тотальный характер работы, наполняя его высшей творческой потенцией. Здесь мы находим объяснение того факта, что требование тотального разоружения выдвигается, как правило, такими державами, для которых характерна развитая связь с тотальной, то есть с рабочей мобилизацией. Поэтому позиция России или Италии в 1932 году непременно должна была отличаться от позиции Франции, как той державы, в которой прежде всего еще живо бюргерское понятие свободы. Дебаты достигают пика озлобленности, когда какая-либо рабочая власть уточняет свои требования по разоружению в гуманных формулировках специально для либерального государства, в котором общественное мнение еще является значимой величиной.

В этом месте дискуссия затрагивает последний, наиболее конкретный слой власти, имеющий непосредственное отношение к легитимирующей величине, к метафизике, к гешталту рабочего, — и именно это поднимает эту дискуссию до уровня чрезвычайно своеобразного, чрезвычайно захватывающего спектакля, если взгляду удастся проникнуть сквозь ее риторические и арифметические оболочки. Здесь, в пространстве нового мира, подтверждается тот неиз-

менный факт, что основные намерения и основные силы жизни далеки от той зоны, внутри которой видится возможность соглашения. На практике это выражается в сложностях с нахождением критериев, по которым можно судить о тотальном характере работы. Так, можно «достичь соглашения» в отношении запрета химической войны, равно как в отношении заготовки ядовитых газов, но не в отношении состояния химии или лабораторных опытов, проводящихся над шелковичными червями или белыми мышами. Можно ликвидировать армии, но нельзя устранить тот факт, что воля к образованию полувоенных порядков захватывает целые народы — и, по всей видимости, захватывает их тем надежнее, чем сильнее сокращается специальное военное вооружение.

Эти явления, для которых можно найти сколько угодно иллюстраций, следует понимать как следствие изменившегося отношения к власти. В XIX веке, как мы видели, власть существовала в той мере, в какой она имела отношение к индивидуальности и тем самым к основанному на индивидуальности измерению всеобщего. Поэтому каждой эффективной мере по вооружению, каждой организации армии предшествовало осуществление бюргерского понятия свободы, то есть освобождение индивида от уз абсолютного государства — тот акт, без которого немислимы массовые армии всеобщей воинской повинности. В XX веке, напротив, власть существует в той мере, в какой она репрезентирует гештальт рабочего и тем самым обретает доступ к основанному на этом гештальте измерению тотального. Этому различию соответствует различие вооружений; и действительно,

здесь можно наблюдать приток энергий, который выдает наличие пространства нового рода.

Это пространство было неизвестно XIX веку, так как ключ к нему находится не у индивида, а только у типа, или у рабочего. Поэтому система всеобщей воинской повинности считалась непревзойденным улучшением обороноспособности. Однако движения, которые позволяет осуществлять эта система, относятся к движениям тотальной мобилизации так, как движения на плоскости — к движениям в пространстве. Этот род мобилизации не только охватывает одной сетью всю совокупность людских и материальных резервов, он характеризуется еще и изменчивостью, гибкостью введения в действие людей и средств. В этих рамках армия и военный арсенал выступают как особые выражения высшего характера власти, а воинская повинность — как частный случай всеобъемлющего отношения службы. Как атака не только нацелена на фронты в старом смысле слова, но и стремится при помощи многообразных и не только специфически военных средств проникнуть в глубину пространства с его сооружениями и населением, так и ответные меры опираются уже не только на армию, но и на планомерное членение совокупной энергии. Отсюда возможны случаи, когда жертвуют армией, чтобы выиграть время для тотальной мобилизации.

Мобилизация через всеобщую воинскую повинность сменяется, таким образом, тотальной, или рабочей, мобилизацией. Тем самым как наследница всеобщей воинской повинности заявляет о себе всеобъемлющая трудовая повинность, которая затрагивает не только мужчин, способных носить оружие, но

и все население и его средства, и которая, как мы видим, уже проводится крупными историческими державами. Значение служебной повинности этого рода соответствует значению различных реорганизаций армии, которыми открывается XIX век. Осуществление этой повинности может увенчаться успехом лишь в той мере, в какой существует отношение к гештальту рабочего; это завтрашний дар рабочего государству.

Практические меры во множестве мест достигли стадии эксперимента, который проводится то добровольными силами, то самим государством, тогда как в других местах свои требования повелительно диктует нужда. Встающие на этом пути трудности заключаются не столько в самих вещах, сколько в проникновении сквозь порядки, в которых запечатлелось либеральное понятие свободы. Стало быть, нет ничего удивительного в том, что сопротивление оказывается при помощи как индивидуалистских, так и социальных формулировок, — то есть при помощи одной и той же базовой схемы, утратившей свое значение. В любом случае внедрение трудовой повинности уже перестало принадлежать миру утопий.

Об этом говорят многие факты, в том числе — изменение, обнаруживаемое в проведении маневров. В этом пространстве крупный маневр выступает уже не как исключительно военное учение, а как взаимодействие специальных характеров работы в рамках плана, в который в равной степени включены «гражданские» и военные резервы. Здесь можно назвать техническое задействование индустрии, экономики, продовольственного снабжения, средств сообщения, администрации, науки, общественного мнения, коро-

че — вовлечение всех специальных средств современной жизни в замкнутое и эластичное пространство, внутри которого обнаруживается общий для этих областей властный характер.

Как частные маневры мы рассматриваем объявление воздушной и химической тревоги, которое в разных странах приводит в движение уже персоналы целых промышленных предприятий или даже целые регионы и поселения. Угрозе, которой со стороны средств тотального уничтожения подвергаются обширные зоны, соответствует предупреждение со стороны средств тотальной информации, осуществляемое с помощью радиовещания и телефона. Кажется, в этом изменившемся пространстве можно увидеть возвращение той средневековой картины, на которой население «выбегает из домов», и вообще жизнь очень быстро начинает уходить из абстрактных пространств и создавать весьма конкретные, весьма непосредственные ситуации.

Трудовая повинность — распространяется ли она периодически на все возрасты или объединяет оба этапа неквалифицированного (пассивного) и специального (активного) рабочего образования в одном промежутке времени, скажем, в одном трудовом году — обладает как практическим, так и символическим рангом.

Закономерности, значимой в тотальном пространстве, отвечает то, что она может выступать, скажем, как экономический результат в той мере, в какой сама экономика относится к специальным средствам власти. Ее наиболее значительные задачи, для решения которых она вводит в действие целые рабочие армии, свидетельствуют о единстве той работы, которая не

принадлежит ни массе, ни индивиду. Так она наиболее ясно выражает новое отношение типа и его образований к государству.

Здесь станет вдвойне необходима та роль, которая отводилась всеобщей воинской повинности относительно воспитания, внушения и единой дисциплины, короче, запечатления расовых признаков у населения. Это школа, которая должна открыть человеку глаза на работу как на стиль жизни, как на власть. По сравнению с этим экономическая постановка вопроса отходит на второй план.

Также не в последнюю очередь можно ожидать устранения того недальновидного высокомерия, которое привело к тому, что в ручной работе стали видеть состояние, достойное сочувствия. Это высокомерие естественно вытекает из абстрактного, скажем, чисто экономического понятия работы; ему соответствует несчастная фигура «образованного человека», который никогда не имел счастья пройти все ступени служебной лестницы в той или иной области. Всякий прием, вплоть до приемов вычищения конюшен, обладает определенным рангом, если не воспринимается как абстрактная работа и выполняется в рамках обширного и осмысленного порядка.

## 79

Итак, через некоторое время нам придется считаться с состоянием, в котором национальные государства и национальные империи старого стиля будут заняты созданием для себя конституции, выраженной в органической конструкции планового ландшафта.



Уже само слово *план* указывает на то, что здесь речь идет об изменчивом ландшафте, — этому факту соответствует изменчивость средств и запечатление новой расы, рассмотренное нами в деталях. Поэтому и все три признака плана — завершенность, гибкость и оснащенность — не имеют никакого определенного характера, а, скорее, имеют характер концентрации и развертывания сил.

Мы уже испытали на себе опасности, сопровождающие это состояние, — опасности, в которых достаточно отчетливо проявился самоубийственный и предательский смысл еще имеющих у нас место попыток проводить страусиную политику либерализма.

Одна из неприятнейших перспектив, несомненно, состоит в возможности насилия над малыми и слабыми, укорененными в своей природной почве народностями со стороны держав второго ранга, пользующихся высшими средствами, не зная об ответственности, которую заключает в себе их применение. Это лишний повод надеяться, что найдутся державы, способные к подлинно имперским формам, в коих может быть гарантирована защита и может идти речь о мировом суде, жалкую карикатуру которого представляет собой сегодня Лига Наций.

С другой стороны, нельзя не заметить, что это обязующее к готовности состояние также содержит в себе известные гарантии. Так замкнутость планового ландшафта порождает особое стремление избегать внешнеполитического конфликта: помехи при развертывании сил оказываются крайне некстати.

Военное осложнение представляется в этом контексте как вынужденная отдача оформленной энер-

гии, которая отнимается у процесса более обширного развертывания власти. Кажется также вполне возможным, что излучение больших силовых полей в состоянии позволить вести «войны без пороха» — разумеется, не в смысле каких-то сублимированных представлений, а в том смысле, что сила тяжести тотального характера работы сделает избыточным применение боевых средств.

В этом контексте проясняются современные открытия общности интересов, геополитических пространств и возможностей федерализма, в которых следует видеть наступление на структуру национального государства и попытку конструктивной подготовки имперских пространств.

За этими возможностями скрывается факт гораздо более мощного и объемлющего характера, а именно тот факт, что на высшем уровне, то есть на уровне гештальта рабочего, отдельные плановые ландшафты, несмотря на их завершенность, выступают как специальные области, в которых проходит один и тот же фундаментальный процесс.

Цель, на которую направлены все эти усилия, состоит в планетарном господстве как высшем символе нового гештальта. Только здесь содержится критерий той высшей безопасности, которая охватывает все военные и мирные фазы работы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

80

Вступлению в имперское пространство предшествуют такая закалка и такие испытания в рамках плановых ландшафтов, какие сегодня еще невозможно себе представить. Мы движемся навстречу удивительным событиям. По ту сторону рабочей демократии, в которой заново отливается и перерабатывается содержание известного нам мира, проступают очертания государственных порядков, выходящих за пределы всякого возможного сравнения. Можно, однако, предвидеть, что здесь речь уже не будет идти ни о работе, ни о демократии в привычном для нас смысле слова. Открытие работы как стихии полноты и свободы еще впереди; равным образом меняется и смысл слова демократия, когда материнская народная почва становится опорой для новой расы.

Мы видим, что народы принялись за работу, и мы приветствуем эту работу, где бы она ни выполнялась. Подлинное состязание должно вестись за открытие нового и неизвестного мира — открытие, более раз-

рушительное и более богатое последствиями, нежели открытие Америки. Нельзя без зачарованности наблюдать за человеком, когда, окруженный регионами хаоса, он закаляет свое оружие и сердце и когда он находит силы отвергнуть счастливый исход.

Участвовать в этом и служить этому — такова задача, выполнения которой ожидают от нас.

## ОБЗОР

### ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1). Эпоха третьего сословия была эпохой мнимого господства. 2). Стремление увековечить эту эпоху выражается в перенесении бюргерской модели на движения рабочего. 3). Соответственно рабочий становится представителем особого класса или особого сословия, 4) представителем «нового общества» и 5) представителем мира, в котором экономика и судьба имеют одинаковое значение.

6). Попытка отыскать в рабочем более высокое и более обширное достоинство, чем вообще способен представить себе бюргер, 7) может быть предпринята только тогда, когда за его явлением будет угадан великий, самостоятельный и независимый гештальт, который подчинен собственной закономерности, имеющей иную природу. 8). Гештальтом мы называем высшую, смыслопридающую действительность. Явления получают значение символов, представителей, оттисков этой действительности. Гештальт — это целое, которое охватывает больше, чем сумму своих частей. Это большее мы называем тотальностью. 9). Бюргерскому мышлению отношение к тотальности не дано. Следовательно, оно было способно увидеть рабочего лишь как явление или как понятие —

как абстракцию<sup>1</sup> человека. Вопреки этому, собственно «революционный» акт рабочего состоит в том, что он выдвигает притязание на тотальность, постигая себя как представителя высшего гештальта. 10). «Видение» гештальтов<sup>2</sup> делает возможной ревизию, проводимую целостным бытием над миром ставшего самовластным духа. 11). Как ранг единичного человека, так и ранг человеческих общностей зависит от той степени, в какой в них репрезентируется гештальт рабочего. Ценностное противопоставление массы и единичного человека, или «коллективной» и «личной» инициативы, не имеет никакого значения. 12). Рав-

---

<sup>1</sup> Конкретно мы относимся к человеку тогда, когда смерть своего друга или своего врага Мюллера ощущаем более глубоко, нежели известие о том, что во время разлива Хуанхэ утонуло 10 000 человек. История абстрактного гуманизма, напротив, начинается примерно с размышлений о том, что более безнравственно — убить своего конкретного врага в Париже или одним нажатием кнопки — как-нибудь незнакомого нам китайского мандарина.

<sup>2</sup> Степень, в какой нам удалось схватить такие органические понятия, как «гештальт», «тип», «органическая конструкция», «тотальный», измеряется тем, насколько использование этих понятий определяется законом печати и оттиска. Стало быть, способ их применения — не плоскостной, а «вертикальный». Так, каждая величина в рамках иерархии «имеет» гештальт и в то же время является выражением гештальта. В этой связи в особом свете предстает также и тождество власти и ее репрезентации. Далее, органическое понятие узнается по тому признаку, что оно способно «развертывать» свою собственную жизнь, то есть «расти». Все эти понятия служат здесь *nota bene* для понимания. Дело не в них. Их можно просто забыть или отставить в сторону, используя как рабочие величины для постижения некой определенной действительности, существующей вопреки какому бы то ни было понятию и помимо него. Эту действительность следует всецело отличать и от ее описания; читатель должен направлять свой взгляд сквозь описание, пользуясь им как своего рода оптической системой.

ным образом, гештальт как покоящееся бытие более значителен, нежели какое бы то ни было движение, в котором он свидетельствует о себе. Рассмотрение движения как ценности, скажем, как «прогресса», принадлежит бюргерской эпохе.

13). Рабочего характеризует новое отношение к стихийному. Поэтому он располагает более мощными резервами, нежели бюргер, который видит в безопасности высшую ценность и пользуется своим абстрактным разумом как средством, гарантирующим эту безопасность. 14). Романтический протест есть не что иное, как тщетная попытка бегства из бюргерского пространства. 15). Рабочий заменяет романтический протест действием в стихийном пространстве, в котором отныне очень четко обнаруживается недостаточность бюргерской безопасности. 16). Рабочего характеризует также новое отношение к свободе. Свободу можно ощутить лишь в случае причастности к целостной и исполненной смысла жизни, 17) которая во временном отношении иногда раскрывается нам в воспоминании о великих исторических державах или 18) в отношении пространства — вне сферы игры голых интересов. 19). Пространство работы имеет тот же ранг, что и все великие исторические пространства; в нем притязание на свободу выступает как притязание на работу. Свобода здесь — экзистенциальная величина; это означает, что люди располагают свободой в той самой мере, в какой они ответственны перед гештальтом рабочего. 20). Растущее чувство такой ответственности предвещает чрезвычайные свершения. 21). Наконец, рабочего характеризует новое отношение к власти. Власть здесь выступает не как «текущая» величина, а 22) легитимируется гешталь-

том рабочего, то есть является репрезентацией этого гештальта. Легитимация удостоверяется тем, что эта власть способна поставить себе на службу новое человечество и 23) новые средства. 24). Ввод в действие этих средств, подвластных только рабочему, облегчает затянувшаяся анархия, к которой привела абстрактная «общезначимость».

25). Особенно нужно учесть, что гештальт превосходит диалектическую, 26) эволюционную и 27) ценностную постановку вопроса и не может быть постигнут с их помощью.

## ВТОРАЯ ЧАСТЬ

28). Соразмерный рабочему принцип, или язык рабочего, имеет не всеобще-духовную, а предметную природу. Это работа как способ жизни, который формирует особый стиль. 29). Рассмотрение этого особого способа жизни трудно постольку, поскольку оно происходит в очень изменчивой среде. 30). Уже при поверхностном рассмотрении пространства работы взгляд встречает закономерность иного рода. 31). Этой закономерности свойственно посягать на существование индивида, что 32) уже очень хорошо заметно на современных полях сражений. 33). Здесь впервые появились и люди нового склада, которых следует обозначить как тип. 34). Наступление на индивида затрагивает также и массу, как общественную форму, в которой постигает себя индивид. 35). В то время как тип, или рабочий, сменяет бюргерского индивида, масса заменяется органической конструкцией. 36). В таких своих внешних признаках, как физионо-



мия, костюм, 37) манера держать себя и 38) жестикуляция, 39) тип получает все более однозначное выражение, которое нужно прежде всего видеть, а не оценивать. 40). Ранг бюргера определяется тем, в какой мере он обладает индивидуальностью. 41). Ранг типа, который уже не притязает на это различие и 42) характеризуется не уникальным, а однозначным опытом, 43) определяется тем, в какой мере он воплощает гештальт рабочего.

44). Техникой мы называем тот способ, каким гештальт рабочего мобилизует мир. 45). Она ведет атаку на исторические системы и 46) культовые силы, 47) будучи якобы нейтральным средством, которым, однако, непротиворечивым образом располагает только рабочий. 48). Техника — это не инструмент безграничного прогресса, 49) напротив, она приводит к совершенно определенному и однозначному состоянию, 50) которое отмечено ростом постоянства и завершенности средств, идущим параллельно с образованием новой расы, 51) и тем не менее не может быть достигнуто по чьей-либо воле. 52). Скорее, мы все еще живем в очень изменчивом мире, 53) характер которого начинает, впрочем, отличаться от взрывного и динамического характера раннего мастерового ландшафта высокой планомерностью и предсказуемостью процессов. 54). Даже там, где поставляемые техникой средства имеют неприкрытый властный характер, 55) совершенная оснащенность возможна лишь в том случае, 56) если рабочий выведет оснащение из сферы конкуренции между национальными государствами и избавит его от их инициативы и если он стабилизирует и легитимирует революционно-подвижные средства. 57). Это возможно лишь в том случае, если он

будет применять подвластные ему одному средства не в либеральном духе, а в духе высшей расы.

58). Музейная деятельность 59) является признаком ослабления жизненной силы и 60) одной из лазеек для бегства от предельно опасной действительности. 61). Рабочий более не имеет никакого отношения к культурной деятельности, достигающей своего пика в культе гения. 62). Оформление мира работы, высшей целью которого станет оформление пространства, требует критериев иного рода. 63). Это не индивидуальные, а типические критерии, которые получают свою значимость благодаря господству рабочего; 64) их многочисленные аналоги можно найти как в природном ландшафте, 65) так и в великих культурных ландшафтах. 66). Технический мир не находится в противоречии с этим оформлением, а начинает служить ему, 67) как это все яснее обнаруживается в связи с завершенностью средств и запечатлением новой расы.

68). В национализме и социализме нужно видеть принципы, свойственные XIX веку. 69). Порядки национальной демократии ведут к состоянию мировой анархии по мере приобретения ими общезначимости. 70). В равной мере и социализм не в состоянии установить действенные порядки. 71). Оба принципа сами собой терпят крах, когда какая-нибудь власть использует их правила игры. 72). Господство рабочего впервые заявляет о себе в замене либеральной или общественной демократии рабочей или государственной демократией. 73). Эту замену осуществляет активный тип, использующий формы органической конструкции, в частности, формы ордена. 74). Тип распоряжается общественным мнением потому, что господству-

ет над ним благодаря более высокой технической оснащённости. 75). На место бюргерских конституций вступает рабочий план, к которому предъявляются требования 76) завершенности, 77) гибкости и 78) оснащённости. 79). Это переходные признаки, с помощью которых подготавливается планетарное господство гештальта рабочего в пределах многообразных исторических пространств. 80). В усилиях народов, которые заняты преобразованием национальных демократий в рабочие государства, уже намечается их будущая причастность к этому господству.

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ ПО ПОВОДУ «РАБОЧЕГО»

*Женева, 7 июля 1978*

### ОТ МОРИСА ШНЁВЛИ

«... Ваш труд сопровождает меня; мы ведем с ним беседу как посвященный отец со своим старшим сыном. Тем не менее я никогда не искал учителя. Истинный учитель — это мишень, в которую стрелок попадает не целясь, — не он ищет десятку, она находит его...

Поговорим о «Рабочем». Как Вам известно, вокруг него ведется чисто политический спор. Невзирая на Ваше субстанциальное и этимологическое обоснование гештальта, эта книга всегда будет предметом поверхностных и субъективных суждений...

Сначала я судил о рабочем в моральной перспективе; очевидно, что Вы рассматриваете его как некий новый организм, о чем говорит уже название книги. Ее обвиняют как библию тоталитаризма и насилия. На самом деле новое общество зиждется на насилии, и для этого ему нет нужды в Вашей книге. Вы показываете ему истину, которую трудно вынести; портрет слишком похож. Доисторический человек противится в нас титану, который живет в нем и хочет вытолкнуть его в мир, где, быть может, кристаллизуется окончательный порядок...

В «Мировом государстве» Вы говорите, что гештальт рабочего преодолет даже самую древнюю из великих противоположностей: противоположность

между Востоком и Западом. Я хотел бы, кроме этого, предположить, что человек, как титан, овладеет историческими утопиями и сплавит их в одну-единственную утопию. Потусторонний и посюсторонний мир объединяются вновь, и их синтез раскрывает благодаря технике новую перспективу. Человек, уставший от внутреннего созерцания, перестает видеть сны, — он сам становится сном...

Границы утратили для рабочего свое значение; он проходит сквозь них, как сквозь призрачную стену...

В мыслительном отношении Ваша работа сходна с работой биолога, манипулирующего генами...»

*Вильфлинген, 24 сентября 1978*

### АНРИ ПЛЯРУ

«Следуя своей привычке, я взял с собой в Сан-Пьетро пачку писем, чтобы послать в ответ хотя бы открытки. Очень печально, что я не могу подробно остановиться даже на ценных откликах, как они того заслуживают.

При этом мне приходит в голову, что молодые образованные французы (и бельгийцы) все нетерпеливее спрашивают о переводе «Рабочего». Я предвижу тут серьезные помехи для моего вильфлингенского покоя.

Как Вам известно, на протяжении десятилетий я пытался помешать появлению этого перевода. Уже перед второй мировой войной Марсель Декомби опубликовал по этому поводу одну брошюру. Теперь, когда во Франции тоже собираются выпустить все

мои сочинения, появление этого перевода, пожалуй, уже нельзя задержать.

В Германии эту книгу встретило отрадное затишье. Она вышла в 1932 году, незадолго до Третьего рейха, но ни национал-социалисты, ни их противники не знали, что им с ней делать. В конце «Рабочего» было сказано, что его гештальт не ограничен ни национальными, ни социальными границами, а носит планетарный характер. «Техника — это униформа рабочего». Это было с неудовольствием отмечено как правыми, так и левыми. В «Фёлькишер беобахтер» появилась одна дискуссия, в которой говорилось, что я отважился вступить «в зону, где головы не сносить».

Перевод упростит основные мысли. Это, с одной стороны, усилит их логику, с другой, — наделит их агрессивным порывом, который уже проглядывает в этих откликах.

Грубо говоря, мне тем самым навязывают политические мотивы. Я никогда не просматривал текст заново. Жаль, что туда просочилась критика времени, особенно в отношении «бюргера». Она имеет мало отношения к делу. Сегодня, когда я занимаюсь другими проблемами и предвижу крушение титанов, у меня нет никакого желания пересматривать текст и даже сокращать его.

Тогда я не мог предвидеть, на какой риск отважился со своей концепцией. Антимарксистское толкование я должен отвергнуть. Маркс укладывается в систему «Рабочего», однако не заполняет ее целиком. Примерно то же можно сказать и о его отношении к Гегелю.

Я догадываюсь, что Гегель скорее согласился бы с «гештальтом» рабочего, чем с редукцией его к эконо-

мике, которая остается лишь одним из секторов. «Гештальт» (уже само это слово трудно для перевода) репрезентирует мировой дух для определенной эпохи, причем как дух господствующий, в том числе и в области экономики. Основная проблема — власть; она определяет детали. Это подтверждается уже сегодня: всюду, где правят рабочие партии, от Китая и России вплоть до восточных немцев, вопросы власти имеют превосходство над экономическими. Если этим государствам, в том числе и со стороны западных коммунистов, ставится на вид, что они отходят от марксизма, то этот упрек обоснован, но устарел.

За репрезентацией мирового духа стоит материя, а не идея. Теория не определяет действительность, как часто решительно подчеркивает Гегель, но действительность порождает идеи и изменяется сама по себе. Даже техническое изобретение вынуждено следовать ей. В конечном счете оно не выдуманно и не случайно.

Этому соответствует понимание материи, которое уводит к доплатоновским временам, — оно не материалистично, а материально. Я разбираю это в «Стене времен». Гештальт более родствен монаде Лейбница, чем платоновской идее, и ближе перворастению Гёте, нежели гегелевскому синтезу.

Рабочий — это титан и тем самым — сын Земли; он, как говорит Ницше, следует ее смыслу, причем даже там, где он, казалось бы, ее разрушает. Вулканизм будет возрастать. Земля породит не только новые виды, но и новые роды. Сверхчеловек еще относится к видам.

Работа уже позади, но я связан с ней в том смысле, что она меня провоцирует, как в конце «Эймесвиля». Крушение богов пока еще не завершилось: материаль-

ная атака на мир предков с его князьями, священниками и героями. Ответ не заставит себя ждать. Гесиод и «Эдда» обретают актуальность.

*Вильфлинген, 28 октября 1979*

### ВАЛЬТЕРУ ПАТТУ

«... Тем самым я подхожу к «Рабочему». В этом эссе, за которое я взялся бы сегодня иначе, я попытался вернуть то, что Маркс отбросил из дистиллированного им Гегеля, и вместо некой экономической фигуры увидеть гештальт, к примеру, в смысле перворастения. Во Франции это было понято лучше, однако тоже лишь отчасти, — и тем самым в перспективе возникает угроза, что какая-то фигура станет предметом спора. Но лучше — в том числе и для успокоения собственной души — проткнуть воздушный шар иглой, чем отдергивать газовый полог.

К гештальту рабочего, впрочем, ближе подошли в России и в восточной зоне, нежели у нас. Это выражается в примате власти перед наукой. Маркс — это *le bon vieux père*,\* великий вождь, которому подражает обращенная вперед сторона их янического лика. Поэтому в своих действиях они нередко довольно неуклюжи, но это не мешает делу.

Я-то как раз хотел бы избежать того, чтобы из меня делали антимарксиста, конечно, я не укладываюсь в марксову систему, но зато он, пожалуй, укладывается в мою...»

---

\* Старый добрый папаша (фр.).



Вильфлинген, 6 февраля 1980

Из письма Вальтера Патта. «Вы пишете, что «Рабочий» остался у Вас позади. Это верно в личностно-биографическом плане. Но если посмотреть с точки зрения истории метафизики, то мировая эра рабочего в доброй своей части, пожалуй, находится еще впереди; человек стал «работающим животным» (Хайдеггер. «Доклады и статьи», 4-е издание, с. 68).

Между тем вновь происходят исторические события. При этом нужно также иметь в виду, что марксизм русской чеканки представляет собой сегодня единственную силу, которая что-то значит в метафизико-историческом плане... Советский Союз — это застывшая революция, которая вновь и вновь будет приходить в движение... Если восточный мир имеет в качестве своей идеологии материализм, а в качестве своего образа жизни — героический идеализм, то на Западе жизнь приняла вид законченной греховности и материализма».

\* \* \*

Неприязнь к политической актуальности я ощутил уже в 1930 году, и теперь с ужасом замечаю, что с тех пор утекло пятьдесят лет. В Париже сейчас тоже напали на след «Рабочего»; это подтверждают мои разговоры с Пальмье, Товарницки, Эрвье. Об этом — в моем ответе на объемистое письмо Анри Пляра от 14 января:

«...Мне также доставляет беспокойство, что буржуа настоятельно требует скорейшего французского издания «Le travailleur».\* Вам известно, что я долго

\* «Рабочий» (фр.).

пытался этому помешать. Я закрыл эту тему. Теперь она вновь поднята по разным пунктам. Я не могу ничего возразить против того, что гештальт рабочего сегодня наиболее чисто представлен на Востоке; с другой стороны, примат власти перед экономикой составляет лишь одну из частей или одно из следствий появления мифического гештальта. Гештальт пребывает в покое; экономика и даже техника — это лишь складки на одежде. Основная мысль проста; если бы мне сегодня пришлось пересматривать это эссе, она была бы прорисована отчетливее, однако для этого у меня нет ни желания, ни времени...

Дорогой друг, изрядная часть работы не только предстоит, но уже и проделана Вами. После того как наш дорогой Жан-Пьер де Кудр ушел от нас, Вы, да еще мой бычок, — моя опора и мое утешение посреди все еще прибывающего потока...

Теперь вы еще хотите взвалить на себя «магический реализм» и при этом исходить из «Сицилийского письма». В этом я должен с Вами согласиться: это не только магиико-реалистический текст, но и ключ к этой оптике в целом. Для меня лично он представляет собой переход от экспрессионизма («Борьба как внутреннее переживание») к сюрреализму. Такая же перемена отличает первую редакцию «Авантюрного сердца» от второй.

Как видите, Вы склоняете меня к самонаблюдению, которого, собственно, следовало бы избегать. Какой в этом прок в ту эпоху, когда начинает шататься мир? Но мы еще посадим, как говорил Лютер, свое дерево».

*Вильфлинген, 24 марта 1980*

«Глубокоуважаемый господин Вальднер... Что касается «Рабочего», то о затронутой Вами проблеме часто размышляли не только я и мои друзья, но и многие другие. Скоро появятся публикации, посвященные в том числе и семинару, который вел по этой книге Мартин Хайдеггер. К чему это приведет, я не знаю.

В моей концепции важен только тот момент, когда в гештальте усматривается мифическая величина, вступающая в историю подобно титану и, быть может, поначалу разрушающая ее. Естественно, двадцатые годы сказались на способе изложения. Тем не менее по историческим соображениям я не могу ничего изменять в тексте, который в рукописи еще более объемист.

С другой стороны, когда-нибудь те годы предстанут в ином свете. Более поздние работы тоже внесли свою экзегезу и дополнения. Потом появились небольшие (Декомби) и объемистые (Брок) сочинения. Завязалась переписка, к которой я причисляю также и Ваше письмо.

Наконец, я не хочу исключать и того, что я еще раз, страницах на тридцати, вернусь к этой теме. Во всяком случае, все, что происходило после выхода книги в 1932 году, подтверждает мою концепцию».

*Вильфлинген, 4 августа 1980*

### **ВАЛЬТЕРУ ПАТТУ**

«... Вы упоминаете о тотальной мобилизации» и гештальте рабочего». В этих концепциях многое еще всего лишь угадывается, однако мне потребовалось бы

слишком много времени, если бы я точнее и подробнее выражал эти догадки. К примеру, если бы я тогда считал гештальт рабочего некоей идеей, то пришлось бы вносить поправки в том случае, если бы не удалось до того спустить тени платоновской пещеры, чтобы они обрели субстанциальность. Далее, если бы я считал гештальт рабочего сверхчеловеком, то без поправок бы и здесь не обошлось, поскольку сверхчеловек с тех пор тоже оказался преодолен и стал достоянием палеонтологии. Можно было бы отталкиваться от предположения, что в гештальте возвращается титаническое; это свидетельствовало бы о междуцарствии и все же лишь отчасти оправдывало бы Ваши пессимистические чаяния».

*Вильфлинген, 10 октября 1980*

«Глубокоуважаемый господин Вальднер. Намереваясь снять запрет с включения текста Рабочего» во второе полное собрание сочинений, я еще раз просмотрел письма, посвященные этой теме, среди них и Ваше письмо от 12 июля.

Вы полагаете, что репрезентация гештальта до сих пор наиболее четко проявилась в некоторых разновидностях социализма. Я оставляю это под вопросом, если мы придерживаемся того, что гештальт нельзя понимать ни как класс, ни как экономическую или национальную величину. Хотя он и может многими способами оказывать диалектическое воздействие, однако увидеть можно лишь явления. У них, конечно же, своя иерархия.

Даже если класс понимать в марксистском смысле, после переходной фазы диктатуры он должен вновь

распасться как таковой. Как подтверждает текущая политика в социалистических странах, это, по всей видимости, происходит непросто. Также следует подумать над тем, не определяются ли формы нашей жизни, скорее, техникой, нежели социализмом. Общество пытается приспособиться к средствам — сначала к паровой силе, затем к электричеству, а теперь — к атомной технике. Но в отношении гештальта рабочего ни технические, ни социальные структуры не являются первичными; перемены в них напоминают, скорее, следствия вулканического извержения.

Вы цитируете выражение «устарелость человека» из неизвестного мне сочинения. Оно представляется мне важным, поскольку отсылает к тому состоянию, которое уже не может быть преодолено историческими средствами — то есть благодаря войне или миру, договорам или диктатурам, а также благодаря какой-либо философской системе.

По Хайдеггеру, метафизика достигла своего конца. Между тем, то, о чем она думала и на что была нацелена, исчезнуть не может; свидетельство тому — усилившееся значение физики, которая, в свою очередь, начинает становиться иррациональной.

Может быть, человек с риском для себя совершил неудачный прыжок, как ницшевский канатный плясун. Однако было бы неверно видеть в рабочем сверхчеловека или платоновскую идею, — скорее уж гештальт, в смысле гётевского перворастения. Оно тоже не является типом, но обладает силой, образующей типы.

Исходя из гештальта, который сам пребывает в покое, мир — от атомов до галактик — постигается как движение. Что касается меры и числа, то всякого рода частности мы видим с необычайной остротой, в

то время как смысл и цель целого, похоже, все больше от нас ускользают. Однако как раз точность и взаимопроникновение частных позволяют предположить, что нечто «скрывается позади них», не в смысле каких-нибудь «фоновых миров», а в смысле «нутра природы».

Гештальт стоит у своих титанических истоков. Тот, кто занимается им, должен отважиться покинуть пределы всякой исторической системы. Переоценки ценностей для этого уже недостаточно. Старая мораль не способна справиться с фактами, однако перед новой моралью, которая соответствовала бы фактам, мы испытываем вполне оправданный страх. Поэтому всё фатальным образом предстает в двойном свете — война и мир, атомная энергия, сокращение рождаемости и, вообще, чистая совесть.

Этими замечаниями я хочу дать понять, что в том, что я назвал гештальтом, многое еще всего лишь угадывается. Поэтому его трудно фиксировать как исторически, так и тем более политически, — там, где можно найти какую-то связь, я, видимо, еще не достаточно освободился от традиционных представлений. С 1932 года все развивается согласно программе, хотя это и не может обрадовать.

Как я уже писал, эта тема для меня позади. Может быть, сегодня я вел бы себя менее страстно, ведь в вопросах власти существует различие между применением логики и тем, что нам лично кажется правильным и справедливым или же приятным. Пример тому — нынешние волнения в Польше. Внутренне мы можем испытывать сочувствие к их либеральному духу, но ему противоречит понимание того, что в рамках развития там сейчас происходит регресс».

# **ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ**

## ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

### 1

Искать образ войны на том уровне, где все может определяться человеческим действием, противно героическому духу. Но, пожалуй, многократная смена облачений и разнообразные превращения, которые чистый гештальт войны претерпевает в череде человеческих времен и пространств, предлагают этому духу завораживающее зрелище.

Это зрелище напоминает вид вулканов, в которых прорывается наружу внутренний огонь земли, остающийся всегда одним и тем же, хотя расположены они в очень разных ландшафтах. Так участник войны в чем-то подобен тому, кто побывал в эпицентре одной из этих огнедышащих гор, — но существует разница между исландской Геклой и Везувием в Неаполитанском заливе. Конечно, можно сказать, что различие ландшафтов будет исчезать по мере приближения к пылающему жерлу кратера, и что там, где прорывается подлинная страстность, — то есть прежде всего в голой, непосредственной борьбе не на жизнь, а на смерть, — не столь важно,



в каком именно столетии, за какие идеи и каким оружием ведется сражение; однако в дальнейшем речь пойдет не об этом.

Мы, скорее, постараемся собрать некоторые данные, отличающие последнюю войну, нашу войну, величайшее и действеннейшее переживание этого времени, от иных войн, история которых дошла до нас.

## 2

Своеобразие этой великой катастрофы лучше всего, по-видимому, можно выразить, сказав, что гений войны был пронизан в ней духом прогресса. Это относится не только к борьбе стран между собой; это справедливо также и для гражданской войны, во многих из этих стран собравшей второй, не менее богатый урожай. Оба эти явления — мировая война и мировая революция — сплетены друг с другом более тесно, чем кажется на первый взгляд; это две стороны одного и того же космического события, они во многом зависимы друг от друга — и в том, как они подготавливались, и в том, как они разразились.

По всей вероятности, нашему мышлению еще предстоят редкостные открытия, связанные с существом того, что скрывается за туманным и переливающимся многими красками понятием «прогресса». Без сомнения, слишком жалкой оказывается привычная для нас ныне манера потешаться над ним. И хотя, говоря об этой неприязни, мы можем сослаться на любой из подлинно значительных умов

XIX столетия, однако при всем отвращении к пошлости и монотонности возникающих перед нами явлений зарождается все же подозрение — не намного ли более значительна та основа, на которой эти явления возникают? В конце концов, даже деятельность пищеварения обусловлена удивительными и необъяснимыми силами жизни. Сегодня, разумеется, можно с полным основанием утверждать, что прогресс не стал *прогрессом*; однако, вместо того чтобы просто констатировать это, важнее, вероятно, задать вопрос: не скрывается ли под будто бы столь хорошо знакомой маской разума, как под великолепным прикрытием, его подлинное, более глубокое значение и не состоит ли оно в чем-то ином?

Именно та неизбежность, с которой типично прогрессивные движения приводят к результатам, противоречащим их собственным тенденциям, позволяет догадаться, что здесь — как и повсюду в жизни — эти тенденции в меньшей степени имеют определяющее значение, нежели иные, скрытые импульсы. Дух с полным на то правом многократно услаждал себя презрением к деревянным марионеткам прогресса, — однако приводящие их в движение тонкие нити остаются для нас невидимы.

Если мы пожелаем узнать, как устроены эти марионетки, то нельзя будет найти более удачного руководства, чем роман Флобера «Бувар и Пекюше». А если мы пожелаем заняться возможностями более таинственного движения, которое всегда больше предчувствуется, нежели может быть доказано, то множество характерных мест обнаружим уже у Паскаля и Гамана.

«Между тем, наши фантазии, иллюзии, fallaciae opticae\* и ложные заключения тоже находятся в ведении Бога». Такого рода фразы рассыпаны у Гамана повсюду; они свидетельствуют о том образе мысли, который устремления химии стремится вовлечь в алхимическую область. Оставим открытым вопрос, ведению какой области духа принадлежит связанный с прогрессом оптический обман, ибо мы работаем над очерком, предназначенным для читателя XX века, а не над трактатом по демонологии. Несомненно пока лишь то, что только сила культа, только *вера* могла осмелиться протянуть перспективу целесообразности до бесконечности.

Да и кто стал бы сомневаться в том, что идея прогресса стала великой народной церковью XIX столетия, — единственной, которая пользуется действительным авторитетом и не допускающей критики верой?

### 3

В войне, разразившейся в такой атмосфере, решающую роль должно было играть то отношение, в каком отдельные ее участники находились к прогрессу. И в самом деле, в этом следует искать собственный моральный стимул этого времени, тонкое, неуловимое воздействие которого превосходило мощь даже наиболее сильных армий, оснащенных новейшими средствами уничтожения эпохи машин, и который, кроме того, мог набирать себе войска даже в военных лагерях противника.

---

\* Оптический обман (лат.).

Чтобы представить этот процесс наглядно, введем понятие *тотальной мобилизации*: давно уже минули те времена, когда достаточно было под надежным руководством послать на поле битвы сотню тысяч завербованных вояк, как это изображено, к примеру, в вольтеровском «Кандиде», времена, когда после проигранной Его Величеством баталии сохранение спокойствия оказывалось первым долгом бюргера. Однако еще во второй половине XIX столетия консервативные кабинеты были способны подготовить, вести и выиграть войну, к которой народные представительства относились с равнодушием или даже с неприязнью. Разумеется, это предполагало тесные отношения между армией и короной, отношения, которые претерпели лишь поверхностное изменение после введения всеобщей воинской повинности и по сути своей еще принадлежали патриархальному миру. Это предполагало также известную возможность вести учет вооружениям и затратам, вследствие чего вызванный войной расход наличных сил и средств представлялся хотя и чрезвычайным, однако никоим образом не безмерным. В этом смысле мобилизации был присущ характер *частичного* мероприятия.

Это ограничение отвечает не только скромному объему средств, но в то же время и своеобразному государственному интересу. Монарх обладает природным инстинктом и потому остерегается выходить за пределы власти над своими домочадцами. Он скорее согласится пустить на переплавку свои сокровища, чем станет испрашивать кредит у народного представительства, и в решающий момент битвы с большей охотой сохранит для себя свою гвардию, нежели до-

бровольческий контингент. Этот инстинкт долго сохранялся у пруссаков еще и в XIX веке. В частности, он проступает в ожесточенной борьбе за введение трехлетнего срока службы, — долго послужившие войска более надежны для домашней власти, тогда как краткое время службы характерно для добровольческих отрядов. Зачастую мы даже сталкиваемся с едва ли понятным нам, современным людям, отказом от прогресса и усовершенствования военного оснащения, но и у этих соображений имеется своя подоплека. Ведь любое усовершенствование огнестрельного оружия, в частности повышение его дальности, скрывает в себе косвенное посягновение на формы абсолютной монархии. Каждое из этих улучшений помогает направлять снаряды отдельному индивиду, в то время как залп олицетворяет замкнутую командную власть. Еще Вильгельму I энтузиазм был неприятен. Он проистекает из того источника, который, словно мешок Эола, скрывает в себе не только бури аплодисментов. Подлинным пробным камнем господства является не мера окружающего его ликования, а проигранная им война.

Таким образом, частичная мобилизация вытекает из сущности монархии, которая преступает свои пределы в той самой мере, в какой она вынуждена задействовать в вооружении абстрактные формы духа, денег, «народа», короче говоря, силы нарастающей национал-демократии. Оглядываясь назад, мы сегодня вправе сказать, что полный отказ от использования этих сил был, пожалуй, невозможен. Манера их привлечения представляет собой подлинное ядро искусства государственного управления XIX

века. В этой особой ситуации обретает ясность и высказывание Бисмарка о политике как «искусстве возможного».

Теперь попробуем проследить, как растущее превращение жизни в энергию и становящееся ради обретения подвижности все более поверхностным содержание всяческих уз придает все более решительный характер акту мобилизации, руководить которой во многих странах еще в начале войны было исключительным правом короны, не требующим дальнейшего заверения ни с чьей стороны. Причиной тому служат многие явления. Так, одновременно со стиранием сословных различий и урезанием привилегий исчезает и понятие касты воинов; защищать свою страну с оружием в руках отныне уже не составляет обязанность и преимущество одних только профессиональных солдат, а становится задачей каждого, кто вообще способен носить оружие. Непомерное увеличение расходов делает невозможным оплачивать ведение войны из стабильной военной казны; скорее, чтобы не дать остановиться этой машине, здесь необходимо использовать все кредиты, учитывать самый последний сбереженный пфенниг. Картина войны как некоего вооруженного действия тоже все полнее вливается в более обширную картину грандиозного процесса работы. Наряду с армиями, бьющимися на полях сражений, возникают новые армии в сфере транспорта, продовольственного снабжения, индустрии вооружений — в сфере работы как таковой. На последней, к концу этой войны уже наметившейся стадии этого процесса нет уже ни одного движения, — будь то движение домработницы за швейной машиной, — которое, по

крайней мере, косвенно не имело бы отношения к военным действиям. В этом абсолютном использовании потенциальной энергии, превращающем воюющие индустриальные державы в некие вулканические кузницы, быть может, всего очевиднее угадывается наступление эпохи работы, — оно делает мировую войну историческим событием, по значению превосходящим французскую революцию. Для развертывания энергий такого масштаба уже недостаточно вооружиться одним лишь мечом, — вооружение должно проникнуть до мозга костей, до тончайших жизненных нервов. Эту задачу принимает на себя тотальная мобилизация, акт, посредством которого широко разветвленная и сплетенная из многочисленных артерий сеть современной жизни одним движением рубильника подключается к обильному потоку воинственной энергии.

К началу войны человеческий рассудок еще вовсе не предвидел возможности столь масштабной мобилизации. И тем не менее она сказывалась в некоторых мероприятиях уже в самые первые дни войны — например, в повсеместном призыве добровольцев и резервистов, в запретах на экспорт, в цензурных предписаниях, в изменениях золотого содержания валют. В ходе войны этот процесс усилился. В качестве примеров можно назвать плановое распределение сырьевых запасов и продовольствия, переход от рабочего режима к военному, обязательная гражданская повинность, оснащение оружием торговых судов, небывалое расширение полномочий генеральных штабов, «программу Гинденбурга» и борьбу Людендорфа за совмещение военного и политического руководства.

Несмотря на столь же грандиозные, сколь и ужасные картины поздних битв с использованием военной техники, в которых организационный талант человека праздновал свой кровавый триумф, предел возможностей все же еще не был достигнут. Достичь его — даже если ограничиться рассмотрением чисто технической стороны этого процесса — можно лишь в том случае, если образ войны уже вписан в порядок мирного времени. Так, мы видим, что во многих послевоенных государствах новые методы вооружения приспособлены уже к тотальной мобилизации.

Здесь можно упомянуть о таком явлении, как возрастающее урезание индивидуальной свободы, то есть тех притязаний, которые, на самом деле, уже издавна вызывали сомнение. Это вмешательство, смысл которого состоит в уничтожении всего, что *не* может быть понято как функция государства, мы встречаем сначала в России и в Италии, а затем и у нас дома, и можно предвидеть, что все страны, в которых живы еще притязания мирового масштаба, должны предпринять его, с тем чтобы соответствовать новым, вырвавшимся на свободу силам. Далее, сюда относится сложившаяся во Франции оценка властных отношений под углом зрения (*énergie potentielle*,\* а также наметившееся уже и в мирное время сотрудничество генеральных штабов и промышленности, образцом которого послужила Америка. Глубочайший смысл вооружения затрагивается постановкой тех вопросов, которыми немецкая военная литература способствовала тому, чтобы обществен-

---

\* Потенциальная энергия (*фр.*).



ное сознание выработало лишь по видимости запоздалые, но на самом деле направленные в будущее суждения о военном деле. Русская «пятилетка» впервые явила миру попытку сведения в *единое* русло совокупных усилий великой империи. Поучительно видеть, как захлебывается здесь экономическое мышление. «Плановая экономика» как один из последних результатов демократии перерастает самое себя, сменяясь развертыванием власти как таковой. Это превращение можно наблюдать во многих явлениях нашего времени; высокое давление масс вызывает их кристаллизацию.

Однако не только наступление, но и оборона требует чрезвычайного напряжения сил, и здесь идущее со стороны мира принуждение становится, быть может, еще отчетливей. Как в каждой жизни уже коренится смерть, так и появление больших масс заключает в себе некую демократию смерти. Эпоха прицельного выстрела снова уже позади нас. Командующему эскадрильей, отдающему в ночном небе приказ к воздушной атаке, уже не ведома разница между теми, кто участвует в битве, и теми, кто не участвует в ней, и смертельное газовое облако, подобно стихии, простирается над всем живым. Возможность подобной угрозы, однако, предполагает не частичную и не всеобщую, но — *тотальную* мобилизацию, которая распространяется даже на дитя в его колыбели. Ему грозит та же, и даже еще бо́льшая опасность, чем всем остальным.

Назвать можно было бы и многое другое, — достаточно только окинуть взором саму нашу жизнь во всей ее совершенной раскованности и безжалостной дисциплине, с ее дымящимися и пылающими

районами, с физикой и метафизикой ее движения, с ее моторами, самолетами и миллионными городами, — чтобы, исполнившись чувства удивления, понять: здесь нет ни одного атома, который бы *не* находился в работе, да и сами мы, в сущности, отданы во власть этому неистовому процессу. Тотальную мобилизацию не осуществляют люди, скорее, она осуществляется сама; в военное и мирное время она является выражением скрытого и повелительного требования, которому подчиняет нас эта жизнь в эпоху масс и машин. Поэтому каждая отдельная жизнь все однозначнее становится жизнью рабочего и за войнами рыцарей, королей и бургеров следуют войны *рабочих*, — войны, отличающиеся рациональной структурой и беспощадностью, представление о которых мы получили уже в первом большом столкновении XX века.

## 4

Мы коснулись технической стороны тотальной мобилизации. Ее осуществление можно проследить, начиная с первых военных призывов Конвента и с реорганизации армии, проведенной Шарнхорстом, вплоть до динамических программ вооружения последних лет мировой войны, когда страны превращались в гигантские фабрики, а производство армий было поставлено на конвейер, чтобы и днем и ночью посылать их на поля сражений, исполнявшие роль потребителя, столь же механически поглощавшего кровавые жертвы. Сколь бы мучительной именно для героического духа не была монотонность этого зрелища, напоминающего выверенную работу питаемой

кровью турбины, все же не может оставаться никакого сомнения в том, что здесь присутствует свойственное ему символическое содержание. Тут обнаруживается строгая логическая последовательность, жесткий от- тиск времени на воске войны.

Техническая сторона тотальной мобилизации, между тем, не является решающей. Ее предпосылки, как и предпосылки любой техники, лежат гораздо глубже, и мы назовем их здесь *готовностью* к мобилизации. Эта готовность имелаь во всех странах; мировая война была одной из самых народных войн, которые знала история. Таковой она была уже потому, что пришлось на время, заставившее с самого начала исключить все прочие войны из разряда народных. Кроме того, народы довольно долго наслаждались мирным периодом, если отвлечься, конечно, от мелких захватнических и колониальных войн. В начале этого исследования мы пообещали прежде всего не изображать тот стихийный слой, ту смесь диких и возвышенных страстей, которая свойственна человеку и во все времена делает его послушным военному призыву. Мы хотим, скорее, попробовать разобраться в многоголосии разнообразных сигналов, ознаменовавших начало этого особого столкновения и сопровождавших его на всем его протяжении.

Там, где мы встречаем столь значительные усилия, находят ли они свое выражение в могучих строениях, таких, как пирамиды и соборы, или же в войнах, заставляющих трепетать все жизненные нервы, — усилия, особо отличающиеся своей бесцельностью, — там нам для объяснения будет далеко не достаточно экономических причин, пусть даже они будут совер-

шенно очевидны. Это одна из причин, в силу которой школа исторического материализма способна затронуть лишь то, что лежит на поверхности военных событий. При рассмотрении таких усилий мы должны, скорее, в первую очередь подозревать в них явление культового ранга.

Сделав замечание относительно прогресса как народной церкви XIX века, мы уже указали тот слой, где была ощутима действенность призыва, позволившего осуществить решающий, а именно связанный с верой момент тотальной мобилизации в среде грандиозных масс, которые необходимо было привлечь к участию в последней войне. Возможность уклониться от него представлялась этим массам тем менее реальной, чем больше речь заходила об их убежденности, то есть чем более явным становилось прогрессивное содержание громких лозунгов, благодаря которым они и приводились в движение. В какие бы грубые и резкие цвета не были окрашены эти лозунги, в действительности их сомневаться нельзя; они напоминают пестрые тряпки, которые во время облавной охоты направляют зверя прямо на ружья.

Даже от поверхностного взгляда, пытающегося чисто географически разделить участвовавшие в войне силы на победителей и побежденных, не может ускользнуть преимущество «прогрессивных» стран, — преимущество, которое, по-видимому, объясняется своего рода господствующим в них автоматизмом в смысле дарвиновской теории отбора «наиболее приспособленных» особей. Особенно нагляден этот автоматизм при рассмотрении того обстоятельства, что даже страны, относящиеся к группе победителей, такие, как Россия и Италия, не избежали значитель-

ного разрушения своей государственной структуры. В этом свете война предстает как неподкупный судья, выносящий приговор по своим строгим законам, — как землетрясение, испытывающее на прочность фундамент каждого здания.

Далее выясняется, что в поздний период веры во всеобщие права человека монархические образования оказываются особенно неустойчивыми перед лицом военных разрушений. Наряду с бесчисленными малыми коронами во прах повергаются немецкая, прусская, российская, австрийская и турецкая короны. Австро-Венгрия<sup>1</sup> — государство, в котором мир средневековых форм влачил свое схематичное существование будто на острове, принадлежащем уже миновавшему периоду в истории Земли, разлетается на куски, как взорванный дом. Последняя абсолютная в старом смысле слова европейская власть — царская — падает жертвой гражданской войны, которая пожирала ее, словно эпидемия, сопровождаемая ужасающими симптомами.

С другой стороны, бросается в глаза непредвиденная способность к сопротивлению, присущая прогрессивной структуре даже в состоянии ее большого физического недуга. Так, подавление чрезвычайно опасного мятежа 1917 года во французской армии представляет собой второе, моральное марнское чудо, явившееся намного более симптоматичным, нежели чисто военное чудо 1914 года. Так, в Соединенных Штатах, в стране с демократической конституцией, мобилизация сопровождалась принятием таких резких мер, какие были невозможны в милитаристском прусском государстве, в стране с цензовым избирательным правом. И кто станет сомневаться, что под-

линным победителем из войны вышла Америка — страна без «заброшенных замков, базальтовых сооружений, без историй о рыцарях, разбойниках и привидениях»? Уже в этой войне было не важно, в какой степени государство являлось милитаристским, или в какой оно таковым не являлось. Было важно, в какой степени оно было способно к тотальной мобилизации.

Германия же должна была проиграть войну даже в том случае, если бы выиграла битву на Марне и подводную войну, ибо при всей ответственности, с какой ею была подготовлена частичная мобилизация, она не подвергла тотальной мобилизации обширные области своих сил и именно по этой причине оказалась способной — из-за чисто внутреннего характера своего вооружения — завоевать, сохранить и, прежде всего, использовать только частичный, но не тотальный успех. Чтобы закрепить *его* за нашим оружием, нужно было готовиться к новым, не менее значительным Каннам, чем те, которым была посвящена вся жизнь Шлиффена.

Однако прежде чем сделать выводы из этого положения, мы попробуем показать соотношение между прогрессом и тотальной мобилизацией еще более подробно.

## 5

Для того, кто старается понять слово *прогресс* в переливающихся оттенках его звучания, сразу же становится очевидным, что политическое убийство княжеской персоны в эпоху, когда под ужасающими пытками публично, как исчадия ада, были преданы

казни какой-нибудь Равальяк или даже Дамьен, должно было затрагивать более сильный, более глубокий слой веры, чем такое же убийство в эпоху, следующую за казнью Людовика XVI. Он обнаружит, что в иерархии прогресса князь причисляется к тому роду людей, которые вовсе не пользуются никакой особой популярностью.

Представим себе на мгновение гротескную сцену. Шеф какой-нибудь рекламной компании получил заказ на изготовление пропагандистских плакатов для современной войны. В распоряжении у него находились бы два средства для того, чтобы вызвать начальную волну возбуждения, а именно — либо убийство в Сараево, либо нарушение нейтралитета Бельгии. Нет никаких сомнений в том, какое из двух оказало бы наибольшее воздействие. Внешнему поводу к началу войны, каким бы случайным он не казался, присуще символическое значение, поскольку в лице виновников убийства в Сараево и их жертвы, наследника габсбургской короны, столкнулись два начала: национальное и династическое — современное «право народов на самоопределение» и принцип легитимности, с трудом реставрированный на Венском конгрессе с помощью политического искусства старого стиля.

Естественно, хорошее дело — быть по-правому несовременным и разворачивать мощную деятельность в том духе, который желает сохранить традицию. Однако условием этого является вера. Об идеологии центральных держав тем не менее позволительно утверждать, что она не была ни современной, ни несовременной, ни превосходящей время. Своевременность и несвоевременность объединились

здесь вместе, и результат не мог быть иным, чем смесью ложной романтики и неполноценного либерализма. Так, от наблюдателя не может ускользнуть известная слабость к применению устаревшего реkvизита, к позднеромантическому стилю, в частности, стилю вагнеровских опер. Сюда относятся и слова о верности Нибелунгам, и чаяния, возлагавшиеся на успех провозглашения священной войны ислама. Понятно, что речь здесь идет о технических вопросах, о вопросах правления — о мобилизации субстанции, а не о самой субстанции. Но как раз в промахах этого рода и обозначилось отсутствие отношения руководящего слоя как к массам, так и к глубинным силам.

Подобно тому знаменитая и непреднамеренная гениальная фраза о «клочке бумаги» страдает тем, что произнесли ее с запозданием в 150 лет, и притом в таком духе, который был бы, наверное, адекватным романтике пруссачества, но никак не являлся прусским в своей основе. Говорить так и потешаться над пожелтевшими истрепанными книжками имел бы право Фридрих Великий, но Бетман Гольвег обязан был знать, что кусочек бумаги, к примеру с написанной на нем конституцией, может значить сегодня примерно столько же, сколько для католического мира — священная облатка, и что хотя абсолютизму приличествует разрывать договоры, сила либерализма, однако, состоит в том, чтобы интерпретировать их. Стоит только внимательно изучить обмен нотами, предшествовавший вступлению в войну Америки, чтобы натолкнуться в нем на принцип «свободы морей», — хороший пример того, каким образом в такое время собственному интересу придается ранг



гуманного постулата, всеобщего вопроса, затрагивающего все человечество. Немецкая социал-демократия, одна из несущих опор прогресса в Германии, схватила диалектический момент своей роли: она приравняла смысл войны к разрушению царистского, антипрогрессивного режима.

Но что все это может значить по сравнению с теми возможностями, которыми располагал для проведения тотальной мобилизации Запад. Кто захочет оспаривать тот факт, что «цивилизация» намного больше обязана прогрессу, чем «культура», что в больших городах она способна говорить на своем родном языке, оперируя средствами и понятиями, безразличными или враждебными для культуры. Культуру не удастся использовать в пропагандистских целях. Даже та позиция, которая стремится извлечь из нее такого рода выгоду, оказывается ей чуждой, — как мы станем равнодушны или, более того, печальны, когда с почтовых марок или банкнот, растиражированных миллионами экземпляров, на нас смотрят лица великих немецких умов.

И несмотря на это мы далеки от того, чтобы сетовать на неизбежное. Мы только констатируем, что Германии так и не удалось в этой борьбе убеждением склонить в свою пользу дух времени, каким бы тот ни был сам по себе. Равным образом, ей не удалось поставить перед своим или мировым сознанием значимость какого-нибудь превосходящего этот дух принципа. Мы видим, как отчасти в романтическом и идеалистическом, отчасти в рационалистическом и материалистическом пространствах ищутся знаки и образы, которые стремится поднять на своих знаменах борющийся человек. Но той значимости, которая

пропитывает эти сферы, частично принадлежащие прошлому, частично — жизненному кругу, чуждому для немецкого гения, — недостаточно для того, чтобы полностью уверовать в боевое использование людей и машин, что требовалось страшному вооруженному походу против всего мира.

Поэтому мы тем более должны стремиться узнать, каким образом элементарный материал, первобытная сила народа остается незатронутой этим. В начале этого крестового похода разума, к которому призываются народы мира, зачарованные столь прозрачной, столь очевидной догматикой, мы с удивлением видим, как немецкое юношество начинает требовать оружия, — так пылко, так восхищенно, с такой жадной смертью, как оно не делало этого, пожалуй, никогда за всю нашу историю.

Если бы пришлось спросить кого-нибудь из них, для чего он идет на поле битвы, то, разумеется, можно было бы рассчитывать лишь на весьма расплывчатый ответ. Вы едва ли услышали бы, что речь идет о борьбе против варварства и реакции, или за цивилизацию, освобождение Бельгии или свободу морей, — но вам, вероятно, дали бы ответ: «за Германию», — и это было тем словом, с которым полки добровольцев шли в атаку.

И все же этого глухого огня, пылавшего за неясную и невидимую Германию, достаточно было для напряжения, которое пронизывало народы дрожью до самых костей. Что было бы в том случае, если бы он обладал направлением, сознанием, *гештальтом*?

## 6

Тотальная мобилизация, как мера организаторской мысли, есть лишь указание на ту высшую мобилизацию, какую проводит в нас время. *Этой* мобилизации присуща собственная закономерность, и человеческий закон, если только он хочет иметь силу, должен соответствовать ей.

Ничто не может лучше подтвердить это положение, чем тот факт, что в течение войны способны подняться силы, обращенные против самой войны. Но все же у сил этих намного более тесное родство с началами войны, чем то может показаться. Когда тотальная мобилизация вместо армий мировой войны начинает приводить в движение массы гражданской войны, то она изменяет свою сферу, но не свой смысл. С этого момента действие врывается туда, куда не способен дойти военный приказ о мобилизации. Все выглядит так, словно силы, которые нельзя было собрать для войны, потребовали теперь введения в кровавый бой. Итак, чем единодушнее и прочнее война с самого начала привлекает к себе все множество сил, тем более надежным и верным будет ее ход.

Мы видели, что в Германии была возможность лишь неполной мобилизации духа прогресса. Намного более благоприятно дело обстояло, например, во Франции, — и это можно понять, привлекая тысячи случаев, и среди них — случай Барбюса. Он, будучи сам по себе отъявленным противником войны, не усматривал, впрочем, никакой иной возможности соответствовать своим идеям, кроме как с самого начала сказать «да» *этой* войне, поскольку в его сознании она

отображалась как борьба прогресса, цивилизации, гуманности и даже самого мира против сопротивляющейся всему этому стихии. «Убить войну в чреве Германии!».

Какой бы, впрочем, сложной не была эта диалектика, выводы из нее принудительны по своей природе. Человек, по-видимому, ни в малейшей степени не склонный к военному конфликту, оказывается все же не в состоянии отклонить вручаемое ему государством оружие, потому что его сознанию не дано возможности какого-либо иного выхода. Мы можем видеть его, как он, мучаясь вопросами, стоит на посту в бескрайней пустыне окопов, а затем, когда приходит пора, он оставляет эти окопы, как и любой другой, идя в атаку через страшный огневой заслон битвы военной техники. Но что же тут, в конце концов, удивительного? Барбюс — это такой же воин, как и любой другой, воин гуманности, которая не может обходиться без заградительного огня и газовых атак или даже гильотины, как не могла и христианская церковь обойтись без мирского меча. В самом деле, такой Барбюс должен был жить во Франции, чтобы в этой мере быть затронутым мобилизацией.

Но немецкие барбюсы очутились в более тяжелом положении. Лишь разрозненная часть интеллигенции с самого первого дня заняла нейтральную позицию, решившись на открытый саботаж ведения войны. Намного большая часть предприняла попытку подстроиться под шаг выступавших войск. Мы уже привели в пример немецкую социал-демократию. При этом мы отвлекаемся от факта, что последняя, вопреки своей интернациональной догматике, состояла тем не менее

из немецких рабочих, и поэтому тоже могла быть героически подвигнута на борьбу. Нет, и в самой своей идеологии она шла к ревизии, позже поставленной ей в вину как «предательство по отношению к марксизму». Как это происходило в деталях, можно увидеть из произносившихся в критическое время речей социал-демократического вождя и депутата рейхстага Людвиг Фрэнк. В сентябре 1914 года он сорокалетним добровольцем пал от ранения в голову в сражении при Нуассонкуре. «Мы, лишенные отечества парни, знаем, что хотя мы и пасынки, однако все же остаемся сынами Германии, и что наша обязанность — отстаивать нашу Родину в борьбе против реакции. Если разразится война, то и солдаты социал-демократы добросовестно исполнят свой долг» (29 августа 1914 года). В этом показательном предложении в скрытом виде уже заложены семена образов войны и революции, которые держала наготове судьба.

Для того, кто желает изучить эту диалектику во всех ее деталях, изобилие мелкого материала могут предоставить ежегодные военные выпуски газет и журналов прогрессивной ориентации. Так, Максимилиан Гарден, издатель «Цукунфт», наверное, наиболее известный среди журналистов вильгельмовского периода, начал согласовывать свою публичную деятельность с целями Большого генерального штаба. Интересно указать еще и на такой симптом: он театрально изображал радикализм войны с таким же успехом, с каким позднее — радикализм революции. «Симплициссимус» же занимал шовинистскую позицию, — этот орган, прибегающий к оружию нигилистической шутки, настраивал как против всяких союзов, так и

против армии. Впрочем, можно отметить, что качество этого журнала снижается в той мере, в какой увеличивается в нем патриотический элемент, — то есть в той мере, в какой он оставляет область, где он силен.

Господствующий здесь внутренний разлад лучше всего просматривается, наверное, в личности Ратенау. Вследствие этого разлада его фигура обретает трагический ранг в глазах того, кто стремится воздать ей должное. Как возможно, что Ратенау, который был в значительной мере затронут мобилизацией, играл роль в организации большого вооружения и еще незадолго до краха развизал мысль «восстания в массах», вскоре после этого мог сформулировать известное высказывание о мировой истории, потерявшей бы — как говорил он, — свой смысл, если бы представители рейха вошли в столицу через Бранденбургские ворота как победители? Здесь очень отчетливо проступает то, как мобилизация подчиняет себе технические способности человека и все-таки не в состоянии проникнуть в его сердцевину.

## 7

Ликование, которым приветствовали крах тайная армия и тайный генеральный штаб, имевшиеся у прогресса в Германии, в то время как последние воины еще стояли против врага, было похоже на ликование по случаю выигранной битвы. Оно, как троянский конь, было лучшим союзником западных армий, которым вскоре предстояло перейти Рейн. В том слабом возгласе протеста, с которым существоую-

шие авторитеты поспешно освобождали свои места, сказалось признание так называемого нового духа. Между противниками не существовало никакой существенной разницы.

В том числе, это является причиной, по которой переворот произошел в Германии в относительно безобидных формах. Так, министры социал-демократы кайзеровского рейха во время решающих дней могли еще подумывать о том, не сохранить ли им корону. Чем же все это могло быть, как не видимостью фасада? Здание уже давно было до такой степени перегружено прогрессистскими ипотеками, что относительно действительного владельца не оставалось более никакого сомнения.

Но причиной, по которой поворот произошел в Германии не так резко, как, например, в России, является не только то, что его подготовили сами авторитеты. Мы видели, что значительная часть сил прогресса уже была задействована в войне. Степень затраченного там движения не могла быть более достигнута во внутреннем столкновении. И если говорить о личностях, то большая разница — приходят ли к кормилу власти прежние министры, или же революционная аристократия, сформировавшаяся в сибирском изгнании.

Германия проиграла войну, приобретя более сильную связь с пространством Запада, выиграв цивилизацию, свободу и мир в барбюсовском духе. Однако как можно было ждать иного результата, если мы сами торжественно поклялись быть причастными к этим ценностям и ни за что не отважились бы вести борьбу за пределами той «стены, которая опоясывает Европу». Это предполагало бы более глубокое освоение

собственных ценностей, иные идеи и иных союзников. Раздуть огонь субстанции можно было бы вместе с оптимизмом прогресса и посредством него, как это намечается в России.

## 8

Посмотрим на мир, вышедший из великой катастрофы, — какое единство воздействия, сколько строгой исторической последовательности! Действительно, если бы собрали на одном тесном пространстве все чуждые цивилизации духовные и материальные образования, сохранившиеся к концу XIX века и проникшие в наше время, а затем открыли бы по ним огонь из всех орудий мира, то успех этого не мог бы быть более однозначным.

Старый звон колоколов Кремля перестроился на мелодию интернационала. В Константинополе вместо старых арабесок Корана дети выводят латинские буквы. В Неаполе и Палермо фашистские полицейские организуют оживленную южную жизнь по правилам современной дисциплины движения. В отдаленнейших и почти все еще сказочных землях торжественно открываются здания парламента. Абстрактность, так же, как и жестокость человеческих отношений, возрастает день за днем. На смену патриотизму приходит новый, проникнутый сильными сознательными элементами национализм. В фашизме, в большевизме, в американизме, в сионизме, в движениях цветных народов прогресс переходит в прежде немислимое наступление; он как бы делает кувырок, дабы после описанного им круга искусств-



венной диалектики снова продолжить свое движение на самой простой плоскости. Он начинает подчинять себе народы в формах, уже мало чем отличающихся от форм абсолютного режима, если не принимать во внимание гораздо меньшую степень свободы и комфорта. Во многих местах маска гуманности почти сорвана. Вместо нее выступает наполовину гротескный, наполовину варварский фетишизм машины, наивный культ техники, — и именно в тех местах, где отсутствует непосредственное, продуктивное отношение к динамическим энергиям, и дальнобойные орудия вместе с боевыми эскадрильями, вооруженными бомбами, суть лишь военное выражение их разрушительного победоносного похода. Одновременно возрастает ценность масс; доля согласия, доля публичности становятся решающими факторами политики. Капитализм и социализм, в частности, являются двумя большими жерновами, меж которых прогресс размалывает остатки старого мира, а в конце концов, и самого себя. На протяжении более чем столетнего периода «правые» и «левые» играли в мяч, перебрасывая друг другу ослепленные оптическим обманом избирательного права массы; постоянно казалось, будто у одного из противников еще можно было найти прибежище от притязаний другого. Сегодня во всех странах все однозначнее обнажается факт их тождества, и, словно под железными зубцами клещей, исчезает даже сон свободы. Великолепное и ужасающее зрелище представляют собой движения все более однообразных по своей форме масс, на пути которых мировой дух раскидывает свои сети. Каждое из этих движений способствует тому, что они захватывают еще

надежнее и безжалостнее, и здесь действуют такие виды принуждения, которые сильнее, чем пытки: они настолько сильны, что человек приветствует их ликованием. За каждым выходом, озаменованным символами счастья, его подстерегают боль и смерть. Пусть радуется тот, кто во всеоружии вступает в эти места.

## ВЗГЛЯД НАЗАД

*23 августа 1980 г.*

Долгие занятия другими вопросами побудили меня теперь уже окончательно пересмотреть это сочинение, со времени появления которого прошло почти пятьдесят лет. В течение десятилетий я делал это много раз, ибо печаталось оно часто. Это испытание должно было освободить субстанциальное ядро от акцидентальных обстоятельств.

От непредвзятого читателя не укроется, что это ядро действительно как и прежде и будет, пожалуй, оставаться таковым еще долгое время. Процесс вооружения мировых держав приобрел планетарные масштабы; этому соответствует их потенциал. Маленькие государства, такие, как недавняя Эфиопия, находясь в тяжелом положении, также угрожают тотальной мобилизацией. Это понятие вошло в политику: как в ведущуюся там полемику, так и в реальность. Каждый вооружается, и каждый упрекает в этом другого. Это одновременно ощущается как заколдованный круг и празднуется на парадах.

Очевидно, тогда было увидено нечто принципиальное. Освобождение ядра от шелухи должно открыть эту перспективу. В противоположность этому, особенность положения между двумя мировыми войнами отступает на второй план, в частности, положение юного немца после четырех лет смертельного напряжения и Версальского договора. Это никак не меняет его *исторического* значения; для него остается действительной первая редакция.

# **О БОЛИ**

«Из всех животных, которые употребляются человеком в пищу, раки, по-видимому, умирают самой мучительной смертью, поскольку их помещают в холодную воду и ставят на сильный огонь».

Поваренная книга для домашнего хозяйства всех сословий. Берлин, 1848.

«Does a little booby cry for any ache? The mother scolds him in this fashion: „What a coward to cry for a trifling pain! What will you do when your arm is cut off in battle? What when you are called upon to commit harakiri?“».

Inazo Notibe. «Bushido». Tokyo, 2560 (1900).\*

## 1

Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит *боль*; она есть самое суровое испытание в той цепи испытаний, которые обычно называют жизнью. Поэтому исследование боли, оказывается, пожалуй, непопулярным занятием; тем не менее оно не только показатель само по себе, но вместе с тем освещает и ряд вопросов, которыми мы занимаемся ныне. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к наиболее сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Приближаясь к тем точкам, где человек оказывается способным справиться с болью или превзойти ее, можно обрести доступ к истокам его власти и к той тайне, которая

---

\* «Плачет ли дитя оттого, что у него что-нибудь болит? Тогда мать укоряет его такими словами: „Что за малодушие плакать из-за пустячной боли! А что ты станешь делать, если в битве тебе отрубят руку? А если тебе придется совершить харакири?“». Иназо Нотибе. «Бусидо». Токио, 2560 (1900) (англ.).

кроется за его господством. Скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты!

Боль как критерий неизменна; изменяется, скорее, тот способ, каким человек поверяется этим критерием. Со всякой значительной сменой основного настроения изменяется также отношение, в котором человек находится к боли. Это отношение никоим образом не фиксировано; оно, скорее, ускользает от сознания, и все же это лучший пробный камень для того, чтобы распознать расу. Наше время предоставляет хорошую возможность наблюдать этот факт, ибо мы уже располагаем новым и своеобразным отношением к боли, не имея обязательных норм, которые были бы недавно даны нашей жизни.

Так вот, рассматривая это новое отношение к боли, мы намереваемся подняться до той точки замера и наблюдения, откуда мы, вероятно, сможем заметить еще невидимые на поверхности вещи. Наша постановка вопроса звучит так: какая роль отводится боли внутри новой расы, только что заявившей о себе проявлениями своей жизни, расы, которая была названа нами *рабочим*?

Что касается внутренней формы этого исследования, то мы рассчитываем на эффект снаряда замедленного действия, и мы обещаем внимательно следующему за нами читателю, что пощады ему не будет.

## 2

Обратим же наш взгляд сначала на свойственную боли механику и экономию! Правда, мы чувствуем себя неудобно, слыша в сочетании друг с другом слова

*боль и механика*, — и основано это на том, что единственный человек стремится поместить боль в царстве случая, в той зоне, из которой можно ускользнуть и убежать или которая, во всяком случае, не должна с необходимостью доставать до него.

Если все же проявить хладнокровие, подобающее анализу этого предмета, и посмотреть взглядом врача или зрителя, который с ярусов цирка наблюдает, как проливается кровь чужих бойцов, то вскоре можно будет почувствовать, что боли присуща надежная и неумолимая хватка. Нет для нас ничего более верного и предопределенного, чем эта самая боль; она подобна жерновам, которые размалывают выскакивающее зерно более тонким и плотным движением, или же она подобна тени жизни, избежать которой не дает возможности ни один договор.

Неумолимость этой хватки особо отчетливо проступает при рассмотрении крошечных, стиснутых в коротком промежутке времени жизней. Так, нам кажется, что над насекомым, которое движется у наших ног между стеблей растений точно между стволов дремучего леса, нависла невообразимая угроза. Его короткий путь похож на путь ужасов, по обеим сторонам которого выстроился чудовищный арсенал острых клещей и пастей. И все же путь этот — лишь подобие нашего собственного. Разумеется, о таком положении дел мы склонны забывать в эпохи безопасности, что не мешает нам тот час же со всей отчетливостью вспомнить об этом, когда становится видимой зона элементарного. Мы неизбежно встроены в эту зону, и ускользнуть из нее нам не позволит никакой род оптического обмана. Тем не менее иногда мы пируем и странствуем на ее поверхности, как Синдбад

Мореход со своими спутниками — на спине у огромной рыбы, которую он принимал за остров.

Песнопение «*Media in vita*»\* берет свое начало в настроении, которому ведома эта угроза. Превосходные образы перестройки жизни и окружения ее болью дают нам также большие картины Иеронима Босха, Брейгеля и Кранаха, к смыслу которых мы приближаемся только теперь и которые еще совсем недавно считались абсурдными выдумками. Эти картины намного более современны, нежели принято думать, и неслучайно техника играет в них такую значительную роль. Многие картины Босха с их ночными огнями и адскими трубами похожи на индустриальные ландшафты в разгаре работы, а «Большая преисподняя» Кранаха, находящаяся у нас в Берлине, содержит полный технический инструментарий. Один из часто повторяющихся мотивов — это катящийся шатер, из отверстия которого торчит большой сверкающий нож. Вид таких машин вызывает особый род ужаса; они суть символы облеченного в механические одежды нападения, которое хладнокровнее и ненасытнее, чем любое другое.

### 3

Обстоятельство, чрезвычайно усиливающее хватку боли, заключается в ее безразличии к нашим иерархиям. Император, который, после того как его попросили отойти от линии огня, возразил: слышал ли кто-нибудь, чтобы император когда-либо пал в сражении, — находился во власти одного из тех заблужде-

---

\* «Посреди жизни» (лат.).



ний, которым мы слишком охотно отдаемся. Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы защищена от боли. Наши сказки завершаются фразой о том, что герой, пройдя через многие опасности, живет в счастье и довольстве, и такие заверения нам по душе, ибо мы успокаиваемся, когда узнаем о существовании места, недоступного для боли. То, что жизни, собственно говоря, не хватает удовлетворительного завершения, выражается во фрагментарном характере многих больших романов, которые либо являются неоконченными, либо увенчаны искусственным плафоном. Такой искусственный плафон завершает, впрочем, и «Фауста» наподобие временного навеса.

Тот факт, что боль не признает наши ценности, легко заслоняется в спокойные времена. И все-таки мы уже начинаем смущаться, когда счастливого, богатого или сильного человека поражает одна из тех самых обыкновенных случайностей. Так, болезнь Фридриха III, который умер от часто наблюдаемого в клиниках рака гортани, вызвала почти невероятное удивление. Очень похожее чувство овладевает нами тогда, когда мы рассматриваем анатомию одного из тех хаотично изрешеченных или испещренных злокачественными включениями органов, при взгляде на которые открывается долгий путь индивидуального страдания. Как безразлично для ростка гибели, разрушает ли он соломинку или гениальный мозг! К этому чувству отсылает гротескная, но значительная шекспировская строфа:

Истлевшим Цезарем от стужи  
Задельывают дом снаружи,

и Шиллер в своей «Прогулке под липами» подробно останавливается на лежащей здесь в основании мысли.

В эпохи, которые мы обычно называем необычными, значительно отчетливее проступает слепой характер угрозы. На войне, когда снаряды с большой скоростью свистят мимо нашего тела, мы ощущаем, пожалуй, что отклонить их от нас хотя бы на волосок не поможет ни уровень образованности, ни добродетель, ни мужество. В той мере, в какой возрастает угроза, свой натиск на нас увеличивает и сомнение в значимости наших ценностей. Там, где дух все видит поставленным под вопрос, он склонен к катастрофическому взгляду на вещи. К числу вечных спорных вопросов относится большая полемика между нептунистами и вулканистами; в то время как истекшее столетие с его господством идеи развития может быть обозначено как нептуническая эпоха, мы все более теперь тяготеем к вулканическому взгляду.

Подобная склонность лучше всего узнается в особенных предпочтениях духа; так, сюда относится тяга к упадническому настроению, которая не только завоевала сегодня широкие сферы науки, но из которой становится ясной и притягательная сила многочисленных сект. Апокалиптические видения накапливаются; так, в историческом исследовании начинают рассматриваться возможности полной гибели, идущей либо изнутри, через смертельные заболевания культуры, либо снаружи, через нападение самых чужих и безжалостных сил, как, скажем, «цветных» рас. В связи с этим дух чувствует притягательность картины мощных империй, захлебнувшихся в собственной крови. Так, молниеносное разрушение южно-

американских культур может послужить примером того, что в безопасном существовании отказано даже самым великим из известных нам образований. В такие эпохи вновь заявляет о себе правоспоминание о затонувшей Атлантиде. Археология есть собственно та наука, которая посвящена боли; в слоях земли она отыскивает империи за империями, от которых не осталось даже имен. Печаль, охватывающая нас в таких местах, чрезмерна, и, наверное, ни в одном мировом свидетельстве она не нашла себе более проникновенного изображения, чем в величественной и загадочной сказке о Медном городе. В этом вымершем и окруженном пустынями городе эмир Муса на плите из китайского железа читает такие слова: «Я имел четыре тысячи гнедых коней и великолепный дворец, моими женами были тысяча дочерей царских, высокогрудых дев, подобных луне; я был осчастливлен тысячью сыновей, подобных диким львам, и прожил я, радуясь сердцем и душой, тысячу лет; я накопил богатства, которых не имел ни один из царей земных, ибо думал я, что мое блаженство продлится вечно. Но внезапно обрушилась на меня губительница всех наслаждений и разлучительница всех связей, разрушительница и опустошительница жилищ и населенных мест, губительница больших и малых, младенцев, детей и матерей — та, которой неведома жалость к бедняку из-за его бедности, которая не страшится царя, поскольку она также повелевает и воспрещает. Воистину, мы жили в этом дворце целы и невредимы, пока нас не постиг приговор». Далее на столе из желтого оникса выгравированы такие слова: «За этим столом пировали тысяча царей, слепых на правый глаз, и тысяча, слепых на левый, и еще одна

тысяча со зрячими глазами, и все они покинули этот мир и обрели свое пристанище в могилах и гробницах».

С пессимистическим рассмотрением истории соревнуется астрономия, проецирующая момент разрушения в планетарные пространства. Удивительное участие пробуждает в нас сообщение о красном пятне на Юпитере. Также и око познания замутняется нашими самыми тайными желаниями и страхами; в пределах науки это лучше всего просматривается в сектантском характере, который внезапно приобретает какое-нибудь ее ответвление, как, скажем, «учение о мировом леднике». Затем, примечательным оказывается то внимание, которое как раз в последние годы привлекли к себе большие кратеры, возникшие, по всей видимости, вследствие попаданий в нашу земную кору метеоров. И, наконец, война, которая издавна составляла часть апокалиптических видений, тоже предлагает силе воображения богатую пищу. Изображения будущих схваток были популярны уже перед мировой войной; и сегодня из них вновь складывается обширная литература. Своеобразие этой литературы заключается в той роли, какую играет в ней тотальное разрушение; человек знакомится с видом будущих руин, на которых празднует триумф неограниченное господство механической смерти. То, что речь здесь идет о чем-то большем, нежели о литературных настроениях, мы узнаем из действительных мер предосторожности, идущих уже полным ходом. Так, подготовка к газовой защите, как она сегодня проводится во всех цивилизованных государствах, завлакивает жизнь смутным чувством угрозы. Дефо изображает в своем интересном отчете о чуме в Лон-

доне, как наряду со знаменитыми чумными докторами в преддверии настоящего распространения черной смерти в город, будто авангард адского дыхания, вливается армия магов, шарлатанов, пророков, еретиков и статистов. Подобные ситуации повторяются снова и снова, ибо глаз человеческий при виде неизбежной и непреступной для его ценностных порядков боли вынужден высматривать те пространства, которые предоставляют защиту и безопасность. Вместе с чувством сомнительности и угрозы, под которой находится вся сфера жизни, возрастает потребность обратиться к измерению, уводящему от неограниченного господства и общезначимости боли.

## 4

Эта потребность воздействует еще более странно, когда ее сравнивают с упованиями эпохи высокого уровня безопасности, ценности которой еще всецело доступны для нас. Последний человек, которого предсказывал Ницше, уже принадлежит истории, и если мы пока еще не достигли 2000 года, то все-таки кажется вполне очевидным, что все будет выглядеть совершенно иначе, чем описал в своей утопии Беллами. Мы находимся в ситуации странников, долгое время шагавших по замерзшему озеру, ледяной покров которого при перемене температуры начал распадаться на большие пласты. Поверхность общих понятий начинает становиться ломкой, и глубина стихии, которая имелась всегда, проблескивает из темноты сквозь щели и соединения.

В этой ситуации теряет свою притягательную силу тот взгляд, что боль является предрассудком, который

может быть решительным образом устранен разумом. Это понимание есть не только надежный признак всех сил, связанных с Просвещением; кроме того, оно вызвало длинный ряд практических мероприятий, типичных для века человеческого духа, среди которых были такие, как ликвидация пыток и работорговли, изобретение громоотвода, прививка от оспы, наркоз, страхование и весь мир технического и политического комфорта. Мы пока признаем все эти великие вехи прогресса, и там, где они, скажем, служат предметом насмешек, причиной этому является романтический дендизм, которым охотно довольствуется утонченный дух посреди безграничного демократического пространства. Однако этому нашему признанию уже не хватает того примечательного культового привкуса, который еще известен нам на примере наших отцов. Нам, которые с рождения сполна насладились всеми этими благами как чем-то само собой разумеющимся, должно, скорее, казаться, будто с ними, в сущности, мало что изменилось.

Отрицание боли как необходимой составной части мира расцвело после войны во второй раз. Эти годы ознаменованы странным смешением варварства и гуманности; они подобны архипелагу, где рядом с островами каннибалов расположена земля вегетарианцев. Экстремальный пацифизм рядом с чудовищным ростом вооружений, роскошные тюрьмы рядом с жилищами безработных, ликвидация смертной казни, в то время как под покровом ночи белые и красные режут друг другу глотки — все это вполне напоминает сказку, отражая тот злодейский мир, где только ряд гостиничных фойе сохраняет видимость безопасности.

## 5

Воспоминания о XIX веке уже стали причиной появления позднеромантической литературы. По Франции третьего Наполеона и Третьей Республики, по старой Австрии, по вильгельмовской Германии, по викторианской эпохе и белой жизни в колониях сегодня тоскуют так же, как прежде тосковали по времени до 1789 года, о котором Талейран сказал, что никто родившийся после него не изведал настоящей жизни.

Эта тоска кажется оправданной, если считать мерилом личную свободу и степень, в какой отдельного человека оберегают от боли. Уровень безопасности в самом деле исключителен; он возникает вследствие счастливого совпадения ряда обстоятельств. К этим обстоятельствам принадлежит тот факт, что после того как время религиозных разногласий давно отошло в прошлое, даже новые национальные государства находятся в состоянии относительного насыщения, которое обеспечивает сохранение равновесия. Внутреннюю политику, после того как победа третьего сословия стала очевидной, также характеризует высокая степень предсказуемости; правила игры бюргерства признаются как старыми сословиями, так и развивающимися классами. С уничтожением предрассудков, могущих вызвать боль, прогресс связывает завоевание земного круга без пороха, которое неким магнетическим образом обязует к выплате дани самые отдаленные страны.

Это распространенное состояние безопасности, молниеносно открывшееся глазам Достоевского во время его короткого пребывания в Париже, отбрасы-

вает во все стороны блики счастья. Превращение вещей во всеобщие понятия, скажем, превращение товаров в деньги или превращение естественных связей в юридические, имеет своим следствием чрезвычайную легкость и свободу жизни. Эта легкость усиливается за счет того, что тонкое чутье и способность к эстетическому наслаждению еще не окончательно утрачены. Увеличение импотенции, напротив, имеет своим следствием особое чувство традиционных ценностей; третье бюргерское поколение — это поколение коллекционеров, знатоков, историков и путешественников. Индивидуальная любовь достигла того уровня, который в известной степени превосходит уровень «Опасных связей», ибо способность к наслаждению еще сохранилась, тогда как его границы уже стерлись. Трагический исход, как в «Поле и Виргинии» или в «Вертере» или даже в «Мадам Бовари», оказывается излишним, — классические описания позднебюргерских жизненных отношений дает Мопассан. Уже сегодня, читая такие описания, мы чувствуем, сколь основательно мы утратили обаяние этих утаиваний и обнаружений, и уже просмотр фильма рубежа веков с женскими модами, которые столь сильно ориентированы на получение удовольствия и совсем не рассчитаны на спорт или работу, погружает нас в состояние исторических грез.

*Широта* участия в наслаждениях и материальных благах есть знак процветания. Как символы здесь, наверное, в первую очередь выступают большие кафе, в залах которых охотно воспроизводятся стили рококо, ампир и бидермайер и которые можно назвать подлинными дворцами демократии. Здесь ощущается волшебный и обезболивающий уют, странно раство-



ренный в воздухе и наполняющий его наркотическими парами. В облике городских улиц бросается в глаза, что толпы народа одеты хотя и безвкусно, но одинаково и «прилично». Зрелище голой неприкрытой бедности можно увидеть лишь изредка. Единичный человек находит множество удобств, которые устраняют возможность трения; среди них — накатанный путь к образованию и выбору профессии по склонности, открытый рынок труда, договорный характер почти всех обязательств и неограниченная свобода передвижения. Картину дополняет то, что сказочному совершенствованию технических средств присущ чистый характер комфорта, — кажется, все сделано только для того, чтобы освещать, обогревать, двигать, увеселять и притягивать потоки золота.

Пророчество о Последнем человеке сбылось скоро. Оно точно — вплоть до того положения, что Последний человек живет дольше всех. Его эпоха осталась уже позади.

## 6

И все же ничто, кроме боли, не предъявляет к жизни более определенных требований. Там, где есть недостаток боли, равновесие восстанавливается по законам совершенно определенной экономии, и, изменив известную фразу, можно говорить о «хитрости боли», которая добивается своей цели любыми путями. Поэтому если мы видим перед собой состояние повсеместного удовлетворения, можно сразу же спросить, кто несет на себе тяготы. Как правило, не нужно далеко идти в поисках боли, и так мы обнаруживаем, что даже здесь, будучи в полной безопасности, еди-

ничный человек не совсем избавлен от боли. Искусственная изоляция от элементарных сил хотя и способна остановить их грубое прикосновение и прогнать резкие тени, но не способна устранить тот рассеянный свет, которым вместо этого боль начинает наполнять пространство. Сосуд, закрытый для сильной струи, наполняется по каплям. Так, скука есть не что иное, как растворение боли во времени.

Другая форма этого невидимого влияния обнаруживается в чувстве отравленности. Так, душевная боль есть одна из низших разновидностей боли;<sup>1</sup> она принадлежит к числу болезней, которые порождает упущение жертвы. Вероятно, поэтому ничто так не характерно для рубежа веков, как господство психологии как науки, которая находится в интимнейшем отношении к боли: это доказывает факт ее последовательного вторжения во врачебную науку. К этой сфере также относится настроение глухого подозрения — ощущение злой разлагающей интриги — либо в отношении экономического, духовного, морального, либо в отношении расового состава. Это ощущение приводит к ситуации всеобщих обвинений — к литературе слепцов, непрерывно ищущих виноватых.

Еще более ужасное лицо имеет боль там, где она достигает истоков *зачатия*. Здесь мы не встретим ни одной значительной силы, у которой бы не перехватывало дыхания от недостатка воздуха, — ранг и глу-

---

<sup>1</sup> А именно в той мере, в какой одним из признаков боли является то, что она задевает всю действительность в целом. Внутри терминологии, в которой душа и действительность равнозначны, существует поэтому *только* душевная боль, например, у Августина: «Ибо ощущать боль свойственно душе, а не телу» (О Граде Божьем, XXI, 3).

бина непосредственно связаны друг с другом. Любая удовлетворенность является подозрительной, ибо господство всеобщих понятий не может удовлетворить никого, кто имеет какое-то отношение к вещам. Отсюда неудивительно, что это время видит в гении, то есть в обладателе наивысшего здоровья, одну из форм безумия; аналогично роды описываются как случай болезни, а солдата уже не могут отличить от палача. Тот, кто считает пытку орудием средневековья, тот скоро будет убежден в другом, если погрузится в чтение «Ессе homo»,\* переписку Бодлера или какого-нибудь другого ужасного документа, которые дошли до нас в столь большом количестве. В мире, полном низших оценок, любая величина придавливается к земле страшнее, чем свинцовым грузом, и зона предельного страдания, куда способен проникнуть приглушенный взор, символизируется Каспаром Хаузером и Дрейфусом. В боли отдельного значительного человека наиболее убедительно отражается предательство, совершаемое духом по отношению к закону жизни. То же самое имеет силу для значительных состояний вообще, например, для юношества, которое оторвано от своей «пылающей стихии», как о том сожалеет Гёльдерлин в своем стихотворении «К разумному советчику».

Если рассматривать вторжение боли в область зачатия, нельзя также забывать о нападении на еще не рожденных детей, которая характеризует Последнего человека как с его слабой, так и с его животной стороны. Правда, дух, который обнаруживает недостаток способности различения в смешении войны с

---

\* «Се человек» (лат.).

убийством или преступления с болезнью, в борьбе за жизненное пространство с необходимостью выберет *тот* способ убийства, который является наименее безопасным и наиболее жалким. В ситуации адвоката воспринимаются только страдания обвинителей, но не страдания беззащитных и молчаливых.

Итак, природа такой безопасности основана на оттеснении боли на периферию в пользу посредственного удовлетворения. Наряду с пространственной экономией существует еще одна, временная, которая состоит в том, что сумма незатребованной боли складывается в невидимый капитал, умножаемый с помощью начисления сложных процентов. Наряду с искусственным наращиванием дамбы, которая отделяет человека от элементарных сил, усиливается и угроза.

## 7

Но что, собственно, значит увеличение сентиментальности, которое можно наблюдать уже более ста пятидесяти лет? Мы будем напрасно пытаться перенестись в тот мир, в котором семнадцатилетний Ориген заклинал своего плененного отца не отвергать мученической смерти из-за своей семьи, или в тот мир, в котором после взятия приступом германских заграждений из повозок была привычной картина умерщвления женщинами сначала своих детей, а потом и самих себя.

Подобного рода свидетельства ясно показывают нам, что оценка боли не одна и та же во все времена. Очевидно, существуют позиции которые позволяют человеку отстраняться от областей, отданных в без-

раздельное управление боли. Это отделение проявляется в том, что человек способен обращаться с пространством, через которое он причастен к боли, то есть с телом, как с предметом. Правда, эта процедура предполагает командную высоту, откуда тело рассматривается как форпост, который человек способен с большого расстояния использовать в борьбе и пожертвовать им. В таком случае все меры сводятся не к тому, чтобы убежать от боли, а чтобы ее вытерпеть. Поэтому как в героическом, так и в культовом мире мы встречаем совершенно иное отношение к боли, чем в мире сентиментальности. А именно: в последнем случае, как мы видели, речь идет о том, чтобы оттеснить боль и изолировать от нее жизнь, тогда как в первом случае важно включить ее и приспособить жизнь к тому, чтобы она в каждый момент была вооружена для встречи с ней. Итак, здесь боль тоже играет значительную роль, однако прямо противоположную. Это вытекает уже из того, что жизнь стремится сохранять постоянную связь с болью. Ибо именно это и значит дисциплина, будь то жреческо-аскетическая, которая ориентирована на умерщвление, будь то военно-героическая, которая ориентирована на закалку. И здесь и там важно держать жизнь в полном повиновении, чтобы в любое время можно было поставить ее на службу высшему порядку. Поэтому решение существенного вопроса о ранге имеющихся ценностей зависит как раз от того, в какой мере тело может рассматриваться как предмет.

Тайна современной сентиментальности кроется в том, что она соответствует миру, в котором тело тождественно с самой ценностью. Из данной конста-

тации проясняется отношение этого мира к боли как к власти, которой нужно избегать в первую очередь, ибо тут боль задевает тело не как некий форпост, а подобно тому, как главная власть задевает существенное ядро самой жизни.

## 8

Сегодня, пожалуй, мы уже вправе сказать, что мир наслаждающегося собой и жалеющего себя самого отдельного человека остался позади нас и что его ценности, еще распространенные, терпят поражение по всем решающим пунктам или опровергаются следствиями из них. Нет недостатка в усилиях обрести мир, в котором были бы значимы новые и более мощные ценности. Как бы ни приветствовались эти отдельные усилия, все же действительный прорыв пока никак не может считаться удавшимся. Это связано с тем, что командная высота, при взгляде с которой атака боли приобретает чисто тактическое значение, не может быть создана искусственными средствами. Недостаточно, в частности, одних усилий воли, ибо речь здесь идет о бытийном превосходстве. Так, скажем, нельзя искусственно воспитать «героическое мировоззрение» или проповедовать его с кафедр, ибо хотя это мировоззрение и дается герою правом рождения, однако благодаря тому способу, каким оно захватывает массу, оно опускается до ранга всеобщих понятий. То же самое имеет силу для расы вообще; раса существует и узнается по своим действиям. Подобно этому тотальное государство предполагает бытие по меньшей мере одного тотального

человека; а чистая воля порождает в лучшем случае тотальную бюрократию. Еще очевиднее это положение вещей становится при взгляде на отношения в области культа; приближение бога не зависит от человеческих стараний.

Эта констатация важна постольку, поскольку она содержит в себе критерий оценки уровня вооружения. Чтобы обрисовать то, как сильно возросли требования готовности, приведем один пример из практики. Недавно в газетах было опубликовано сообщение о новой торпедоносной лодке, которая будет разрабатываться для применения в японских военно-морских силах. Удивительно в этом оружии то, что оно управляется не механической, а человеческой силой, а именно, штурманом, который закрыт в маленькой кабине и которого можно рассматривать и как технический элемент, и в то же время как собственно разум снаряда.

Мысль, лежащая в основе этой странной органической конструкции, продвигает сущность технического мира немного вперед, делая самого человека одной из его составляющих, причем в более буквальном смысле, чем прежде. Если развить ее дальше, то мы вскоре увидим, что она теряет привкус курьеза, когда становится возможным реализовать ее в большем масштабе, то есть, когда появляется команда людей, которая намерена подчиняться ей. Так, скажем, самолеты конструируются как воздушные торпеды, которые с большой высоты нацеленно обрушиваются на жизненные узлы вражеского сопротивления и уничтожают их. Так возникает образ человека, которым в начале какого-то столкновения выстреливают, как из стволов пушек. Конечно, это было бы

самым плодотворным символом притязания на господство, какой только можно себе представить. Здесь с математической точностью исключается всякая возможность счастья, при условии, что под счастьем не подразумевают что-то совершенно иное. А это совершенно иное представление о счастье мы встречаем тогда, когда слышим, что генерал Ноги — одна из немногих фигур нашего времени, к которой применимо слово «герой», — «с глубоким удовлетворением» приветствует весть о гибели своего сына.

Если еще немного подумать об идее человеческого снаряда, то станет очевидно, что единичный человек, занимающий подобную позицию, будет превосходить любую толпу народа, какую только можно вообразить. Естественно, он будет иметь превосходство не только в том случае, если он обшит броней боеголовки, ведь речь идет о превосходстве не над человеком, а над пространством, в котором правит закон боли. Это превосходство есть высшее превосходство; все остальные оно включает в себя.

Правда, наш этос не расположен к таким способам поведения. Самое большее, где они возникают, — это в нигилистических пограничных ситуациях. В одном из романов Йозефа Конрада, описывающем происки русских революционеров в Лондоне и содержащем множество пророческих черт, фигурирует один анархист, который продумал до последних следствий идею индивидуальной свободы и который, чтобы избежать принуждения, постоянно носит с собой бомбу. Запалить ее можно с помощью резинового мяча, который он сжимает в руке при угрозе ареста.



## 9

Никакого лоска убеждений недостаточно для того, чтобы вынести суждение о положении вещей. Слова ничего не меняют. Они не больше, чем знаки изменения. Изменение же имеет место на деле, и оно наиболее ясно открывается глазу тогда, когда он пытается его созерцать, не давая ему оценки.

То изменение, которое происходит с единичным человеком, мы в другом месте обозначили как превращение индивида в тип, или в рабочего. Если приложить критерий боли, то это превращение представится в качестве операции, посредством которой зона сентиментальности вырезается из жизни, и с этим связано то, что вначале оно имеет характер утраты. К этой зоне относится прежде всего индивидуальная свобода, включая порожденные ей возможности свободного передвижения в различных областях. Ограничение этой свободы было одним из тех особых случаев, самый значительный из которых состоял в несении строевой службы в рамках всеобщей воинской повинности. Это отношение, как и многие другие, уже почти перевернулось; новое направление сводится к тому, чтобы видеть в службе состояние, определяющее жизнь. Неизбежность подобных изменений особо отчетливо проявляется на примере их развития в Германии, где им противостояла не только всеобщая внутренняя усталость, но и обязательство внешнеполитических договоров.

Вторая зона сентиментальности разрушается наступлением на всеобщее образование. Последствия этого наступления вовсе не так очевидны. Это про-

исходит по разным причинам; прежде всего потому, что понятия, на которых основан принцип всеобщего образования, понятие культуры прежде всего, охраняются как своего рода фетиш. Однако фактически это ничего не меняет, ибо наступление на индивидуальную свободу необходимо включает в себя наступление на всеобщее образование. Та точка, в которой это отношение становится очевидным, — это момент вынужденного отрицания свободного исследования. Но свободное исследование невозможно в состоянии, сущностный закон которого должен быть понят как закон вооружения, ибо оно наподобие слепца отворяет без разбору все ворота в пространстве, тогда как должны быть открыты только ворота власти. Свободное исследование, однако, становится излишним в тот момент, когда существует полная ясность относительно того, какие вещи следует знать, а какие нет. Здесь в силу высшего закона исследование получает задания, с которыми оно должно сообразовывать свой метод. Правда, для нас еще неприятна мысль о том, что знание будет сокращено; однако надо видеть, что это имело место в каждой действительно решающей ситуации. Так, в лице Геродота мы имеем пример географа и этнографа, знающего границы своей науки; так, революция Коперника была возможна лишь в ситуации, когда уже была утрачена способность к высшему решению. Тот факт, что в нашем пространстве тоже отсутствует высшее решение и что ему уже находится замена, будет рассмотрен далее; если бы оно несомненно имелось, то исчезло бы и чувство боли, которое нам еще предстоит испытать вследствие вторжения в сферу знания.

Можно предвидеть, что измененной ценности свободного исследования, как вершине, венчающей здание всеобщего образования, будет соответствовать широкая перестройка самой системы образования. Тут мы пока находимся в стадии эксперимента, но, пожалуй, можно предсказать, что воспитание пойдет по более ограниченному и в то же время более прямому пути, как то наблюдается везде, где на передний план выходит выведение типа. Это имеет силу для офицерских училищ и семинарий, в которых ход образования регламентировался и контролировался благодаря детальной дисциплине. Но также это имеет силу и для воспитания в рамках сословных порядков и ремесел, тогда как образцом индивидуального становления является «Исповедь», из которой выходит множество воспитательных романов и романов о формировании личности. Возможно, нам пока странно слышать о «новой» специализации воспитания, и тем не менее по всему видно, что мы на пути к ней. Если еще недавно, по меньшей мере теоретически, каждому отдельному человеку был открыт путь к высшим ступеням всеобщего образования, то уже сегодня это не так. Мы, например, наблюдаем, что в некоторых странах для подрастающего поколения из слоев, пользующихся меньшим доверием, уже закрыт доступ к определенным предметам. Равным образом, факт *numerus clausus*,\* наблюдаемый в случае отдельных профессий, высших школ или университетов, указывает на волю, которая из соображений государственного интереса намерена изначально отрезать от образования определенные слои общества, например,

---

\* Замкнутое число набора (*лат.*).

научный пролетариат. Правда, это всего лишь разрозненные признаки, которые все же указывают на то, что даже свободный выбор профессии более не относится к числу институтов, не подверженных никакому сомнению.

Коль скоро мы упомянули возможность специализированного образования, то это опять-таки предполагает существование высшей направляющей инстанции. Такое образование может иметь смысл лишь в том случае, если государство является как носитель тотального характера работы. Лишь в подобных рамках можно представить себе всю важность таких мероприятий, как, скажем, высылка целых частей населения в места колонизации. Меры такого рода уже включают в себя определение профессии для еще не рожденных детей. Также следует упомянуть, что и в случае военной подготовки, которая в большинстве цивилизованных государств начинается уже в школе, можно усматривать ограничение принципа всеобщего образования.

Меры такого рода, естественно, оказывают воздействие и на человеческий состав, или, лучше сказать, они суть указания на то, что этот состав начинает изменяться. Все они обнаруживают явную или неявную склонность к дисциплине. Дисциплиной мы назвали форму, посредством которой человек поддерживает контакт с болью. Поэтому нельзя удивляться, что в эту эпоху мы вновь стали чаще встречать лица, которые совсем недавно можно было найти лишь на последних островках сословных порядков и, прежде всего, в прусской армии, в этом мощном бастионе героических оценок. Тем, что либеральный мир понимал под «хорошим» лицом,

было, собственно, утонченное лицо: нервное, подвижное, переменчивое и открытое самым различным влияниям и возбуждениям. Дисциплинированное лицо, напротив, замкнуто; оно обладает твердым взглядом и является однообразным, предметным и застывшим. Рассматривая любое специальное образование, можно будет скоро заметить, как вмешательство твердых безличных правил и предписаний отражается на закалке лица.

## 10

Измененное отношение к боли становится заметно не только в случае единичного человека, но и в случае организаций, которые он стремится образовать. Если проехать сегодня по странам Европы, — находятся ли они в странном переходном состоянии однопартийного государства или стремятся к нему, — то прежде всего напрашивается такое наблюдение: роль, которую играет униформа, стала еще более значительной, чем в эпоху всеобщей воинской повинности. Общность наряда распространяется не только на все возрасты, но даже и на различия полов, и возникает примечательная мысль, что открытие рабочего сопровождается открытием третьего пола. Однако это особая тема. Во все времена униформа подразумевает характер вооружения, то есть притязание быть защищенным особой броней против атаки боли. Это делает ясным тот факт, что мертвеца в униформе можно рассматривать с большей холодностью, чем какого-нибудь человека в гражданском, убитого в уличном бою. На картинах, зафиксировавших с вы-

соты птичьего полета гигантские передвижения, в глубине видны регулярные четырехугольники и людские колонны — магические фигуры, чей внутренний смысл направлен на заклинание боли.

Видения такого рода содержат нечто непосредственно очевидное; возникает то же самое впечатление, как если бы мы пролетали над городом, в котором посреди лабиринта улиц сохранились геометрические очертания какого-то старого форта. Сходства между культовыми и военными организациями, напоминающими кристаллические образования, существуют не только в области архитектуры, где, в сущности, есть только два метафизических сооружения; эти сходства иногда поразительным образом пересекаются, как, например, в морском сражении при Лепанто, в котором турецкий флот строился к атаке в форме полумесяца, а христианский — в форме креста.

Можно предвидеть, что не только наш архитектурный стиль вновь обретет связь с боевым стилем, как то показывают старания приспособить его к угрозе воздушных и химических атак, но и боевой порядок после массового стиля эпохи всеобщей воинской повинности вновь получит черты точной организации. В этом контексте следует обратить внимание на следующий любопытный факт: в тот промежуток времени, когда срывались кольца укреплений, а церкви превращались в музеи, в наших больших городах все еще существовал род сооружений, в которых находил выражение неприкрытый характер вооружения и защиты. Это утверждение станет очевидно для всякого, кто отправится в банковский квартал, образующий ядро таких городов. Тут вызовет удивление тот инстинкт, который в самом центре этого якобы пол-

ностью защищенного пространства породил эти цитадели, возведенные из тесаных камней, добытых только ради них, снабженные железными оконными решетками и изнутри поддерживаемые бронированными сводами. Тут мы постигаем и смысл того своеобразного праздничного настроения, которое наполняет роскошные кассовые залы демоническим сиянием. Оно характерно для того состояния, когда какое-то волшебное желание или мечта о счастье и безболезненности вызывает у человека представление не о чем ином, как о миллионе, который в этой сфере занимает ранг магического числа.

Между тем, мы прошли хорошую школу по осознанию относительной безопасности, которую предоставляют деньги. Годы, когда любой мог назвать себя миллионером, еще не так далеки от нас, и пожелай себе сегодня кто-нибудь миллион, ему бы пришлось оговорить это желание приблизительно так: при условии, что не наступит новая инфляция, или: при условии, что эта сумма использовалась бы в одном из небольших нейтральных государств.

Возвращаясь собственно к нашей теме, скажем, что подобной мнимой величиной, зависящей от многих предпосылок, оказалась также и масса. Один из признаков родства между безотносительными деньгами и безотносительной массой состоит в том, что они не только *не* гарантируют защиты от действительной атаки боли, но и, напротив, по мере приближения к элементарной сфере притягивают к себе гибель с силой магнита.

Воспитанные в определенном стиле мысли люди склонны к тому, чтобы рассматривать понятия, с которыми они работают, как реальности. Масса тоже

есть не что иное, как общее понятие, и тот акт, посредством которого какое-то число людей превращается в массу, является убедительным лишь в отведенном ему пространстве. А там очень трудно избежать оптического обмана.

То гигантское превосходство, которое отличает даже мельчайшую клетку порядка от самой большой массы, стало для меня очевидно только после войны, ибо на полях сражений, где видишь только людей в униформе, правит иной закон. В марте 1921 года я присутствовал при столкновении пулеметного расчета из трех человек с шествием демонстрантов, состоявшем, вероятно, из пяти тысяч человек; спустя минуту после команды «огонь» они исчезли из поля зрения, даже не потеряв ни одного раненым. Все зрелище имело нечто завораживающее; оно вызывало то глубокое чувство радости, которое охватывает при разоблачении какого-нибудь низшего демона. В любом случае, участие в отклонении такого безосновательного притязания на власть является более поучительным, нежели изучение целой социологической библиотеки. Подобное впечатление осталось у меня и после того, как я, занимаясь изучением улиц, отправился зимой 1932 года на Бюловплатц в Берлине, которая в контексте политических событий являлась местом более крупных столкновений. Здесь встреча массы с органической конструкцией стала особенно ясной в тот момент, когда появился полицейский броневик, который рассек бурлящее от гнева людское море на Александерплатц. Он проехал сквозь спорящие партии. По сравнению с этим конкретным средством масса находилась в чисто моральной позиции; она недовольно загудела.



Впрочем, в тот же день я имел возможность наблюдать в некоторых переулках люмпенпролетариат, который никак не отнесешь к миру всеобщих понятий как массу. Поэтому прав был Бакунин, когда считал его намного более действенной революционной величиной. С другой стороны, можно сказать, что массу достаточно расплыть, тогда как люмпенпролетариат нужно отыскивать по его убежищам. Его действительное превосходство также сказывается в том, что он располагает подлинным стилем борьбы, а именно: древней формой стаи. Далее, более значительным является и его отношение к боли, хотя оно и негативно. Масса убивает механически, она разрывает и растаптывает; люмпенпролетариат, напротив, знаком с наслаждениями пытки. Массой движут моральные вопросы, она формируется в состоянии возбуждения и негодования и не может обойтись без убеждения в том, что ее противник является плохим и что она восстанавливает справедливость. Люмпенпролетариат находится вне моральных оценок и оттого всегда и везде готов к схватке при любом потрясении порядка, откуда бы оно ни исходило. Тем самым он также находится вне собственно политического пространства; скорее, его нужно рассматривать как своего рода подземный резерв, который заготовлен самим порядком вещей. Тут исток и парализующего дыхания ада, которое внезапно вырывается наружу из революционных ущелий, знаменует их настоящую глубину и еще ждет своего летописца. Те короткие дни, за которые масса устраняет своего противника, наполняют города шумом; но за ними следует иное, более опасное положение вещей, когда правит молчание. Тогда боль требует вернуть ей долг.

Здесь следует сделать замечание, что слово «люмпенпролетариат», как то не укроется от внимательного читателя, принадлежит устаревшему словарю классово-борьбы. Тем не менее речь здесь идет, собственно, об элементарной величине, которая всегда налицо и которая естественно прячется под маской экономического понятия там, где мышление определяется экономической иерархией. Сегодня эта величина, напротив, выступает уже в новых формах, и одним из признаков более значительной близости к элементарным силам является то, что их многими способами начинают вовлекать как в политические, так и в военные движения. Упомянем прежде всего явление партизана, который уже повсеместно утратил всякую социальную окраску. Партизана, согласно его сущности, используют в таких предприятиях, которые должны проводиться вне зоны порядка. Так, он всплывает за спиной марширующих войск, где есть подходящие для него задания шпионажа, саботажа и разложения. В рамках гражданской войны ему отводятся соответствующие задания; своя партия использует его в предприятиях, которые выходят за пределы легальных правил игры. Сообразно этому, партизанская борьба несет на себе печать особенной злобы. Партизана не укрывают; там, где его хватают, процесс над ним длится недолго. Подобно тому как в мировую войну его используют без униформы, так в войну гражданскую, прежде чем ввести его в действие, у него забирают партийную книжку. С этим отношением согласуется то, что принадлежность партизана всегда остается непроясненной; никогда нельзя будет установить, принадлежит ли он к партии или оппозиции, разведке или контрразведке, полиции или контрпо-

лиции, или ко всем одновременно; да и вообще, действует ли он по заказу или просто из своих собственных преступных побуждений. Этот двойной свет проистекает из сущности его заданий; его обнаружат вновь в любом из партизанских предприятий, которые разворачиваются сегодня повсюду, скрывая свой подлинный характер, — идет ли речь о каком-то пригородном столкновении или об одном из крупных происшествий, известных в рамках внутренней и внешней политики. Ответственность за такие происшествия никогда не может быть установлена, ибо нити теряются во мраке подземного мира, где уничтожается любая сознательная дифференциация, в том числе и партийная. Поэтому в разнообразных попытках сделать из партизана героя выражается нехватка способности различения; партизан, являясь фигурой элементарного мира, тем не менее не относится к миру героическому. Соответственно его гибель не имеет трагического ранга; она совершается в зоне, где люди хотя и наделены тупым, пассивным отношением к боли и ее тайнам, однако не способны подняться над ней. Вернемся все-таки к массе.

Причина, которая придает движениям массы особенную степень бессмысленности, заключается в ее беспечности. Поскольку ей неведомы границы, а ее подлинное состояние может быть обозначено именно как состояние безграничности, она имеет склонность пренебрегать всеми мерами предосторожности, которые для любой дисциплинированной организации разумеются сами собой, как, скажем, выставление форпостов. Поэтому в те короткие промежутки времени, когда в рамках строгого хода исторических событий соотношения власти становятся спорными, воздух на-

полняет ликование масс. Именно в эти мгновения какой-нибудь генерал вроде Каваньяка, Врангеля или Галифэ уже потирает руки. Лучшее знакомство с миром всеобщих понятий явилось причиной того, что французы долгое время превосходили нас в технике работы с массой; правда, они рано ввели и плату за обучение. Избиение коммунаров продолжалось до самого конца мировой войны. Как только становятся заметны признаки более крепкого здоровья, понятие массы в том морально-политическом значении, которое нам еще доступно, исчезает вообще. Тогда собрание невооруженных людей, напротив, предстает для людей вооруженных как нечто радостное. Так, в периоды деспотий эпохи Возрождения созывы парламента иногда предоставляли удобнейший случай, чтобы разгромить его, если, скажем, ради этой цели не ожидали одного из больших церковных праздников. То, с каким наслаждением Буркхардт, Гобино и их эпигоны смаковали подобного рода данные не осталось, впрочем, без последствия для мира фактов, равно как исторические симпатии вообще всегда очень хорошо разъясняют любому поколению, что к чему.

Как сказано, сегодня мы находимся в самом эпицентре образования новых, дисциплинированных организаций, которое, как мы сейчас увидим, выходит далеко за пределы собственно политической зоны. Уже в состоянии парламентаристской демократии, являющемся частью недавнего прошлого Германии, выяснилось, что партии утратили доверие к своей собственной легитимации, то есть к чистому количеству голосов, и что они предприняли попытку найти в себе ударные силы иного рода. Наряду с армией и полицией существовал ряд постоянных военизиро-

ванных отрядов, и остается примечательным, что при таком положении дел жизнь может течь своим чередом. Нечто подобное тому было и в средневековой Флоренции, состоявшей из ряда неприступных дворянских замков с направленными друг против друга грозными башнями.

Но все состояния взаимопроницаемы, старое и новое переплетается многообразными способами. С одной стороны, мы видим, что образование новых команд сначала происходит исключительно с целью гарантировать свободу собраний и слова. С другой стороны, кажется странным, что даже в тех государствах, где уже было принято первое действительное решение, еще никоим образом не отказались от привлечения гигантских, бесформенных человеческих масс. Правда, здесь нельзя упускать из виду важное изменение, которое состоит в том, что у этих масс осталась только *одна* свобода, а именно свобода согласия. Как народное собрание, так и народное голосование все более однозначно превращаются в аккламационный акт, техника которого замещает технику формирования свободного мнения. Но это означает не что иное, как превращение массы из моральной величины в предмет.

## 11

Формирование предметного характера как единичного человека, так и его организаций, как оно намечается сегодня, не является чем-то новым. Скорее, оно образует надежный признак всех тех пространств, в которых боль принадлежит к непосредственному и самоочевидному опыту, и где в ней нужно

видеть признак усиленного вооружения. Существенно, что исчезает чувство близости, чувство не символической, а основанной в самой себе ценности, и что вместо этого движением живых единиц управляют с большого расстояния. Так, в окружном послании смирнской Церкви о мученической смерти святого Поликарпа невозмутимое настроение осужденных, на которых спускают львов, объясняется такой фразой: «Этим Христовы мученики доказали нам всем, что они в час пытки пребывали вне плоти». Похожие фразы содержатся почти на каждой странице важного повествования Кассиана об устройстве монастырей и жизни отшельников в сирийских и египетских пустынях. У Иосифа Флавия мы находим удивительное изображение незаинтересованного наблюдателя, рассматривающего порядок марша римского легиона. Мы видим, как корпуса войска, направляемые словно живые машины незримыми знаками, проникают сквозь равнины, пустыни и горы, мы видим, как каждый вечер с напоминающей волшебство ловкостью разбивается лагерь и как он бесследно исчезает наутро. Мы, наконец, видим, как «со скоростью мысли» выполняются движения в бою. Иосиф по праву завершает свое описание такой фразой: «Чего же тогда удивляться, что народ, за постановлениями которого стоит такое войско, готовое к бою, на востоке граничит с Евфратом, на западе — с океаном, на юге — с тучными нивами Ливии, на севере — с Дунаем и Рейном? По праву можно сказать: владения все-таки меньше, чем того заслуживают владельцы».

Таким образом, для нас признаком высокого достижения является то, что жизнь способна отстраниться от себя самой или, иными словами, принести

себя в жертву. Это не имеет места везде, где она не рассматривает себя как форпост, а видит в себе самой определяющую ценность. Теперь, если факт опредмечивания жизни является общим для всех ее значительных состояний, то техника опредмечивания, то есть дисциплина, в разное время тем не менее имеет свои отличительные черты. Мы коротко рассмотрели опредмечивание единичного человека и его организаций, и мы воспринимаем это как добрый знак. Это рассмотрение, однако, было бы неполным, если бы оно не коснулось третьего, более холодного порядка, который, в первую очередь, накладывает особый отпечаток на нашу переломную эпоху. Это сам технический порядок, то огромное зеркало, в котором наиболее четко отражается растущее опредмечивание нашей жизни и который особым образом изолирован от атаки боли. *Техника — наша униформа.* Правда, мы слишком сильно вовлечены в процесс, чтобы обозреть его во всем размахе. Однако стоит только ненадолго удалиться и вернуться, скажем, из какого-то путешествия в края, еще мало тронутые техникой, как тут же зависимость станет более очевидной. Этот факт еще более проясняется тем обстоятельством, что комфортный характер нашей техники все однозначнее сливается с инструментальным характером власти.

## 12

Непосредственный интерес здесь представляет зрелище битвы, в которой неприкрыто выступает на свет этот характер власти. Уже при чтении Вегеция,

Полибия или других писателей, которые занимались военным искусством древних, у нас складывается впечатление, что применение машины сообщает военным столкновениям математические очертания. И, прежде всего, проза Юлия Цезаря донесла до нас язык того духа, который обладает не каким-то пафосом дистанции,<sup>1</sup> но которому от рождения присуща дальняя дистанция, относящаяся к предпосылкам господства. Такой язык неопровержим как предмет, и выражение вроде «*res ad triarios venit*»\* остается непроницаемым для крика нападающих и умирающих, который сопровождает такое действие. Высокое чутье полководца узревает вещи в их нетронутости излучениями боли и страдания.

Хотя легион уже можно рассматривать как машину, как подвижную стену из щитов и оружия нападения, поддерживаемую с обоих флангов конницей как плечами рычага, однако свое совершенное выражение античная военная техника находит прежде всего в атаке на высший символ конкретной безопасности, что значит: в атаке на стены города. У нас есть множество свидетельств, в которых во всех деталях описывается процесс завоевания городов с его черепашками, крытыми таранами, скорпионами, башнями на колесах и покатыми плоскостями, — свидетельств, читаемых с таким увлечением, как если бы они изображали столкновения между демонами или сказочными существами из вымершего звериного мира. Присутствуя при таком зрелище, утрачиваешь чувство, что речь все еще идет о людях; искусное устрой-

---

<sup>1</sup> «Пафос дистанции» есть признак не *власти*, а *воли* к власти.

\* «Дело дошло до крайности» (*лат.*).



ство и закономерная подвижность механизма отвлекает глаз от личных судеб. Уже тот факт, что человек заключен в машины на колесах, придает видимость большей неуязвимости и не может не воздействовать на противника. Еще в мировую войну первым следствием введения новых боевых машин была неожиданность; таким же образом можно понять и магическое впечатление от рыцарей, которых все народы в новой истории, равно как мексиканцы, встречавшиеся с ними неподготовленными, считали демоническими существами.

Такое событие, как осада Иерусалима при Тите скрывает в себе математический расчет, который напрасно будут искать в истории войн XIX столетия. Если помнить, что еще армии эпохи рококо двигались на поле как застывшие линии или четырехугольники в тщательно соблюдаемом темпе марша, то битва военной техники времен мировой войны окажется, напротив, картиной огненной анархии. Закономерность, лежащая в основании этой картины, как раз противоположна закономерности конструктивного пространства, как мы, в частности, показали в «Огне и движении»; мы узнаем ее по тому признаку, что максимальной затрате средств соответствует минимум воздействия. Здесь также заключается причина того, почему сражение Александра производит более величественное впечатление, нежели сражение Наполеона; большой мысли, для того чтобы проявиться во всей своей чистоте, необходимо иметь порядки, как будто вылитые из меди.

Теперь мы должны увидеть, что элементы таких порядков в избытке присутствуют в нашем поле зрения с его техникой. Это важно, ибо та точка, в которой

эти элементы постигаются и наделяются формой посредством адекватного им духа, без сомнения, будет иметь решающее значение для нашей истории. Здесь, за всеми недоразумениями времени скрывается предметный стержень наших задач.

То, что в сфере сражения и в наше время возможны в высшей степени упорядоченные процессы, подтверждается для нас прежде всего зрелищем морского боя. Это не случайно, ибо мировая война, несмотря на ее название, была, в сущности, континентальной и колониальной войной; этому замыслу соответствует ее результат, который, за вычетом красивых фраз, заключается в завоевании провинций и колоний. Но сверх того, она таила в себе корни имперских решений, в качестве инструмента которых по праву рассматривались флоты, — плавающие форпосты большого господства, окованные броней камеры, где притязание на власть сконцентрировалось в столь тесном пространстве.

Столкновения между этими единицами отличаются несравненно более значительной обозримостью, что сказывается уже в том, что события можно восстановить в памяти с точностью до минуты и каждого отдельного выстрела. Также здесь не находят ни бойца, который невидим в более важном смысле, нежели чисто физическом, ни массы бойцов, а видят флот или корабль. Тут перед нами одно из тех столкновений, когда человек в гибели узнает судьбу, и последняя его забота состоит не в том, чтобы уйти от нее, а в том, чтобы встретить ее с развевающимся флагом. В сообщениях уцелевших будет снова и снова встречаться примечательное настроение, по которому можно догадаться, что смерть вообще не видна в

решающие моменты. Особенно ясно это становится там, где человек посреди зоны уничтожения занят обслуживанием орудий. Мы обнаруживаем его здесь в состоянии высшей безопасности, которым располагает только тот, кто чувствует себя уверенным в непосредственной близости смерти.

Между тем, еще более усилилось притязание на господство, свойственное нашим средствам. По мере этого усиления на задний план отходят различие и противостояние четырех элементов. Но этот факт означает, что стратегическое мышление может вновь осуществляться с большей чистотой. В сражении военной техники мы усматриваем такое состояние, в котором мысль полководца не способна проникнуть сквозь хаотичную зону огня и земли и затемняется путаницей тактических частныхностей. Тем не менее уже намечается то, что точное движение в пространстве и времени, которое, казалось, было подвластно лишь более легкому и проницаемому элементу воды, становится, по крайней мере, представимым также и на земле и, в первую очередь, в недавно открывшемся для нас воздушном мире. Один из признаков, указывающих на более строгий стиль ведения борьбы, заключается в том факте, что повсюду начинает играть большую роль понятие эскадры. Далее показательно, что танк, который, впрочем, как в органическом, так и механическом мире имеет тайное отношение к математике, в новых формах воскресает во всех областях борьбы.

Увеличение подвижности в бою, к которому стремится технический дух, конструируя средства борьбы нового рода, не только обещает возрождение стратегической операции, он также возвещает появление

более жесткого и неуступчивого солдатского типа. Та измененная закономерность, которой мы коснулись в связи с принципом всеобщего образования, начинает проникать и в военную область. В мире, где борьба является как специальный характер работы, речь уже не может идти о вооруженном народе в привычном для нас смысле слова. Как средства превосходят любую мыслимую количественную затрату, точно так же команды, которые обслуживают эти средства, предполагают иной род элиты, чем могла гарантировать всеобщая воинская повинность. В частности, короткий срок службы, являющийся одним из признаков массового образования, недостаточен для обеспечения требуемого господства над средствами и для личной закалки. Соответственно мы наблюдаем, что подготовительный этап образования начинается заранее, и что само образование многообразно специализируется.

Итак, существует ряд оснований, которые делают вероятным то, что армия — как ее оружие, так и ее бойцы — будет приобретать все более предметный характер. Это означает большую ясность и чистоту в вопросах власти. То «ultima ratio»,\* которое еще было выгравировано на пушках мировой войны, собственно, имело лишь смысл воспоминания. В действительности степень популярности войны являлась условием участия в воинской службе больших масс. Основание решающего критерия заключалось в представлениях демократии о справедливости. Так называемая кабинетная война была, поэтому, окружена ореолом предосудительности. Но для каждого, кто без

---

\* «Высшее основание» (лат.).

предрассудков рассматривает вопросы власти в их сущности, вообще не может быть никакого сомнения в том, что кабинетную войну следует предпочесть народной войне. Это тщательно продуманная война, у которой есть определенные цели и время которой может быть выбрано сообразно с предметными обстоятельствами. Но прежде всего она удалена от моральной зоны; и поэтому оказывается излишним возбуждение низших инстинктов и чувства ненависти, которое должно охватить массу, чтобы вообще сделать ее способной к борьбе.

Решение о войне и мире — это высшая прерогатива. Как таковое оно предполагает армию, которая способна служить инструментом воли государя. Это отношение представимо лишь в таком пространстве, где имеются вещи более важные, нежели боль, и где есть знание того, что «жить вечно» возможно лишь перед лицом смерти.

### 13

Рассмотрим здесь один факт, который мы считаем саморазумеющимся, хотя он тем не менее является удивительным. Но, без сомнения, человек наиболее интересен именно в тех областях, в которых он не видит никаких проблем и которые находятся для него вне дискуссии.

Как происходит, что в эпоху, когда в споре о голове убийцы используется весь арсенал противоположных мировоззрений, в отношении бесчисленных жертв техники, и в особенности, техники сообщения, едва ли имеется различие позиций? То, что это имело

место далеко не всегда, можно увидеть из текста первых железнодорожных законов, где отчетливо выражено стремление сложить на железную дорогу ответственность за любой вред, наносимый исключительно фактом ее существования. Сегодня, напротив, закрепился взгляд, согласно которому пешеход не только должен приспособливаться к дорожному движению, но также и нести ответственность за нарушение дисциплины дорожного движения. Сама эта дисциплина есть один из признаков предметной революции, которая незаметно и без возражений подчиняет человека измененной закономерности.

Нам не приходит в голову, чтобы отказаться от полетов человека, хотя их история — это история крушений, и хотя эти полеты, рассматриваемые как чистое средство сообщения, противоречат всем законам экономики. Этот факт не подлежит никакому сомнению для того самого духа, который склонен, скажем, рассматривать боль, которую веками причиняли себе монахи в монастырях, как странное заблуждение. Люди из года в год становятся жертвами движения транспорта; эти жертвы достигли такой цифры, которая превышает потери какой-нибудь кровавой войны. Мы смотрим на них с чувством какой-то самоочевидности, которое напоминает старое понимание сословий, как-то: моряка или рудокопа. Уже Бисмарк в ходе дискуссии о смертной казни заметил, что нам не приходит в голову остановить горное дело, хотя число требуемых им жертв можно заранее вычислить статистически. Тем самым он выражал взгляд, согласно которому боль принадлежит к неизбежным явлениям миропорядка, — взгляд, присущий любой консервативной мысли. В действительности статисти-

ка дает второстепенное доказательство того, что человек должен платить судьбе постоянную дань; так, примечательно то явление, что число самоубийств невзирая на благоприятные или неблагоприятные времена остается приблизительно на одном и том же уровне.

Жертвы, которых требует технический процесс, кажутся нам необходимыми потому, что они соответствуют нашему типу, то есть типу рабочего. Тип рабочего в разнообразных формах проникает в расселины, оставшиеся от сословной структуры, и он вносит в них свойственные ему оценки. Сто лет назад гибель молодого человека на дуэли считалась обычным происшествием; сегодня такая смерть была бы курьезом. Примерно в то же время на портного Берблингера из Ульма, который рухнул в Дунай вместе со своей летательной машиной, смотрели как на безумца, и человек, который ломал себе шею, забираясь на ничего не обещающую вершину горы, считался чудаком. Сегодня же смерть во время полета на планере или занятий зимним спортом в порядке вещей.

## 14

Если бы пришлось одним словом охарактеризовать тип, который формируется в наши дни, то можно было бы сказать, что одно из его наиболее заметных свойств составляет обладание «вторым сознанием». Это второе, более холодное сознание сказывается во все быстрее развивающейся способности рассматривать себя самого как объект. Ее нельзя спутать, скажем, с саморефлексией психологии старого стиля.

Различие между психологией и вторым сознанием коренится в том, что психология избирает предмет своего наблюдения чувствительного человека, в то время как второе сознание направлено на человека, который находится вне зоны боли. Правда, здесь также существуют переходные состояния; так, нужно видеть, что процесс распада психологии, как и любой процесс распада, происходит упорядоченно. Особо отчетливо это проступает в тех ответвлениях, в которых психология развилась до чисто измерительного метода.

И все же намного более интересны символы, которые старается произвести из себя второе сознание. Мы не только работаем с искусственными членами, как не работала ни одна жизнь до нас, но мы также находимся в самом центре построения странных областей, в которых благодаря применению искусственных органов чувств создается высокий уровень типичного соответствия. Этот факт, однако, находится в тесной связи с опредмечиванием нашей картины мира и, таким образом, с нашим отношением к боли.

Здесь в первую очередь следует назвать революционный факт фотографии. Световое письмо — это род констатации, за которой признается характер документа. Мировая война явилась первым крупным процессом, который был заснят таким образом, и с тех пор не было ни одного значительного события, которое бы не фиксировалось, в том числе искусственным глазом. Единственное стремление здесь заключается в том, чтобы увидеть пространства, закрытые для человеческого глаза. Искусственный глаз проникает сквозь слои тумана, атмосферные пары и тьму и даже преодолевает сопротивление материи; оптические ка-



меры работают в морских глубинах и на большой высоте шаров-зондов.

Снимок находится вне зоны чувствительности. Ему присущ телескопический характер; заметно, что на событие смотрит нечувствительный и неуязвимый глаз. Он фиксирует как пулю в полете, так и человека в тот момент, когда его разрывает граната. Это свойственный нам способ видеть; и фотография есть не что иное, как инструмент этого нашего своеобразия. Примечательно, что это своеобразие пока весьма мало заметно в других областях, скажем, в области литературы; но, без сомнения, — если нас здесь еще что-нибудь ждет, как в области живописи, — на смену описанию тончайших душевных процессов придет новый род точного, предметного описания.

В «Рабочем» мы уже указали на то, что фотография — это оружие, которым пользуется тип. Видение есть для него акт атаки. Соответственно растет стремление сделаться невидимым, проявившееся уже в мировую войну под видом «маскировки». Боевая позиция утратила обороноспособность в тот момент, когда ее стало возможным вычислить на фотографии летчика ближней разведки. Такое положение дел непрерывно приближает к большей пластике и предметности. Уже сегодня есть огнестрельное оружие, оснащенное оптическим прицелом, есть даже летающие и плавающие машины атаки с оптическим управлением.

В политике фотография тоже относится к оружию, которым пользуются все с большим и большим мастерством. В частности, у типа, по-видимому, обнаруживается средство выявлять индивидуальный, то есть более не соответствующий его притязаниям характер

противника; личная сфера уже оказывается несостоятельной перед фотографическим снимком. Также его образ мыслей меняется быстрее, чем его лицо. Существует очень коварный метод использования на плакатах снимков убитых в политической борьбе.

Таким образом, фотография — это выражение свойственного нам, хотя и ужасного, способа видеть. В конце концов, здесь перед нами некая форма сглаза, своего рода магическое овладение. Это очень хорошо можно ощутить в тех местах, где жива еще другая культовая субстанция. В тот момент, когда возникает возможность сфотографировать такой город, как Мекка, он входит в колониальную сферу.

Нам присуще странное и трудноописуемое стремление придавать живому процессу характер препарата. Там, где сегодня совершается какое-нибудь событие, оно окружено кольцом объективов и микрофонов и освещено огнями вспышек. Во многих случаях само событие отступает на задний план перед «переводом»; то есть оно в значительной мере становится объектом. Так, нам уже известны политические процессы, заседания парламента, соревнования, подлинный смысл которых состоит в том, чтобы быть предметом планетарного перевода. Событие не привязано ни к особому пространству, ни к особому времени, поскольку оно может быть повторено в любом месте и сколь угодно часто воспроизведено. Это признаки, указывающие на большую дистанцию, и возникает вопрос, не имеется ли у второго сознания, которое мы видим за неустанной работой, центра, исходя из которого можно в некотором более глубоком смысле оправдать растущее окаменение жизни.

Еще отчетливее факт отдаления проявляется в проекциях — в отражении снимков во втором, уже не доступном для чувствительности пространстве. Наиболее ясно мы это видим там, где перед нами предстает наше собственное отражение, будь то в случае, когда мы наблюдаем свои движения в фильме, или же в случае, когда мы слышим свой голос как голос чужого.

Вместе с прогрессирующим опредмечиванием увеличивается степень, до какой возможно выносить боль. Кажется, будто человек обладает стремлением создать пространство, в котором боль, причем в совершенно ином смысле, чем еще недавно, может рассматриваться как иллюзия. Под этим углом зрения стоило бы подробнее заняться явлением кино, относительно которого Тертуллиан мог бы повторить все, что мы читаем в его сочинении против зрелищ. Например, приводит в недоумение дикий смех, который вызывает киногротеск, состоящий исключительно из нагромождения неприятных и досадных инцидентов. Также показательна склонность к математической фигуре, вызываемая, скажем, появлением механических процессов, сопровождающих и прерывающих действие. Есть ряд соответствующих фильму движений, таких, как движение лыжника, чей выверенный бег происходит среди ледяного ландшафта. Сюда также относится царство масок, марионеток, кукол и рекламных фигур, — царство, в котором искусственные существа двигаются при звуке голосов, возникших механическим способом. Далее следовало бы назвать поразительный синхронизм, включающий между показом состояний чрезвычайного комфорта кадр катастрофы, которая в то же самое время опус-

тошает часть планеты. В поведении зрителей бросается в глаза, что их участие происходит беззвучно; и это молчание абстрактнее и ужаснее, чем дикое бешенство, которое можно наблюдать на южных аренах, где до сего дня в виде боя с быком сохранился пережиток античных игр.

По этому поводу заметим, что при наблюдении боя с быком, который возник, вероятно, из древнего культа земли, собственно впечатление от боли скрадывается благодаря ритуальной закономерности. То же самое наблюдение напрашивается там, где кровавое столкновение происходит при соблюдении словесных рыцарских правил, то есть, скажем, на поединке. В мире рабочего ритуал замещается точным техническим процессом, в равной мере аморальным и нерыцарским. Этос этого процесса — и тот факт, что можно вытерпеть высокую степень боли, указывает на этот процесс — сегодня, правда, еще неизвестен.

Скрытое устройство искусственных органов чувств показывает пространства, в которых катастрофа играет большую роль. Там передача приказа должна быть надежнее, стремительнее и неуязвимее. Мы приближаемся к тем состояниям, в которых известие, предупреждение, угроза должны достигать любого сознания в считанные минуты. За характером наслаждения, присущим таким тотальным средствам, как радио и кино, таятся особые формы дисциплины. Можно предположить, что это будет обнаруживаться также по мере того, как участие, подключение, в частности, подключение к радиовещанию, будет превращаться в обязанность.

## 15

То что в случае этих явлений речь идет не столько о технических изменениях, сколько о новом способе жизни, наиболее ясно заметно в том, что инструментальный характер не ограничивается собственно зоной орудия, а старается подчинить себе и человеческое тело.

Во всяком случае, это составляет суть того своеобразного процесса, который мы называем спортом и который следует отличать от игр древних так же, как нашу олимпиаду — от греческой. Существенная разница состоит в том, что в нашем случае речь идет гораздо в меньшей степени о соревновании, нежели о некоем точном измерительном процессе. Это явствует уже из того, что здесь не требуется ни присутствия противника, ни присутствия зрителя. Решающим, скорее, является присутствие второго сознания, которое фиксирует результат с помощью рулетки, секундомера, электрического тока или фотографического объектива. Там, где существует эта предпосылка, безразлично, происходят ли бег, метание, прыжок на дорожках, находящихся рядом друг с другом, или на дорожках, из которых одна расположена на Родосе, а другая — в Австралии.

Странная склонность фиксировать рекорд в цифрах вплоть до мельчайших пространственных и временных долей, проистекает из потребности быть детальнейшим образом осведомленным о том, чего способно достичь человеческое тело как инструмент. Можно удивляться таким явлениям, но нельзя отрицать, что они налицо. Они тотчас же становятся абсурдными, когда их рассматривают не в символическом контексте.

Когда мы видим, как прыгуны один за другим отрываются от лыжного трамплина, или как автогонщики в своих обтекаемых шлемах и униформах проносятся мимо, точно стрелы, то у нас возникает впечатление, едва ли отличимое от впечатления, производимого какой-нибудь машиной особой конструкции. Это положение дел выражается также и в человеческом габитусе. Спорт, в нашем смысле слова, существует совсем не так давно, но тем не менее фотографии первых спортсменов с бородами и в гражданской одежде кажутся уже диковинными. Новое лицо, как его можно сегодня найти в любой иллюстрированной газете, выглядит иначе; оно бездушно, словно сделано из металла или вырезано из особого дерева, и у него, несомненно, есть подлинная связь с фотографией. Это одно из тех лиц, в которых находит свое выражение тип или раса рабочего. Спорт — часть процесса работы, который отражен здесь с еще большей четкостью по причине отсутствия собственно целесообразности. Кроме того, из этой констатации можно будет легко увидеть, что известные любительские соревнования, в сущности, имеют своим основанием старые сословные оценки. С этим связано то, что спорт затрагивает прежде всего те области, которые еще сохранили в себе остаток придворных традиций, как, скажем, скачки и теннис. Занятие спортом — это, несомненно, самая настоящая профессия.

Когда рассматриваешь эти фигуры даже чисто внешне, не покидает впечатление, что они уже во многом вышли из зоны чувствительности. Плоть, дисциплинированная по собственной воле и одетая в униформу с такой скрупулезной тщательностью, по-

рождает представление, что она стала более безразличной к ранению. Тот факт, что сегодня мы вновь способны выносить вид смерти с большей холодностью, не в последнюю очередь объясняется тем, что мы уже не чувствуем себя в нашем теле уютно, как раньше. Так, собственно, уже не в нашем стиле прерывать воздушные мероприятия или автогонку, если произошел какой-то несчастный случай со смертельным исходом. Инциденты подобного рода находятся не вне, а внутри зоны новой безопасности.

Спорт образует лишь одну из областей, в которых можно наблюдать закалку и заточку, или же гальванизацию человеческих очертаний. Не менее примечательным кажется стремление рассматривать телесную красоту, руководствуясь также иными критериями. Здесь тоже существует тесная связь с фотографией, и в частности, с фильмом, который как раз обладает модельным характером. Спорт, общественные бассейны, ритмические танцы, а также реклама неоднократно предоставляли глазу возможность привыкнуть к виду обнаженного тела. Тут идет речь о вторжениях в эротическую зону, смысл которых еще не раскрыт, хотя уже может угадываться.

Такие явления переходной эпохи особенно показательны своей двусмысленностью, которая выражается, например, в том, что необходимое изменение сначала является человеку как некий новый род свободы. Так, непривычно видеть, что сфера тончайшего индивидуалистического наслаждения и наслаждения самим собой, а равно и психология внезапно начинают производить из себя точный измерительный процесс. В частности, психотехническая методика все более отчетливо выступает как ремесленный инстру-

мент, с чьей помощью пытаются определить точную меру требований, которые должны предъявляться к расе или, что то же самое, к типу. Понятия, как, например, мгновение страха, которое получило разработку в связи с объяснением дорожно-транспортных происшествий,<sup>1</sup> рисуют картину предметного характера, присущего этим требованиям.

Наконец, следует еще указать на то, до какой степени тело стало предметом также и в медицине. Здесь тоже обнаруживается только что упомянутая двусмысленность. Так, наркоз, с одной стороны, является освобождением от боли, а с другой стороны, превращает тело в объект, наподобие безжизненного материала, открытый для механического вмешательства. К числу мелких наблюдений, которые можно собрать в наших городах, принадлежит и новое пристрастие к анатомическому восхвалению лечебных средств; можно увидеть, скажем, как снотворное воздействует на слои взятого в продольном разрезе мозга. На подобного рода демонстрации еще не так много лет назад было наложено табу.

## 16

Мы собрали целый ряд данных, из которых явствует, что наше отношение к боли действительно изменилось. Дух, который вот уже более ста лет оказывает формирующее воздействие на наш ландшафт, — без сомнения жестокий дух. Он оставляет свои следы и на человеческом составе; он удаляет мягкие черты

---

<sup>1</sup> Такие формулы, как «реконструкция состава преступления» свидетельствуют, впрочем, об измененном и в значительной мере аморальном понимании виновности.



и закаляет плоскости сопротивления. Мы находимся в таком состоянии, когда еще способны видеть потерю; мы еще ощущаем уничтожение ценности, уплощение и упрощение мира. Но уже подрастают новые поколения, очень далекие от всех традиций, с которыми родились мы, и удивительное чувство возникает от наблюдения за этими детьми, из которых кто-то еще доживет до 2000 года. Тогда, вероятно, исчезнет последняя субстанция современной, то есть коперниканской эпохи.

Между тем вся величина положения представляется уже отчетливо. Правда, всякий действительный ум XIX столетия уже видел его, и каждый из этих умов, начиная с Гёльдерлина и выходя далеко за границы Европы, оставил после себя тайное учение о боли, — ибо здесь кроется собственно пробный камень действительности.

Сегодня мы видим, как долины и равнины заполняют военные лагеря, развертывание войск и учения. Мы видим, как государства, грозные и вооруженные как никогда прежде, во всех своих частностях нацелены на развертывание власти и распоряжаются такими командами и арсеналами, в назначении которых не может быть никакого сомнения. Мы также видим, как единичный человек все отчетливее обнаруживает себя в том состоянии, когда его без раздумий могут принести в жертву. При взгляде на это возникает вопрос, не присутствуем ли мы на открытии спектакля, в котором жизнь выступает как воля к власти и более ничто?

Мы видели, что человек становится способным противостоять атаке боли в той мере, в какой он способен изъять себя из самого себя. Это изъятие, это

овеществление и опредмечивание жизни непрестанно возрастает. За эпохой большой уверенности с ошеломляющей быстротой последовала иная эпоха, в которой преобладают технические оценки. Господствующие тут логика и математика являются чрезвычайными и достойными удивления; догадываются, что игра слишком тонка и логична для того, чтобы ее мог выдумать человек.

Однако все это не освобождает от ответственности. Когда человек, углубившийся в опасное пространство и приведший себя в полную готовность, предстанет в своем одиноком положении, то сам собой напрашивается вопрос, к какой точке относится эта готовность? *Та* власть должна быть великой, способной подчинять человека требованиям, которые предъявляют машине. И все же взгляд тщетно будет искать высот, которые доминируют над чистым процессом упорядочивания и вооружения и не подлежат никакому сомнению. Напротив, не остается никакого сомнения в сравнении с землей древних культов, импотенции культур и скудости посредственных актеров.

Отсюда мы заключаем, что мы находимся в последней и причем чрезвычайно примечательной фазе нигилизма, которую знаменует то, что новые порядки уже продвинулись далеко вперед, а соответствующие этим порядкам ценности еще не стали видимы. Если схвачено своеобразие этого положения, то открывается и якобы столь непротиворечивая перспектива, в которой находится здесь человек. Мы постигаем существование высокой организаторской способности и полной цветовой слепоты по отношению к ценности, вере без содержания, дисциплине без леги-

тимации — короче, вообще к заместительному характеру идей, устройств и лиц. Мы постигаем, почему в такое инструментальное время в государстве хотелось бы видеть не всеобъемлющий инструмент, а культовую величину, и почему техника и этос таким удивительным образом приобрели равнозначность.

Все это суть предзнаменования того, что *та* сторона процесса, которая зиждется на повиновении, тренировке и дисциплине, короче, на воле, осуществлена уже в полной мере. И еще никогда не было более благоприятных предпосылок для превосходящего чистую волю волшебного слова, придающего смысл муравьиной добродетели, которую не стоит ставить слишком низко. То, что сам человек обладает глубинным знанием об этом своем положении, выдает его отношение к пророчеству; во всех государствах существующий порядок представляется ему лишь как основание или как переход к будущему порядку.

В таком положении, однако, боль выступает как единственный критерий, который может дать надежные объяснения. Там, где не выдерживает никакая ценность, направленное на боль движение будет существовать как поразительный знак; в этом движении выдает себя негативный оттиск метафизической структуры.

Из этого определения для единичного человека в практическом отношении вытекает необходимость принять вопреки всему участие в вооружении, — пусть он увидит в нем подготовку к закату, пусть на холмах, где обветшали кресты, а дворцы превратились в руины, он ощутит беспокойство, которое обычно предшествует воздвижению новых полковых знамен.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Работа над этим переводом началась еще в 1997 году, когда Эрнст Юнгер, давно достигший «библейского возраста», еще продолжал писать. Наиболее весомые плоды его творчества, охватывающего почти восемьдесят лет, — дневники и эссе. Они не просто зеркало времени, отражение века, поколений и возрастов, которыми отмеряется история. Их автора можно назвать свидетелем эпохи: он уловил и описал внутренние силы времени. Роль свидетеля состоит в признании и подтверждении — ведь именно так возможно достичь соразмерности. И «Рабочий», это крупное эссе, основное философско-историческое произведение Юнгера, позволяет рассматривать себя как ответ времени, где время отвечает и само требует ответа. Какова в таком случае задача переводчика? Ведь он сталкивается с книгой, в которой «сказалось время». Оригинальный текст требует открыть особую оптику, особенные глаза, руководящие самим автором в его наблюдениях. Он требует услышать тон и дикцию — основные составляющие стиля, который, похоже, вовсе не исчерпывается одним выбором слов. Текст со всей определенностью предъявляет требования, не позволяя обращаться с собой по удобным правилам. Итак, откуда происходят эти указания и руководства?

Мы пошли бы по ложному пути, если бы стали искать их исток в какой-либо теоретической конструкции, предлагающей переводчику руководствоваться выбранной интерпретативной схемой. Если зрение погружено в схематическое пространство, которому свойственно членение на черное и белое, оно становится бесцветным. Ведь гораздо проще и легче двигаться в пределах, предписываемых мнимой альтернативой бесконечных «за» и «против», «уличения» и «оправдания», «принятия» и «неприятия». Но здесь едва ли можно обнаружить ответственность, она бежит этих мест. *Fallaciae opticae*, оптический обман — одно из любимейших юнгеровских выражений — обозначает ситуацию, характерную для неточного зрения, соблазненного расставленными повсюду силками идеологий. От «партийной» слепоты, возведенной в ранг достоверного знания с его «ясностью» целей и «определенностью» задач, исцеляет лишь свет целого, приходящий со стороны самих вещей мира. Таким образом, требование к переводчику, исходящее не откуда-то извне, а от его прямого предмета, будет заключаться в следующем: не совершать ничего кроме того, что диктует сам текст. Иными словами, задача переводчика состоит в соответствии тексту, чей основной характер — в соответствии, соразмерности бытию, гештальту.

Такое по сути феноменологическое требование к читателю и переводчику основано, стало быть, в самой специфике текста, в самой работе автора со словом. *Akribeia*, точность юнгеровской эссеистики — его феноменологии — есть главным образом точность описания. Вместе с Эрнстом Никишем, равно как и со многими другими внимательными читателями Эрнста Юнгера, можно лаконично сказать: *Er spricht aus*,

was er sieht. Главную роль при этом играют острота взгляда и острота пера, а не систематизация или историософское конструирование. Источником этих описаний является опыт, непосредственное переживание участника событий. Однако примечательно еще и то, что автор прекрасно владеет как микроскопическим, так и макроскопическим зрением, обладая странным взглядом «человека с луны».

Мартин Хайдеггер, внимательно читавший «Рабочего» в первой половине 30-х гг. и оставивший на полях своего личного экземпляра многочисленные плотные замечания, очень метко охарактеризовал и саму работу, и ситуацию, в которой она возникла. «Ein heilsichtiges Buch», зоркая книга. Цитата взята из его статьи «О „линии”» 1955 года — интересного ответа на посвященное ему эссе Юнгера «Через линию», опубликованное пятью годами раньше. Хайдеггер увидел требование времени «выучиться» «смотреть на настоящее в оптике „Рабочего”». Труд Юнгера «имеет вес», потому что его «описания (Beschreibungen) открыли глаза» и «позволили говорить»... На что? О чем? Хайдеггер ведет речь о новой действительности, связанной с явлением рабочего. О действительности, которая рождалась на глазах современников и никак не позволяла подогнать себя под существующие масштабы.

В эссеистике Эрнста Юнгера можно увидеть стремление к непосредственности и непредвзятости, в целом характерное для философских течений так называемого *integregnum*'а. Первоначальным, определяющим для автора является переживание, переживание тотального события войны, существующего «на рубеже двух эпох» и задающего меру всей последующей жизни. И именно из него, как из граничной

черты, возникает новый опыт сущего, схваченный и выраженный в описании. Эта взаимосвязь позволяет полнее раскрыть своеобразие эссеистики Юнгера в ее отношении к времени. Итак, перед нами «диагноз эпохи»,<sup>1</sup> понимаемый как ее критика, как выражение кризиса времени, ответственное свидетельство на «суде мировой истории». Задача книги «Рабочий» превосходно формулируется самим автором в «Предисловии к первому изданию»: «Показать гештальт рабочего по ту сторону теорий, по ту сторону партийных различий, по ту сторону предрассудков...»

Книга может читаться по-разному, но не однозначно. На первый взгляд она производит впечатление пестрого мозаичного ковра. Однако здесь имеются два плана. Это эссе можно, скорее, уподобить трубе калейдоскопа, где каждый новый поворот и каждый новый взгляд порождают множество и разнообразие фигур. Тем аспектом, той перспективой, которая собирает цветные фрагменты феноменального мира в единое целое как раз и является гештальт рабочего. А ключом к оптике Юнгера в целом является гештальт или «смена гештальта».<sup>2</sup> Как говорится в объемном

---

<sup>1</sup> «Zeitdiagnose» — это удачное обозначение уже давно было введено в употребление исследователями. Как кажется, ранее всего они встречаются у Эриха Брока (Brock) и Карла-Оскара Петеля (Paetel). Нечто существенное схватывают также и другие, весьма отличающиеся по замыслу характеристики: «Lagebeurteilung» (М. Heidegger), «der autorisierte Sprecher des Zeitgeistes» (Н.-Р. Schwarz), «das überwache Bewußtsein der Moderne» (К.-Н. Bohrer).

<sup>2</sup> В своем позднем эссе «Прогнозы», которое должно быть поставлено в один ряд с «Рабочим», «Стеной времени» («An der Zeitmauer») и «Ножницами» («Die Schere»), Юнгер говорит о смене гештальта богов. Борьба титанов и сумерки богов метаисторичны:

примечании в конце книги, понятия «гештальта», «типа», «тотальности» суть органические понятия. Они необходимы как инструменты, с чьей помощью можно наблюдать и описывать действительность.

Важным подтверждением этих мыслей явилась фраза, прозвучавшая в одной из многих бесед, которые состоялись за время моих занятий «Рабочим»: «...Можно писать так, как есть — и без комментариев! Текст Юнгера прост — тем он и интересен. И не нужно создавать сложностей в переводе, чтобы читатель не подумал, будто с ним играют в прятки». Действительно, подробные маргиналии переводчика выглядели бы нелепо, были бы неким атороп. Так же неуместно было бы вчитывать в текст «политическую корректность» и сглаживать его там, где он не хочет быть гладким. Надо позволить юнгеровскому слову прозвучать во всей его полноте, оставив привычку слушать только себя.

В «Рабочем» и сопровождающих его эссе нет терминологии. В этом проявляется одна из специфических черт языка «Консервативной революции». Здесь термины и понятия уступают место образам и символам. Это не мешает языку Юнгера оставаться строгим, правда, не в смысле школьной философии. И работа над переводом этого языка ничуть не легче, чем поиск терминологических соответствий. Я попробую остановиться лишь на некоторых, наиболее значимых образцах.

---

они вторгаются в историю из природы и космоса. Боги уходят, раскованный Прометей появляется вновь как гештальт рабочего. Но, как и Гёльдерлин, Юнгер предвидит возвращение богов (*Jünger E. Prognosen. — München: Bernd Klüser, 1993*).



Нет нужды говорить о том, что немецкое слово «Gestalt» является трудным для перевода, особенно в его философском употреблении (можно, скажем, вспомнить угловатые попытки передать гегелевский «Gestalt» как «формообраз»). Было бы весьма неверно утверждать, что это форма, которая отличается от содержания. «Образ» (нем. «Bild») также не годится, поскольку отсылает к чему-то наглядному или воображаемому (даже если речь идет о «первообразе»), тогда как «гештальт» для Юнгера есть, скорее, нечто такое, что таится за явлениями. «Фигуре» же в его языке отводится совершенно особое место, как нам показывает «Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо» (1938). В то же время такой перевод, как «гештальт», хотя и остается сначала непрозрачным, однако в процессе чтения «обрастает» смыслом.<sup>3</sup> При переводе следует иметь в виду, что юнгеровская «концепция гештальта» испытала определенное влияние культурфилософии Шпенглера, равно как и гештальт-психологии и «психологии целостности».<sup>4</sup> Таким образом, здесь учитывается существующая переводческая традиция. Конечно, гештальт Юнгера имеет совершенно особые черты. Но не стоит пугаться вышеназванной параллели и отвергать ее вовсе (так делает, например, французский переводчик «Рабочего» Жюльен Эрвье, который также испытывает большие затруднения с этим термином. — См. «Замечания к переводу» в: *Jünger E. Le travailleur. Paris, 1989*). Разумеется, юнгеровский гештальт — не психологическое понятие. Однако здесь можно усмотреть един-

<sup>3</sup> Ведь именно в этом состоит замысел «органических понятий».

<sup>4</sup> В Лейпциге Юнгер слушал лекции Феликса Крюгера.

ство хода мысли и интуиции, присутствующей в понимании зрения.

Что касается слова «Arbeiter» то, передавая его как «рабочий», я надеюсь охватить как можно больший спектр значений. Ведь сам «мир работы» носит тотальный характер. Рабочий не помещается в рамках экономического измерения, и в этом свете такие варианты, как «работник», «труженик», «трудящийся» оказываются весьма ограниченными. Отсюда понятна интенция французского переводчика, который избегает слова «l'ouvrier» и останавливается на «le travailleur».

Еще одним ключевым словом является слово «Haltung», поскольку занимает важное место в военной метафорике текста. В переводе «позиция» следует слышать не только «поведение», «настроение», «установка», но и «стать», «поза», «выправка».

Сам автор слышит слово очень широко. В том, как он говорит о «характере» и «типе» четко распознается греческое звучание этих слов. И так же удивительно, насколько чисто звучит немецкий глагол «erkennen», насколько не замутненный расхожим употреблением. Необходимо вслушаться, чтобы уловить здесь оттенки греческого «gignosko» и латинского «cognoscege», вплоть до древнееврейской интуиции, присутствующей в глаголе «познавать».

Таких примеров много. И главная задача читателя заключается не в интерпретации представленных в книге текстов, этих очень интересных и ярких свидетельств эпохи интеллектуальной жизни Германии между двух войн. Они отпираются иным ключом, смысл которого можно выразить фразой: «смотри и слушай».

Публикуемые впервые на русском языке эссе наиболее ярко отражают тот период творчества Юнгера, который начинается созданием «Сердца искателя приключений» в первой редакции (1929) и завершается повестью «На мраморных утесах» (1939). «Рабочий», «Тотальная мобилизация» и «О боли» представляют собой единое смысловое целое и могут рассматриваться как части одного и того же большого плана: описать изменения в мире, проходящие под знаком технической революции. В конце 40-х годов Юнгер назвал эти три произведения своим «ветхим заветом». Послевоенная работа над «новым заветом» носит существенно иные черты; здесь делается попытка преодолеть черту нигилизма и обрести свободу в фигуре странника, идущего через лес. Однако новые прозрения и новые поиски не отменяют того, что было увидено прежде. Он однажды написал такую фразу: «...я не противоречу себе — это временной предрассудок. Скорее, я двигаюсь через различные слои истины, где высший подчиняет себе другие». Эта верность себе, своему авторству позволяет говорить о глубоком единстве всего творчества. Именно поэтому публикация трех ключевых эссе «раннего» Юнгера открывает путь для внимательного прочтения как послевоенных «размышлений о времени», так и «поздних» прогнозов, написанных за несколько лет до смерти.

Первое издание «Рабочего» вышло в 1932 г. в Гамбурге (*Ernst Jünger. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt.* — Hamburg: Hanseatische Verlag-Anstalt, 1932. 300 S.). В противоположность «Тотальной мобилизации», это эссе не претерпело никаких серьезных ре-

дакционных изменений. О своих намерениях по пересмотру книги автор пишет в предисловии к публикации текста (1963 г.) в 6-м томе своего первого собрания сочинений. Текст переведен по шуттгартскому изданию Клетт-Котта, содержащем переписку по поводу «Рабочего» (1978—80): *Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt.* — Stuttgart: Klett-Cotta, 1982 (Cotta's Bibliothek der Moderne. 1). Тот же текст опубликован и в: *Sämtliche Werke. Bd 8.* Stuttgart, 1981. S. 9—317.

Ситуация с текстом «Тотальная мобилизация», вызвавшим в свое время большую реакцию в разных кругах читающей публики, обстоит очень сложно. Не только в филологическом, но и существенном плане. На протяжении ряда редакций текст претерпел настолько серьезные изменения, что в каком-то отношении оправданной кажется даже речь о том, что от целого сочинения осталось одно только броское название. Разницу между современными изданиями и окончательным вариантом можно сформулировать приблизительно так: в первых основной план организует понятие нации, ярко выделяется националистический подход, тогда как в последнем устраняется то, что было актуальным в политической ситуации того времени (см. публикуемое послесловие к тексту). Исходя из этого, лучше иметь в виду сразу обе перспективы, не отбрасывая ни одной из них. Впервые эссе было опубликовано в сборнике 1930 г.: *Krieg und Krieger* (hrsg. v. Ernst Jünger). — Berlin: Jünger und Dünnhaupt, 1930. S. 10—30. Первое отдельное издание вышло в Берлине в 1931 г. Переведено по последнему изданию из: *Sämtliche Werke. Bd 7.* Stuttgart, 1980. S. 119—142.

Эссе «О боли» как и «Рабочий» было оставлено без существенных изменений. Впервые опубликовано в сборнике: *Blätter und Steine*. Hamburg: Hanseat. Verl.-Anst., 1934. Переведено по изданию: *Sämtliche Werke*. Bd 7. Stuttgart, 1980. S. 143—191.

Переводчик выражает свою искреннюю и глубокую благодарность всем тем, кто помогал ему своими советами и замечаниями в работе над книгой. По мере завершения перевода книга требовала все больших усилий, все большего внимания и многократного изменения перспективы. В конце концов, написанный и исправленный текст оказался полным недочетов и погрешностей против превосходного стиля автора. Однако переводчик попытался сформулировать и выполнить те основные требования, о которых было сказано выше. И потому хочется надеяться, что Эрнст Юнгер будет услышан на русском языке.

Москва,  
сентябрь 2000г.

*А. В. Михайловский*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ю. Н. Салонин. Эрнст Юнгер: образ жизни и духа . . .</i>	5
<b>Рабочий. Господство и гештальт . . . . .</b>	55
Предисловие . . . . .	57
Предисловие к первому изданию . . . . .	60
<b>Часть первая</b>	
Эпоха третьего сословия как эпоха мнимого господства . . . . .	61
Рабочий в зеркале бюргерского мира . . . . .	66
Гештальт как целое, включающее больше, нежели сумму своих частей . . . . .	86
Вторжение стихийных сил в бюргерское пространство . . . . .	105
В мире работы притязание на свободу выступает как притязание на работу . . . . .	118
Власть как репрезентация гештальта рабочего . . . . .	131
Отношение гештальта к многообразному . . . . .	143
<b>Часть вторая</b>	
О работе как способе жизни . . . . .	151
Упадок массы и индивида . . . . .	162
Смена бюргерского индивида типом рабочего . . . . .	190
Различие между иерархиями типа и индивида . . . . .	212

Техника как мобилизация мира гештальтом рабочего . . . . .	234
Искусство как оформление мира работы . . . . .	295
Переход от либеральной демократии к рабочему государству. . . . .	348
Смена общественных договоров рабочим планом . .	391
Заключение . . . . .	421
Обзор . . . . .	423
Первая часть. . . . .	423
Вторая часть. . . . .	426
Из переписки по поводу «Рабочего» . . . . .	430
<b>Тотальная мобилизация . . . . .</b>	<b>441</b>
<b>О боли . . . . .</b>	<b>471</b>
<i>А. В. Михайловский.</i> Послесловие переводчика . . .	528

**Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли.** — СПб.: Наука, 2000. — 539 с. (Сер. «Слово о сущем»).

ISBN 5-02-026781-3

ISBN 3-608-95022-2 (нем.)

Издание первого перевода книги Эрнста Юнгера «Рабочий» является первой попыткой представить на русском языке творчество этого известного немецкого писателя и философа. Среди его сочинений книга «Рабочий» занимает центральное место, считаясь основным трудом этого автора по философии истории. Осмысляя опыт мировой войны и революций, автор обращается к «рабочему» как к особому типу или гештальту, который позволяет охватить в целостном виде новые черты изменившегося мира. В его поле зрения такие важные феномены, как война, масса, власть, техника.

Вместе с двумя другими эссе «Тотальная мобилизация» (1930) и «О боли» (1934) эта книга завершает ранний и самый насыщенный период писательской деятельности автора.

**Эрнст Юнгер**

**РАБОЧИЙ. ГОСПОДСТВО И ГЕШТАЛЬТ;  
ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ; О БОЛИ**

*Утверждено к печати  
Редколлекцией серии «Слово о сущем»*

Художник Л. А. Яценко  
Технический редактор И. М. Кашеварова  
Компьютерная верстка И. Ю. Илюхиной

Лицензия № 020297 от 23 июня 1997 г. Сдано в набор 21.08.2000.

Подписано к печати 28.09.2000. Формат 70 × 100 1/32.

Бумага офсетная. Усл. п. л. 21.8. Уч.-изд. л. 20.9.

Тираж 2000. Тип. зак. № 3468. С 200

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12